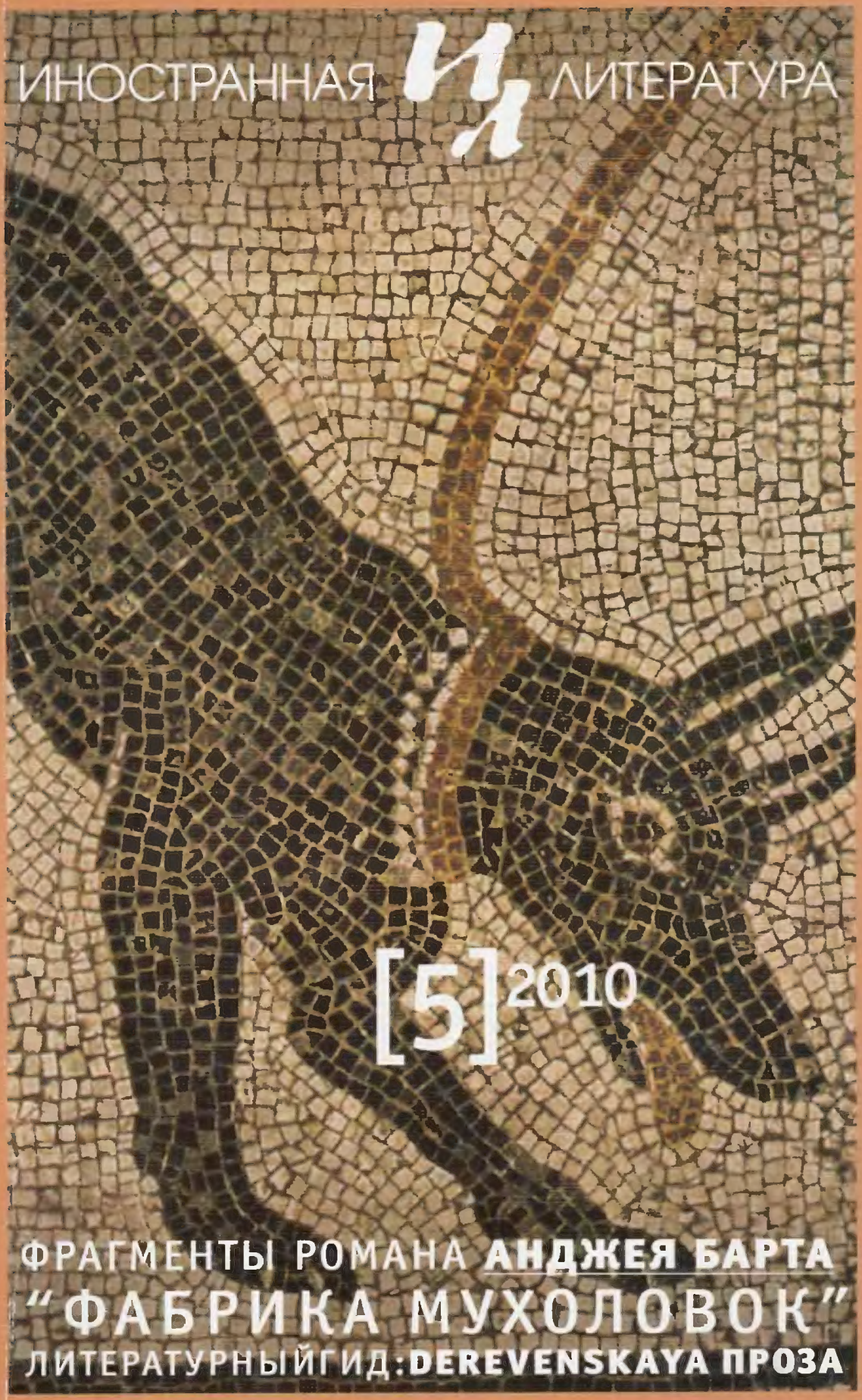
ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



[5] 2010

ФРАГМЕНТЫ РОМАНА **АНДЖЕЯ БАРТА**

"ФАБРИКА МУХОЛОВОК"

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГИД: **DEREVENSKAYA ПРОЗА**

Основан в 1955 году

[5]
2010

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

3 Арно Шмидт *Левиафан, или Лучший из миров.* Рассказ. Перевод с немецкого Евгения Воропаева. Вступление Мариуса Фрэнцеля. Послесловие Татьяны Баскаковой

40 Анджей Барт *Фабрика мухоловок.* Фрагменты романа. Перевод с польского и вступление К. Старосельской

Литературный гид *Derevenskaya проза*

99 Валентин Курбатов *Свидетели преходящего*

105 Иштван Силади *Камень в сухом колодце.* Фрагменты романа. Перевод с венгерского и послесловие Ю. Гусева

163 Джон Макгахерн *Два рассказа.* Перевод с английского А. Гениной

195 Мухаммад-Казем Мазинани *Осень в поезде.* Роман. Перевод с фарси Александра Андрюшкина

223 Казимеж Орлось *Рассказы.* Перевод с польского Ирины Адельгейм

In memoriam

228 Сергей Гандлевский *Принципиальный раблезианец*

230 Петр Вайль *Последний трубадур: Симоне Мартини*

Статьи, эссе

247 Джанет Малколм *А кому-то нравится.* Перевод с английского Ольги Ольговой и Сергея Шабуцкого

Из будущей книги

257 Валерий Белоножко *Невынесенный приговор. О Франце Кафке. Холодно и пристально.* Главы из книги

Среди книг

276 Александр Мелихов *Обыкновенный Холокост* Елена Калашникова *Зыбкость знакомого мира*

Авторы номера

283

© "Иностранная литература", 2010

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

До 1943 г. журнал выходил под названиями "Вестник иностранной литературы", "Литература мировой революции", "Интернациональная литература". С 1955 года – "Иностранная литература".

Главный редактор

А. Я. Ливергант

Редакционная коллегия:

Л. Н. Васильева
заведующая отделом художественной литературы

О. Д. Дробот
заместитель главного редактора

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

Т. Я. Казавчинская
заведующая отделом критики и публицистики

Общественный редакционный совет:

С. К. Апт
Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
Н. А. Богомолова
Е. А. Бунимович
Т. Д. Венедиктова
А. М. Гелескул
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Г. М. Дашевский
Б. В. Дубин
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
А. В. Михеев
М. Л. Салганик
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили
А. И. Эппель

Международный совет:

Ван Мэн
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Ананта Мурти
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Редакция :

Т. А. Баскакова
С. М. Гандлевский
А. Ю. Лешневская
Е. М. Мамардашвили
И. В. Мокин
К. Я. Старосельская
М. Н. Томашевская
Л. Г. Харлап
А. Ю. Шередега

Журнал выходит при финансовой поддержке
Министерства культуры Российской Федерации, Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Фонда Первого Президента России Б. Н. Ельцина

Арно Шмидт

Левиафан, или Лучший из миров

Рассказ

Перевод с немецкого Евгения Воропаева
Вступление Мариуса Фрэнцеля
Послесловие Татьяны Баскаковой

Арно Шмидт — портрет

Когда Арно Шмидт в 1973 году получил премию имени Гёте города Франкфурта, в благодарственной речи лауреата, которую — что случается достаточно редко — произносил не он сам, а его жена Алиса, прежде приняв от его имени премию, — так вот, в этой благодарственной речи он так описал начало своей писательской жизни:

Над *нашим* же стартом — над всем нашим жизненным путем — стоял неблагоприятный знак "Слишком поздно!" В те годы, сразу после 45-го, у нас не было даже писчей бумаги; "Левиафана" я писал на телеграфных бланках, полпачки которых подарил мне английский капитан, — рукопись выглядит очень странно. И сегодняшние молодые-непонятые, которым будто бы "общество отказывает в признании", могли бы сделать на основании этой истории вывод: вот что такое

© 1949 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg, Stuttgart
© Евгений Воропаев. Перевод, 2010
© Marius Fränzel
© Татьяна Баскакова. Перевод вступления, послесловие, 2010

подлинные проблемы; а эти юнцы — просто самодовольные нытики. Прибавьте сюда невероятные затраты энергии, которые потребовались мне, чтобы в тридцать пять лет еще раз начать все заново. И, по возможности, возместить отнятые у нас обманом годы.

В процитированном коротком отрывке, если присмотреться к нему, обнаруживается удивительная смесь из биографических фактов, затаенной обиды, особой этики творческого труда, горького сознания того, сколько времени было потеряно понапрасну, и гордости человека, который не капитулировал перед обстоятельствами. Мне этот отрывок, во всей его сложности, представляется типичным для Арно Шмидта: конечно, "подлинные проблемы" первых послевоенных лет — даже для Арно Шмидта и его жены — состояли не в том, что романы приходилось писать на английских телеграфных бланках. И, конечно, "сегодняшние молодые-непонятые" — это только клише, которое даже тот, кто его придумал, вряд ли сумел бы наполнить конкретным содержанием. Шмидту в самом деле было чудовищно трудно: дожив до тридцати одного года, — а не до тридцати пяти, как он утверждает, — оказаться у разбитого корыта и попытаться еще раз начать все заново, но ведь никто и не требовал от него, фабричного бухгалтера, чтобы он начинал новую карьеру в качестве вольного писателя. И уж тем более никто из знавших его — или из младших современников — не стал бы требовать, чтобы он себе каким-то образом "возместил отнятые <...> обманом годы". Тем не менее отрывок по-своему очень красноречив, и, невзирая на все наши возражения, нам остается только признать: что ж, видно, иначе и не могло быть!

* * *

Но давайте все-таки обратимся к подлинному началу жизни Арно Шмидта: родился он 18 января 1914 года в Гамбурге. Родители происходили из Силезии, отец был квалифицированным шлифовальщиком стекла, потом стал профессиональным солдатом и еще позже, в Гамбурге, — полицейским (старшим вахмистром). У Шмидта была сестра, на три года старше, — Луци. Еще в раннем детстве у мальчика развилась сильная близорукость, которую впервые заметили — и прописали очки, — только когда он пошел в начальную школу. Шмидт, как он сам рассказывал, в школе скучал; читать он научился в три или четыре года, вместе с сестрой, и с довольно раннего возраста начал посвящать книгам бóльшую часть времени.

В ноябре 1928-го умирает нелюбимый отец, и мать с двумя детьми перебирается в Лаубан, к родственникам. С декабря Арно Шмидт посещает высшее реальное у́чилище в Гёрлице и 10 марта 1933 года получает свидетельство об окончании. После этого, до сентября, Шмидт учится на высших торговых курсах в Гёрлице, а затем, до конца января 1934-го, безрезультатно ищет работу. 27 января 1934 года он становится коммерческим служащим-стажером на текстильной фабрике Грейфа в Грейфенберге, а по

окончании срока стажировки — бухгалтером-чертежником на той же фабрике. 25 августа 1937 года он женится на своей коллеге Алисе Муравски. Через год после свадьбы супруги предпринимают единственное в их жизни — насколько мы знаем — дальнее путешествие. Недельная поездка в Лондон: они посетили могилу Чарльза Диккенса в Вестминстерском аббатстве, порылись в букинистических лавках, побывали в музеях, посмотрели сам город. В мае 1939-го они еще съездили в Веймар и в расположенное неподалеку местечко Османштедт, где посетили могилу Виланда; больше об их довоенной жизни мы почти ничего не знаем. Коллеги Шмидта по работе позже вспоминали о нем как о замкнутом, чудаковатом человеке. У супругов Шмидт было мало знакомых, они предпочитали проводить время вдвоем, обустраивать свой особый мир, состоящий из книг.

10 апреля 1940 года Шмидта призвали в армию. После разных перипетий он попадает в Норвегию, где получает назначение в канцелярию при артиллерийской части. В начале 1945 года он подает прошение о переводе во фронтовую часть, чтобы получить полагающийся в таких случаях отпуск: надо было помочь жене в ее приготовлениях к эвакуации из Силезии в Кведлинбург (Гарц). 21 февраля Шмидт возвращается в свою новую часть, в Ратцебург, участвует в боевых действиях под Ольденбургом, а 16 апреля попадает в плен к англичанам. 29 декабря 1945-го Арно Шмидта освобождают из лагеря для военнопленных, и они с женой снимают комнату в Кордингене (округ Фаллингбостель в Люнебургской пустоши).

В более ранних биографиях Арно Шмидта можно найти несколько иные описания его жизни до 1945 года. Отклонения, по сути, сводятся к двум пунктам: дате рождения и эпизоду обучения (в университете) математике и астрономии, которое Шмидту будто бы пришлось прервать, потому что его сестра вышла замуж за еврея. Последнее утверждение, само по себе, верно: Луци Шмидт сочеталась браком с еврейским коммерсантом Руди Кислером и вместе с ним в 1939 году эмигрировала в Америку, в Нью-Йорк; продуктовые посылки, которые она после 1945 года посылала брату и его жене, в буквальном смысле спасли им обоим жизнь. Однако обучение Шмидта в университете Бреслау, куда он якобы поступил после окончания училища, — чистейшая выдумка. Возможно, она понадобилась Шмидту главным образом потому, что, попав в плен, он намеренно "завысил" свой возраст, назвав в качестве даты рождения 1910 год, и, соответственно, должен был как-то объяснить четырехлетний пробел в биографии.

* * *

После того как супруги Шмидт кое-как наладили свой скудный быт на Мельничном хуторе в Кордингене, оба они несколько месяцев проработали переводчиками в Полицейской школе города Бенефельда. Но в начале 1947 года Арно Шмидт решил стать свободным литератором. Нам известно, что Шмидт, по крайней мере со времени окончания училища, писал: сперва стихи, которые сохранились только в записи, сделанной по памяти

его школьным другом Хайнцем Жеровским, потом — стихотворный эпос "Сатаспес"[1], позже утраченный, и, наконец, самое позднее с 1937 года, — рассказы. Эти ранние рассказы написаны в невыносимом псевдоромантическом стиле; по тону и содержанию они так фальшивы, что невольно задаешься вопросом: а не повезло ли молодому автору в том, что в годы войны о публикации его произведений и речи быть не могло?

После войны Шмидт не попытался предложить кому-то уже готовые сочинения, а написал в 1946—1948 годах четыре новых рассказа, три из которых в конце 1948-го или в начале 1949-го отправил по почте в гамбургское издательство "Ровольт". Теперь в "Ровольте" спорят о том, кто первым открыл молодого Шмидта. Но был ли то сам Эрнст Ровольт или его редактор Марек[2], на практике такое "открытие" оказалось делом совсем не легким. Я процитирую отрывок из биографии Эрнста Ровольта:

[Арно Шмидт] пришел к нам и оказался атлетом со лбом философа; в кресло для посетителей он уселся, сжав кулаки. Он начал беседу серией оскорблений в наш адрес, средней тяжести, — однако они, не прошло и пяти минут, приняли совершенно недопустимую форму. Не будь этот буйный сквернослов Шмидт творцом гениальной прозы "Левиафана", Марек, как всякий уважающий себя человек, давно бы выставил его из редакции. Но Марек считал, что решать, как тут быть, дело Ровольта: ведь Ровольт уже ознакомился с рукописью и заинтересовался ею. Однако Ровольта в тот день не было, и Марек поступил так, как, возможно, поступил бы сам владелец издательства: он пригласил Шмидта пообедать. Шмидт и за столом в ресторане не разжимал кулаков, глотал одну рюмку можжевеловой водки за другой и продолжал поносить своего визави. Мол, он, гений, вынужден жить в бедности, тогда как издательские работники, в чем легко убедиться, благоденствуют, катаются словно сыр в масле. Марек потом доложил Ровольту об этом приключении. Ровольт все выслушал и сказал: "Скоро в Гамбург приезжает Ледиг[3]. Вы вдвоем пригласите Шмидта еще раз, в дорогой ресторан. Мне интересно, как Шмидт поведет себя с Ледигом".

1. Сатаспес — персидский мореплаватель, живший в правление Ксеркса I (485—465 до н. э.). Он был приговорен к смерти за похищение дочери вельможи, но царь заменил это наказание другим: Сатаспес должен был обогнуть на корабле Африку. Отплыв от египетского побережья, Сатаспес много месяцев двигался на юг, видел пигмеев, но потом по какой-то причине вынужден был вернуться, после чего царь повелел привести в исполнение смертный приговор.
2. Курт Вильгельм Марек (более известный под псевдонимом К. В. Керам, 1915—1972) — немецкий журналист, редактор в издательстве "Ровольт" (1945—1952) и автор популярных книг по археологии, одна из которых — "Боги, гробницы, ученые. Роман археологии" (1949, рус. перев. 1963) — стала мировым бестселлером.
3. Генрих Мария Ледиг-Ровольт (1908—1992) — старший сын издателя Эрнста Ровольта (1887—1960); после 1938 г., когда Эрнст Ровольт, обвиненный в покровительстве еврейским авторам, был вынужден эмигрировать в Бразилию, его сын возглавил издательство, просуществовавшее до 1943 г. В 1946 г. Эрнст Ровольт вновь открыл издательство в Гамбурге, а Ледиг-Ровольт — в Штутгарте; в 1950-м оба издательства слились. В 1950 г. Ледиг-Ровольт первым в Германии начал выпускать карманную серию романов ("рororo").

Ледиг приехал, и Марек пригласил Шмидта с женой в ресторан "Якоб" (Бланкенезе[1]). Марек очень удивился, ибо теперь гость вел себя по-другому, в высшей степени вежливо. Потому ли, что за столом сидела его жена, или потому, что на сей раз приглашение исходило от издателя, а не редактора? Однако Мареку не пришлось долго ломать голову. Едва принесли десерт, как Шмидт обрушил на Ледига целый водопад обидных слов. [В романе Шмидта "Вечер с золотой каймой" говорится, что "издатели предпочитают хлебать омаровый суп из черепов авторов"; подобные фразы могли звучать и в тот гамбургский вечер.] Ледиг попытался прекратить это словоизвержение — или хотя бы притормозить; не получилось; издатель казался все более безучастным и бледным, вставлял время от времени "Ну-ну!", сосредоточенно слушал... Прощание было ледяным. Перед дверью красивого ресторана Шмидт с женой забрались на велосипед-тандем и покатили к себе в деревню, а Ледиг и Марек явились с отчетом к Ровольту; тот сперва слушал их, не произнося ни звука, а когда Марек спросил: "Ну, так что вы думаете?", ответил: "Старина Марек, до сих пор вы изображали ситуацию в ложном свете. Этот автор как человеческий тип крайне любопытен. Если бы он оскорбил только вас, я бы принял его за обыкновенного хама. Но, оскорбив моего сына, он показал, что у него есть характер!"

Ровольт решился издать первую книгу Арно Шмидта. Она вышла в сентябре 1949 года, называлась "Левиафан", состояла из трех рассказов[2] и была посвящена сестре Шмидта Луци Кислер. Это тоненькая книжечка, 116 страниц. В заглавном рассказе, занимающем около 30 страниц, речь идет о трех февральских днях 1945 года. Группа случайных попутчиков, которые спасаются бегством от наступающей советской армии, пытается на локомотиве с парой вагонов добраться от Лаубана до Гёрлица, то есть преодолеть именно тот отрезок пути, по которому Шмидт молодым человеком ежедневно ездил в училище...

Все описания в рассказе короткие и вместе с тем, благодаря высвечиванию характерных деталей, — очень точные. Персонажи функциональны, то есть представляют определенные позиции в мироустройстве этого текста. Вокруг наблюдателя-рассказчика собрались те, кто проиграл войну: пастор и философ (в качестве такового скоро проявит себя семидесятилетний старик), горожане и деревенские жители, молодые и старики, солдаты со своей маркитанткой и юнцы, воодушевленные ложными идеалами. Поездка — обычно занимающая двадцать минут — растягивается до бесконечности. Пастор, старик и рассказчик вступают в метафизический спор, в ходе которого разрабатывается концепция Левиафана — демонического бога-творца...

"Левиафан" был принят прохладно: критики писали о книге совершенно неизвестного автора в большинстве случаев доброжелательно, хотя и не без раздражения. Книга не продавалась: за первый год разошлось все-

1. Пригород Гамбурга.
2. "Левиафан", "Гадир" ("ИЛ", 1999, № 7) и "Энтюмесис".

го 400 экземпляров. Шмидт с женой бедствовали; какое-то время их месячный бюджет составлял 60 марок. Ко всему прочему, Шмидт проиграл судебный процесс о невнесении платы за квартиру, и на него наложили денежный штраф. Сумма штрафа составляла 200 с чем-то марок, таких денег у него не было, а просить взаймы у Ровольта он не хотел, ибо полагал, что правда на его стороне. Единственным предметом, который судебный исполнитель мог бы конфисковать, был уже упоминавшийся тандем — но его Шмидт получил во временное пользование от Ровольта, дав расписку, что велосипед необходим ему для писательской работы. Тем не менее велосипед конфисковали, а Шмидт, побуждаемый обидой, яростью и материальной нуждой, уже готов был отказаться от карьеры писателя.

И тут, в начале ноября 1950 года, — для Шмидта, по его словам, это было громом среди ясного неба — ему присуждают Литературную премию Академии наук и литературы в Майнце (просуществовавшую, между прочим, всего один год). Шмидт разделил эту премию с четырьмя другими авторами — самым известным из них был Вернер Хелвиг[1] — и получил, соответственно, 10000 марок, пятую часть.

До конца ноября супруги Шмидт успели переселиться в Гау-Бикельхайм (деревня в окрестностях Бад-Кройцнаха); за тот благополучный год, что они там прожили, Шмидт написал повесть "Черные зеркала"[2], которая вместе с другой повестью, "Горелая пустошь" (завершенной еще в Кордингене), вышла в свет в октябре 1951 года и стала второй его книгой в издательстве "Ровольт". Оба текста — так же как более ранние и все последующие, вплоть до "Сна Основы" (1970) — представляют собой повествования от первого лица...

Мариус Фрэнцель

Перевод с немецкого Татьяны Баскаковой

1. Вернер Хелвиг (1905–1985) – немецкий писатель, с 1934 г. жил в эмиграции, после 1950 г. – в Швейцарии. Он много путешествовал по странам Европы, был в Южной Америке, Японии, Индии. Один из самых известных его романов – "Рыбаки-браконьеры в Элладе" (1939).
2. "ИЛ", 2005, № 5.

Berlin
20 th May 45

BETTY DEAR!

I'm quite in a hurry (but thinking always of you and the kids, of course). – The town is fearfully smashed, rather like a bad dream; well, they asked for it and they got it. – The Russians look a good jolly sort and are amiable to deal with. We all expect them to join now against the damned Japs, and that'll settle that too, I'm sure. Hope to see you again quite soon.

JONNY.

The watches and bracelets – well, stow them away; I had to throw them into the box absolutely at random, hope they'll not be badly damaged. The German insignia and MSS I got from a Russian Lcpl for a souvenir (gave to him some cigarettes in return). – 1000 kisses. –

J.[1]

14. 2. 45.

Голова гудит, словно вспухшее чрево колокола – ох... Мне приходится надувать и растягивать губы. – Ох! –.

Позднее

На стальной каске едва заметная плоская вмятина; верно – отрикошетившая от рельс пуля. Однако я снова могу думать и шевелиться. Весь город (включая территорию вокзала) по-прежнему под обстрелом; под садистским: здесь одного ухлопало, там – пятерых, и снова назад. Снег совершенно грязный от пыли развалин. Больше всего стрельбы на востоке и севере (направления Кройцберг и Керцдорф[2]); там идет нескончаемый бой пехоты. У меня остался только пистолет (n) 11,25 мм; заряжен, и в кармане несколько патронов россыпью. В подобные дни определить время суток вообще невозможно: всегда

1. Берлин. 20 мая 45. ДОРОГАЯ БЕТТИ! Я все время в спешке (но, конечно, постоянно думаю о тебе и детях). – Город страшно разрушен, как в кошмарном сне; ну что ж, они просили – они и получили. – Русские смотрятся весельчаками, и с ними приятно иметь дело. Мы ожидаем, что они присоединятся теперь к борьбе против проклятых япошек, – я уверен, что это случится. Надеюсь очень скоро увидеть тебя опять. ДЖОННИ.
Часы и браслеты – стало быть, спрячь; мне пришлось побросать их в коробку как попало, надеюсь, они не сильно повреждены. Немецкие войсковые нашивки и эту рукопись я получил от русского унтер-офицера в качестве сувениров (взамен дал ему несколько сигарет). – 1000 поцелуев. – Д. (*англ.*). (*Здесь и далее, кроме специально оговоренного случая, – прим. перев.*)
2. Кройцберг – возвышенность к северу от города Лаубана (Силезия), Керцдорф – деревня к югу от Лаубана.

одинаково светло-серо, ограды всегда черны. (Сейчас 14.16.) Мне нужно как-то продвигаться вперед: у меня командировочное направление в Ратцебург[1]. С ума сойти, когда вот так смотришь на привокзальную улицу, узнаешь каждый угол: изо дня в день я проходил по ней — трескучей зимою 28/29-го, ясно-голубой холодной весною, в горячей, как каштаны, зелени лета; часто в моих снах всплывает по-осеннему шумный пляж на реке Кайс. Надо бы, собственно, взглянуть, нельзя ли раскочегарить локомотив, рельсовые пути еще почти в целости (пустая игра воображения: я ведь не умею с ним управляться. Вместо того чтобы действовать).

15.00

Прямо впереди еще стояли три платформы: одна с гравием, потом — товарный вагон, а сзади к нему прицеплено какое-то особое транспортное средство (стальная длинная штуковина, толщиной с человеческое туловище, видел ее лишь мельком). В товарном вагоне люди растеряны: позавчера вечером, говорили они, в 22.00, объявили об эвакуации города. Они, мол, еще надеялись... Два солдата (один с кровавым бинтом вокруг головы); молоденькая девчонка дерзко пялит глаза; пастор с семьей.

15.10

(Позади вагона особого назначения): Я узнал ее сразу! (Сперва увидел только тощую пожилую женщину, ее мать.) На ней была бурая просторная шуба, чернó заструившаяся. Пока она оборачивалась. Она тотчас же удивленно и с холодной веселостью подняла левую бровь и выдвинула вперед подбородок; затем с размаху закинула в вагон большой чемодан. (Четыре попадания одновременно — в вагонное депо; одно из них так близко, что мы зашатались от ударной волны прежде, чем смогли броситься наземь. Грибы густого дыма высотой в дом взвились, взметнув угольную мелочь; раскрошенные камни и куски металла висели в воздухе. Ее темные волосы в снегу.) На той стороне из пошедшей трещинами стены ангара выпрыгнули, согнувшись, два человека, в изнеможении осели на землю, огляделись и через рельсы поползли сюда. Судя по их синим холщовым комбинезонам, это слесари ("Миллионы носят одежду от Грейфа"[2], 232—3—11, превосходно!). Я тут же окликнул их:

1. Город в 40 км к востоку от Гамбурга.
2. На текстильной фабрике Грейфа, в Грейфенберге (Померания), в 1934—1940 гг. работал бухгалтером Арно Шмидт. Там же он познакомился со своей будущей женой Алисой Муравски.

— Остался ли у вас на ходу хоть один паровоз? Вы можете им управлять?..

Они, еще не успев отдышаться, отрицательно замахали руками. Там внутри было достаточно паровозов! Но многие разбиты штурмовой авиацией. Вести паровоз они, конечно, умеют (один из них оказался локомотивным слесарем). Однако ни воды, ни угля больше нет. *Она*, покачиваясь, подошла ближе, руки в карманах, и плечами да головой указала на противоположную сторону, через дорогу:

— Уголь есть там.

Мы долго толковали с перепуганными механиками, однако пора было что-то предпринять; мы, мужчины, начали носить уголь в мешках.

Тягучие сумерки. Перетаскивание мешков. Мрак-художник, нашептывая себе что-то под нос, нерешительно смешивает ночные краски. Мешки. Пропыленная желтизна. Мешки. Дымчатая алость. Мешки. Сквозь окно в развалинах скабрезно подмигнула первая звезда; хвастливая, нагло-желтая: этакий ростовщик. Мешки. Небо прояснилось, что предвещает резкое похолодание.

После 18.00

Уже ночь; однако в Купферштадте повсюду пожары (только что на заднем плане обрушилась католическая церковь). Каждый из нас раз по тридцать, наверное, протащился, задыхаясь, туда и обратно (а пулеметные очереди с треском разлетались по крышам); к нам присоединилось еще несколько человек: трое немолодых мужчин да два паренька в форме гитлерюгенда (сначала они, естественно, не желали "способствовать бегству"). В тендере у нас, по моей оценке, теперь 200 центнеров. Первый из них уже в топке; когда мы заправимся водой из колонки, дело, считай, будет сделано. Женщины и дети натаскали из телячьего вагона старой соломы, от лошадей; вонючей, и наверняка кишащей блохами. Я лежу в переднем углу, рядом со мной — Анна Вольф; Анна Вольф. Она уже командует в вагоне и успела навести здесь мало-мальский порядок. В городе треск и грохот.

20.00

Еще раз побывал на той стороне; из разгоряченного лица высоко вверху, в обрамлении черного железа, вытолкнулся слабый голос: "С полчаса еще!"; возня с вентилями.

В здании вокзала вымыл себе руки и глаза; вода еще течет. В темноте поблескивали стекла, столы опрокинуты, разбиты. Залы ожидания: как часто случалось мне сидеть в них,

стоять, в Лаубане, Гёрлице, Грейфенберге, — и вглядываться в людские потоки; все скамьи тогда были заняты пассажирами: они болтали, ели, ходили; я замечал повсюду: мягкие лампы, разноцветные напитки, ослепительно-красные с золотом пачки "Салема"; световая дымка перронов; яркие окна поездов бисером протягиваются в ночь...

Здесь ужасно сквозит; скорее бы выбраться.

В вагоне

Вообще, это безумие, что мы вознамерились ехать: вполне может оказаться, что в 500 метрах дальше рельсы взорваны. Напротив меня лежат двое других солдат, между ними девчонка (худшего типа: как из портновского ателье); мужчина за семьдесят в мундире почтового служащего (108-летний у наковальни, *и* весь свой заработок он передает в фонд ДПА[1]! — в газетах это всегда так подают); рядом с ним пастор в окружении семерых детишек (*всего* семерых: коли он не хочет полагаться на Бога, что ж тогда говорить о других? Двоим пришлось лечь поперек двери). На нашей стороне, кроме меня, — Анна, ее мать, две школьницы подросткового возраста; потом — оба героя гитлерюгенда с полудюжиной фаустпатронов (самодовольные юнцы пристроили их в качестве подушек под голову; и курят, с форсом; что с них возьмешь? ведь молодежь наше будущее, n'est ce pas?[2]). Потом еще два других старика да старуха (наверняка деревенские: бормочут в своем углу о "лепой землице" — с отвратительно долгим "е" силезцев: "Не-е. Ле-пая, лепая наша землица!" Extra Silesiam non est vita[3]).

Прежде того

Долго маневрируя, локомотив наконец медленно подтащился к нам; механики производили сцепку и матерились. Мы напрасно пытались отсоединить последний вагон, все приржавело намертво; машинист крикнул:

— Отцепите только шпалолом!..

Надо же, шпалолом! В Дронтхайме[4], в недельной кинохронике, мне случилось видеть его; там показывали, как он "используется" на Востоке. Задумка простая: на последней плат-

1. ДПА — Добровольная помощь армии.
2. Не так ли? (*франц.*)
3. "Вне Силезии нет жизни" (*лат.*). Ироническая отсылка к католической формуле "Extra *ecclesiam* non est vita" ("Вне Церкви нет жизни").
4. Во время Второй мировой войны немцы называли так город Тронхейм в Норвегии. Арно Шмидт служил в Норвегии в 1942—1945 гг.

форме закреплен стальной многотонный крюк "целесообразной формы", который захватывает сзади железнодорожные шпалы; локомотив движется вперед, а тот одну за другой разрывает их посередине. Дело идет совсем легко, со скоростью продвижения поезда. А тогда, на экране, на этом приспособлении восседали два-три молодцевато смеющихся воина ("Они только что запечатлены кинокамерой"), хотя лучше бы их лица были искажены ужасом! Я вжался в кресло, с вытаращенными глазами; вспомнил о Сервантесе, и Моцарте, и о майоре Фуке[1] (да разве еще существует такое на белом свете: "Майор", "Ундина", "Алетес"[2]!). Кант разоблачил доказательство существования "доброго" Бога как глупую шутку; сегодня мы можем противопоставить этой идее и нечто более конкретное: шпалолом-то хорош (несомненно; а также коменданты Эвераасса[3], 21./976, — свиньи, с Целлером во главе; исключение — только Диттман и Георг). Вот он водружен на козлы и лежит, удерживаемый одной толстой цепью, сверху на платформе. Я снова в вагон; Анна шуршала бумагой.

21.07

Наконец: под нами возникло едва ощутимое перекатывание; мы поехали. Медленно.

Позднее

Однако впереди, похоже, не все в порядке: едва мы протащились под тремя железнодорожными мостами, как уже опять встали. Дверь на моей стороне закрывается не до конца, а встречный воздушный поток — нестерпимо холодный (мы попытались задвинуть ее; однако ничего не вышло. Позади повсюду пожары). Я узнал очертания холма Штайнберг и Ховальдское шоссе. Из занятого солдатами угла напротив доносилось хихиканье и дважды — тихий нахальный окрик; даже раненый бессильно и похотливо лез к бабе со своими заигрываниями. Пастор, повторяясь, молил о ниспослании силы и славил вездесущую доброту Господа, его слова подхва-

1. Барон Фридрих де ла Мотт Фуке (1777–1843) — известный немецкий поэт и прозаик эпохи романтизма. Фуке был присущ талант и, несомненно, настоящая рыцарственность, проявившаяся в его отношениях с другими поэтами; его сказку "Ундина" еще при жизни автора В. Жуковский перевел на русский язык. Кроме того, уже в новое время на русском публиковались его стихи и новелла "Адский житель".
2. "Майор" — рассказчик в новелле Шмидта называет так Фуке, который был военным и носил звание ротмистра; Алетес — герой романа Фуке "Удивительные приключения Алетеса из Линденштайна".
3. Эвераас (*искажен.*) — место в Норвегии, где во время войны служил Арно Шмидт.

тывали жена и детишки; какая мерзость. Старая крестьянка и старики с многодневной щетиной на щеках проклинали "этого Гитлера"; потом опять — "Гитлера, окаянную сволочь!" (на сей раз "е" совсем краткое, безударное). Страшный толчок: что-то искрящееся алой шелковой лентой пронеслось мимо; мы катили еще две-три минуты.

Почти полночь

Все еще стоим (вероятно, позади больницы). Около часа я продремал — пока не проснулся, окоченев. Дети хныкали от холода и просились выйти, чтобы справить нужду. Кто-то предложил сделать это всем одновременно, чтобы потом дверь по возможности больше не открывать. Bon[1].

Снаружи

Тонкие высокие прутья дрожат на ветру, стенающем над рыхлым снегом; одинокая сосна равномерно, как пружина, раскачивается взад и вперед; все шмыгнули в разные стороны и расселись на корточках за кустами. Я глядел на звезды: крохотные пылающие лица, известково-белые и голубые; Ursa majoris[2], маленькая; между ними Дракон. Световые пелены на горизонте, их безостановочный рокот... Анна тоже прогулялась, качая бедрами, за свой кустик. Старик, почтовый служащий, вежливо обратился ко мне:

— Вы тоже любитель звезд, господин унтер-офицер? — Он указал головою вверх в направлении зарева пожара: — Как славно, что есть еще некая бесконечность — —.

Лицо сухое, внушающее уважение. Но, главное, она услышала. Я медленно повернулся (о, это произвело впечатление!); я рассеянно произнес:

— Вы ошибаетесь; нет никакой бесконечности. Счастливчик Гомер...

Он изумленно-иронически наморщил оголенный под ночным лучом лоб:

— А как же Кант, Шопенгауэр... — бодро задал дальнейшее направление беседы. — Как вы себе это представляете: место, где пространство заканчивается?

Пастор тоже проявил интерес к звездному небу над собою[3]:

1. Хорошо (*франц.*).
2. Большая Медведица (*лат.*).
3. Аллюзия на высказывание И. Канта: "Две вещи наполняют душу всегда новым и более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них, — это звездное небо надо мною и моральный закон во мне".

— Бог, — провозгласил он, — бесконечен.

В дискуссии с верующими я никогда не вступаю, я и сейчас говорил, глядя в сторону нашего поезда:

— Вы тоже заблуждаетесь: был, правда, один демон — со свирепым, дьявольским характером, — но и его больше не существует.

Он разволновался:

— Вы богохульствуете!

Ветеран гитлерюгенда чиркнул спичкой. Худосочный метеорит прочертил серебристую бровь над Бетельгейзе[1] (под впечатлением от этого гневного имени мой отец однажды наклюкался, году так в 22-м; "Бетельгейзе, исполинское солнце", статья в иностранной газете). Анна подошла ко мне:

— Помогите-ка мне забраться наверх, — сказала; и это состоялось. Ее счастливые глаза. Мы все вскарабкались в вагон. Старик презрительно спросил из темноты:

— Итак, каким вы воображаете его: это... — с нажимом на первом слоге: — *небесконечное* пространство?

Анна повернула ко мне лицо (увиденное как бледный овал), и я заговорил:

— Безграничным; однако не бесконечным. Поверхность любого шара: тоже безгранична, однако не бесконечна. Хотя мы можем представить себе лишь трехмерное пространство (так уж устроен наш мозг), но вы последуйте-ка за мной — чтобы найти объяснение — в двумерное. Представьте: "бесконечная" доска стола, на ней два равновеликих треугольника из картона: два мыслящих треугольника. В своем пространстве эти существа могут передвигаться только вокруг друг друга; если они, к примеру, хотят доказать свою конгруэнцию, то должны измерить углы и стороны и сделать тригонометрические заключения; для доказательства мы извлекаем один из треугольников в наше пространство, на одно измерение более совершенное, и накладываем его на брата-близнеца. Такие построения, между прочим, утвердили следующие фундаментальные теоремы: прямая есть кратчайший путь между двумя точками, через одну точку к одной прямой можно провести лишь одну параллель; из теоремы о параллелях выводится положение, что сумма углов в треугольнике составляет 180 градусов.

1. Бетельгейзе — самая яркая звезда в созвездии Ориона, "красный сверхгигант"; по диаметру примерно в 400 раз больше Солнца.

Тут шлюха издала в высшей степени не-непорочный крик и молвила[1]:

— Только не сейчас!..

Но я продолжил: — Один мудрый треугольник исследовал искривленную в себе, тоже двумерную поверхность шара и обнаружил, что теперь прямые (то есть линии кратчайшего удаления) стали большими окружностями, что, таким образом, параллелей больше нет, а сумма углов стала большею, нежели 180 градусов. Другой же обнаружил, что на одной псевдосфере при применении подобных теорем возникает бесконечное множество параллелей (в чем легко убедиться на ограниченной поверхности Бельтрами[2]), а сумма углов оказывается меньше 180 градусов. Какое же из трех возможных двумерных пространств было отныне "истинным", какая геометрия — действительной? (А вы перенесите-ка этот ход мыслей на все n-мерные пространства).

Каблуки ритмично выстукивали по полу: "Кто играет на рояле, тот у женщины в чести..."; молодежь обрела себя в этих строчках; "...ведь играемый рояль..." (Видит Бог! "играемый рояль"; мы обречены!) Старик, слегка сбитый с толку, спросил:

— Я пока не все понял — и какое ж из них?

Я сказал:

— Простое сравнение треугольников решает все (теоретически); однако при незначительности доступного нам пространства этот метод непригоден. Но использование, к примеру, эффекта Доплера[3] (измерение радиальных скоростей посредством измерения смещения линий в спектре) показывает, что скорости небесных образований возрастают по мере удаления от нас, вплоть до самого предела — скорости света: зависимость, которая в настоящий момент кажется

1. "Тут Пуриста (Непорочнейшая. — *Прим. ред.*) издала крик и молвила..." — фраза, много раз возникающая в книге "Домострой Бога" (1840–1844) австрийского визионера, "писца и раба Божьего" Якоба Лорбера (1800–1864). Арно Шмидт интересовался идеями Лорбера (в частности, концепцией "полой земли") и написал о нем в своем последнем незавершенном романе "Юлия, или Картины" (опубликован посмертно, 1983).

2. Эудженио Бельтрами (1835–1900) — итальянский математик, который разработал геометрию пространства постоянной кривизны любого числа измерений. Бельтрами изучил также отдельные псевдосферические поверхности, в том числе открытую им наиболее типичную псевдосферу, получающуюся от вращения трактриссы вокруг своей базисной оси.

3. Кристиан Доплер (1803–1853) — австрийский физик и астроном. Эффект Доплера состоит в изменении частоты колебаний н или длины волны л, воспринимаемой наблюдателями или прибором, при движении источника или наблюдателя относительно друг друга, в зависимости от скорости источника или наблюдателя.

абсолютно безосновательной. Представьте себе, однако, — снова в двумерном пространстве, — что касательная плоскость приложена к шару и что световые точки, приблизительно равномерно движущиеся по поверхности шара, проецируются на эту плоскость: таким образом вы получаете подобие. Есть еще и другие веские основания. Вывод таков: наш мозг создает упрощенный (но биологически достаточный!) набросок некоего трехмерного, евклидова, расплывчато-бесконечного пространства, а именно: кусочек "касательной плоскости"; в действительности же оное пространство вогнуто в себя и внутри пространства четырехмерного (вспомните-ка о поверхности шара в примере с двумерным пространством); а следовательно, оно имеет конечный диаметр, размер которого можно выразить в цифрах. Оно безгранично, но не бесконечно.

Ветер заходился лаем, как злая собачонка, и шуровал в соломе. Ее мать спросила вполголоса:

— Когда Альфред писал тебе в последний раз?

Она невозмутимо ответила:

— Я лучше с ним разведусь...

Для меня это был удар: стало быть, она замужем (чему же тут удивляться: я ведь тогда вообще не отваживался заговорить с нею; всегда только смотрел на нее; тогда).

Старик ответил, вздрогнув:

— Так Шопенгауэр все-таки ошибался на сей счет... а я думал... — он что-то забормотал себе под нос и ушел в свои мысли.

Анна, с набитым ртом, спросила (все еще tricky[1], ах боже мой!):

— Вы можете хоть приблизительно назвать число? Для диаметра?

Я сказал:

— Диаметр меняется. Это пространство пульсирует.

Вагон так резко тронулся, что скользящая дверь распахнулась. Мы опять закрепили ее и улеглись. Один из малышей, посланных пастору Господом, затянул песню — странно высоким, стеклянным от лихорадки голоском; кто знает, как долго уже их семья мотается по дорогам беженцев. А преступник в столице знай себе гонит людей на смерть и ужас, чтобы самому становиться все "величавее" и "неповторимее", — эдакий гермафродит, помесь Нерона и Савонаролы; жаль только, если ему удастся избежать правосудия обманутого наро-

1. Хитрая, коварная; обманчивая (*англ.*).

да – ему, более трусливому, чем любой из его солдат. Слишком много он натворил... Воротник шинели поднять, а уши у шапки опустить: собачий холод.

Еще темно

Немного поспал; потом думал о всяком. Вспомнился Фенимор Купер (и в связи с ним "Горный лес"[1]). "...что-то чужое и отторгающее заключено в украшениях и праздничных одеждах женщин..."; я повернулся на правый бок, я тихо, словно ветер ночной, забормотал в чье-то ухо: много воспоминаний. Солнце, ветер. Желтые вечера, на речных отмелях – болтовня и смех. Персидская сирень под дождем. Кричащие дети опускались на колени в зеленоватом пруду. Ночь рождалась за ветвями в ивовых сводах... *Она* дышала равномерно и безмятежно; во сне. А почему бы и нет? Разве не стало все вокруг превращаться в некий рассказ? И разве уже тогда не нежились на листьях сирени ее губительницы – жирные гусеницы; разве мальчишки, вопя, не хлестали тихую воду, пока она не начинала шипеть? Не была ли моя душа уже в те времена измучена, и бытие мое – чем-то, чему лучше б вообще не существовать?.. Если бы я мог заснуть... Доля вины в случившемся лежит и на Ницше, который обожествлял власть; у него, собственно, потом и обучались партийным трюкам ("Ты должен любить войну больше, чем мир..."), у словоохотливого мошенника; он – отец тех брекеровских[2] образцовых солдат, которые, забери ты у них символические дубину и скалу, умрут с голоду, потому как "ничему больше не обучены". Он да Платон – вот главные вредители (а сверх того и невежды: смотри их высказывания о естественных науках). Другое дело – *Аристипп*[3], с его утренним и послеполуденным золотом!.. А щетина моя начала колоться; тепла, казалось, прибывало, если рывками, с усилием напрягать все мышцы, как можно дольше; кровоснабжение возобновилось, однако все это чертовски утомляло. Зевота. Три четверти ночи стояло чудовищное зловоние; шнапс сейчас был бы как раз то, что

1. "Горный лес" – цикл рассказов австрийского писателя Адальберта Штифтера (1805–1868).
2. Арно Брекер (1900–1991) – архитектор и скульптор; в описываемый период – автор многих монументальных скульптур, прославляющих воинский героизм.
3. Аристипп Старший из Кирены (435–355 до н. э.) – греческий философ, ученик Сократа, основатель школы киренаиков. Здесь, вероятно, имеется в виду роман почитаемого Арно Шмидтом Кристофа Мартина Виланда (1733–1813) "Аристипп и некоторые из его современников".

надо, я бы не отказался даже от поганой сивухи, только чтоб по башке шибанула. Или уже светает?

8.00

Впереди раздался свисток (чтобы на нас обратили внимание; чего не сделаешь по привычке!); потом машина медленно, все убыстряя ход, начала выбрасывать пар, и мы прогромыхали еще какое-то расстояние. Даже довольно приличное. Естественно, все проснулись и с заспанными серыми лицами оглядывались по сторонам (да-да; бояться не надо: беда наша осталась все той же). Больной ребенок опасно расцвел, словно роза. Теперь: медленнее. Стоп. Ну вот, дождались.

9.30

Проклятье, все случилось так быстро...

Мы остановились где-то возле Николаусдорфа[1], между высокими насыпями, окаймленными соснами. Большинство пассажиров выбралось из вагона; я тяжело зашагал к локомотиву: из-за того, что уголь был рыхлым и отсырел, не обеспечивалось необходимое давление пара; можно простоять не один час, пока давление снова достигнет нужного уровня. Механики, однако, работали неутомимо.

Я вскарабкался по южному склону и попал под низкие своды серого дня (все еще равномерно затянутого тонкой облачной пеленой, но уже изрядно холодного). На севере, совсем недалеко от нас, землистый снег взвихривался от попаданий легкой артиллерии. Я крикнул кочегару: пусть приостановит постоянный сброс пара; но он только передернул плечами. Внезапно фонтаны грязи скачкообразно приблизились; перепрыгнули через нас, отступили обратно; в воздухе словно свистели тысячи разбойников. Объятый ужасом, я начал сзывать всех (как же медленно они двигались), а русские уже пристреливались к нашему поезду. Я закричал своим: отходить стороною, ни в коем случае не метаться под траекторией. Анна тотчас примчалась (ловкая и спортивная, как прежде) и бросилась рядом со мной головою на гальку. Приползли также солдаты, ее мать, старик. Черные точки вынырнули из дальнего леса — танки! — и вдруг над нами возник тонкий, как у пичужки, веселый писк; я прижал ее голову к земле и пронзительно завопил ковыляющему к нам пастору:

— Ложись!!

1. Николаусдорф — станция на железнодорожной ветке, ведущей к Гёрлицу (Саксония).

В ста метрах вправо от нас, где дымилась проклятая спиртовка, из сосновых верхушек вырвались два — в человеческий рост — черно-алых огненных языка; и снова: "У-у-у — Уа!" И снова. Железо стонало внизу, в ложбине; тяжкое бремя. Я, задыхаясь, спросил:

— Помните ли вы... Гёрлиц? Прохладный вокзал. Летним вечером...

Она спокойно кивнула, а я по-пластунски пробрался к кусту и высунул защищенные очками глаза над краем. *It cracked and growled and roared and howled*[1]. Однако ж не только мы здесь, но и сами танки, похоже, попали под ожесточенный обстрел (Анна опять была рядом, и ее профиль — профиль Марлен Дитрих — опять обратил меня в блаженное рабство). Еще раз хлестануло истеричным пулеметным залпом по стволам деревьев, потом чудовищные гусеницы лениво развернулись и уползли в лесок. Мы тотчас, пригибаясь, побежали обратно, вниз по склону: земля тут была красной; красной, ах! Наш старик-крестьянин оцепенело сидел, прижимая к груди окровавленную болтающуюся руку. И одного из малышей почти полностью разорвало парой гигантских осколков: шею и плечи, все. Мать по-прежнему держала его головку и словно бы с удивлением смотрела на жирную карминную лужу. Другой, больной малютка, мучимый голодом и жаждой, запихивал в рот старый снег; я, чтобы развлечь его, немного похлопал в ладоши; хотя какой от этого прок, еды у меня тоже нет. Штемпелевщика почтовых марок чуть не стошнило. "Разве такое возможно..." — шептал он и давился слюной. Пастор утешал плачущую жену; он витийствовал: "Господь дал, Господь взял...", — и, черт побери, этот трусливый низкопоклонник прибавил: — Да будет благословенно имя Господне! (Еще гордо взглянул на нас, пропащих язычников, — бесстыдная лакейская душонка! Погиб ни в чем не повинный ребенок — незатейливые байки о первородном грехе, повторяемые уже две тысячи лет, он может рассказывать только выжившим из ума: Неужели люди такого сорта никогда не задумывались, что грешником может быть сам Бог? Или они не слыхали о Канте и Шопенгауэре, о Гауссе и Римане, о Дарвине, Гёте, Виланде? Или просто не в силах такое постичь и, как блаженные коровы, продолжают из века в век монотонно и обреченно жевать капусту? Подобные умники отвергают работы по регулированию рек, воспринимая их как вотум недоверия

1. "Лишь треск ломающихся глыб, / Лишь грохот, гул и гром!" (*англ.*) — "Сказание о Старом Мореходе" Сэмюэла Тейлора Колриджа. Перевод В. Левика.

Богу и как незаконное вмешательство в ЕГО творение. От одного ученого-боговеда я однажды услышал такое суждение о слепой кишке: "Не будь она полезной, ее бы не существовало!" — *whatever is, is right*[1]: Это справедливо, значит, и в отношении детского паралича, гусениц шелкопряда-монашенки, *Sphaerularia Bombi Dufour* и Хермса Нила[2]; приверженцы слепого послушания всегда, насколько помню, облачались в черную форму. — Сволочь).

11.00

Он рыл могилу руками, искоса посматривая на них — кокетливо и благоговейно. Я видел, он откладывает это воспоминание про запас, словно ценный предмет: представляю, как однажды его голос, окрашенный давней скорбью, возвестит: — "своими руками..." Обезьяна.

Полдень

Я повесил через плечо сумку для сухого пайка (на случай, если придется внезапно оставить вагон) и прислонился к черной сырой сосне. Другие, не все, столпились вокруг. Анна, зажав в уголке рта сигарету, внезапно спросила:

— Как же все-таки пульсирует ваше пространство?

Старик тоже протиснулся поближе. Я устал; я невежливо нахмурил лоб, однако с усилием произнес:

— В конечном пространстве материя распределена экономно; ее однородность доказывается спектральным анализом и метеоритным поглощением. Точно так же всей разделенной материи присуща гравитация: то есть воля к объединению атомов. Оба феномена имеют, видимо, общее происхождение.

Вообразите-ка, что будет с надутым воздушным шариком, если он окажется в двумерном пространстве: точно так же может "сдуться" и некоторое количество материи, а вместе с ней — наше конечное пространство с ограниченной энергией. ("Между прочим, со вспучиваниями дело обстоит так же..." — вставил один из солдат, и я сурово кивнул: истинная правда,

1. "Все хорошо, что есть" (*англ.*) — Александр Поуп (1688–1774) "Опыт о человеке". Перевод В. Микушевича.

2. Шелкопряд-монашенка — бабочка, которая является опасным лесным вредителем: ее гусеницы уничтожают хвою сосен и елей. Sphaerularia Bombi Dufour — шмелевая глиста, которая выводит своих детенышей в теле самки шмеля (и сама при этом гибнет). Хермс Нил (наст. имя Фердинанд Фридрих Герман Нилебок; 1888–1954) — немецкий композитор, член НСДАП, сочинял в основном маршевые песни, широко использовавшиеся нацистской пропагандой.

сын мой, истинная правда! Анна латунно расхохоталась). Быть может, в центробежных движениях внегалактического тумана еще сохраняется память о прежних размерах нашей "Вселенной"; быть может, скорость света каким-то образом связана с растягивающей силой. (Законы излучения, законы распространения: света, звука; и законы сжатия: тяжесть; те и другие зависят от квадрата расстояния). Однако эластичная кожа хочет стремиться к стягиванию: гравитация и есть это "поверхностное натяжение" космоса, команда к обретению материального универсума, доказательство неминуемости сокращения размеров. Гомогенный, лишенный гравитации "конечный шар", в котором не будет больше ни физических, ни химических изменений, а следовательно, не будет ни причинно-следственных связей, ни каких-либо свойств: такой шар, едва возникнув, сразу исчезнет, а вместе с ним — скукожившееся трехмерное пространство и наше время.

Пастор, который сочувственно, но вполуха прислушивался к моему рассказу, теперь спросил с детским удивлением: "Как это так? Исчезнет?.." — и потрясенно покачал набитой благоглупостями головой. Старик же весь напружинился, словно гончий пес; он-то понял сказанное: потому что своего Шопенгауэра, похоже, знал назубок; он энергично кивнул и пробормотал что-то подходящее из *Закона о достаточном основании*[1]. Небо уже во многих местах поголубело; это к похолоданию. А больная девочка никого больше не узнавала и замахивалась ручками на бога лихорадки (у него лисья морда, пучок красных стрел перед грудью: смотри *Вайлагири*[2]). Боюсь, у пастора скоро опять появится повод прославлять того наверху.

Я уже восемь дней не мылся как следует; все мы — смуглые и стройные (как дедушка Кюгельгена[3]).

Слушайте, слушайте

Один солдат беседовал с гитлерюгендовцами (и девицы из СНД[4] тоже убежденно кивали):

1. Имеется в виду докторская диссертация А. Шопенгауэра "О четвероякомкорне закона достаточного основания".
2. Вайлагири — вымышленный адский город, описанный Арно Шмидтом в рассказе "Энтюмесис" и упомянутый в ряде других шмидтовских произведений; его возможный прототип — Медный город из сказок "Тысячи и одной ночи".
3. Вероятно, имеется в виду художник Вильгельм фон Кюгельген (1802–1867), родившийся и работавший в Санкт-Петербурге; он написал многократно переиздававшуюся книгу "Юношеские воспоминания пожилого человека", в которой, в частности, описывает эпоху наполеоновских войн.
4. СНД — Союз немецких девушек.

— У нас еще есть резервы; мы победим. Вождь следует определенной тактике: сперва он заманит их всех в ловушку, затем пустит в ход секретное оружие.

— Геббельс ведь сказал буквально следующее, — пояснил один из юношей, — "когда я увидел действие нового оружия, у меня сердце обмерло". И за три года всё отстроят вновь — будет еще лучше, чем прежде. Архитектурные планы уже лежат на столе фюрера.

И так далее. И глаза их блестели, как оконные стекла горящего сумасшедшего дома. Я был бы рад, если б человечеству пришел конец; и питаю надежду, что оно — ну, лет за пятьсот-восемьсот — само изничтожит себя, без остатка; это будет правильно.

Солнце на мгновение показалось между робкими облаками. Я присел на пенек; внизу Анна прислонилась к красному вагону, вся залитая светом. Голова моя упала на грудь; я заснул. Кишащий людьми вокзал, лестницы и залы ожидания — все куда-то отодвинулось; и тут я закричал: "Они идут! В укрытие!"

Десятки тысяч увиденных во сне лиц разом поблекли, на всех стенах притаились *они*, я бросился наземь рядом с каменными ступенями. Вверху, в ясном воздухе, делали "мертвую петлю" три самолета; отчетливо были видны стволы однодюймовок, торчащие из несущих плоскостей. Анна оказалась далеко, нас разделил человеческий поток; я поднял голову, чтобы ее окликнуть, — но уже что-то цокало по камням и пронзительно грохотало. Аршинные стройные язычки зеленого пламени выпрастывались из земли, выдергивали глиняные лепешки размером в стол, осколки визжали, потекла кровь. *Они* использовали тактику "воздушной карусели" и вели огонь повторными заходами; через локомотивы; стены домов были уже изрешечены дырами величиной с кулак; верхушка дерева, обломившись, обрушилась вниз ("Мадонна в противогазе", тема для старых мастеров) — вот: улетают! Я помчался назад, к нашему вагону (который почему-то превратился в пассажирский), я в отчаянии звал: "Анна! Анна!" — но она уже подошла к окну. Я медленно поднялся на подножку, усталый, в ношеной перепачканной солдатской шинели; я ухватился обеими руками за опущенную раму и смотрел вверх, ей в лицо, — смотрел и смотрел. Сияющая тишина и блаженство. Рот ее силился насмешливо и мило скривиться, он выражал удивление и сердечную веселость, отчуждение и расположение. Она вынула руку из кармана и провела ею по моему лбу, по волосам. Лицо было светлым от моих глаз; она думала и гадала. Она сказала: "Так много грязи и бед в послед-

ние годы...” Ласкающее молчание. Меланхолично-лукаво изогнулась еще раз алая линия губ; улыбки и слова, рискованные и обещающие: “И ангел-хранитель нам бы совсем не помешал, правда?..”

Я вздрогнул; я проснулся; золото солнца, и вокруг меня, пятнами, — синие тени. Анна стояла передо мной, с интересом меня разглядывала, потом спросила:

— Да что с вами? Вы так интимно и задушевно звали меня... — Она сделала крохотную театральную паузу, после чего иронично предположила: — Приснилось что-то?! — Я сдвинул брови: я поведал ей все; слово за словом. Она внимательно слушала, насмешливо склонив ухо. — И... c'est tout?[1] — спросила, приняв разочарованный вид: — ...право, ничего пикантного. От солдат ждешь большего... — С вызовом. Я вежливо кивнул и ответил:

— Знаю, я с довоенных времен мало переменился. Вы, впрочем, тоже.

Рассмеявшись, она было двинулась прочь, насвистывая (“Барышня, вы не должны оставаться одна...”), но вдруг замерла, вернулась ко мне и спросила:

— Скажите, с вами такое часто случается: видеть меня во сне?..

Я ни секунды не колебался, я тут же выпалил:

— Да.

Она одобрительно вздернула подбородок и бросила мне через плечо:

— Вы все-таки переменились. Прежде только пялились на меня, как теленок, — ну, и прекрасно!

Она неторопливо стала спускаться по склону, к своей матери. Больной ребенок только что умер; *och orro orro ollalu*[2].

14.13

Муть струилась по небу, сначала дымчато-тонкая, — высоко над ноздреватым снегом с синим отливом; порывистый ветер внезапно поднялся на западе; мир погрузился в сиплую серость: начался снегопад. Тяжелый и мерзкий.

Внизу в вагоне

Все угрюмо сидели на полу друг подле друга; окоченевшие, кашляющие, голодные. Терзаемые жаждой. Скоро, должно быть, мы снова поедем.

1. Это всё? (*франц.*)
2. Och orro orro ollalu — лейтмотив стихотворения И. В. Гёте “Плач. С ирландского”, где речь идет о женщине, потерявшей ребенка.

16.10

Снег, снег; час за часом. Анна засунула руки в карманы и сидит неподвижно. Старик откашлялся. Еще раз. (Он теперь выглядит грязным, и белым, и тощим.) Он спокойно посмотрел на меня и спросил:

— Вот вы говорили давеча, что наш универсум сейчас сжимается, а прежде будто бы "раздувался". Вы не могли бы рассказать что-нибудь об этой пульсации?

Лицо его скуксилось, сморщилось: он напряженно вслушивался. Гитлерюгендовцы проверяли фаустпатроны (к ужасу деревенской старухи): "...итак, отверстие прикладывается к отверстию; потом надо завинтить..."; они так самозабвенно играли с этими штуковинами, настоящие дети Левиафана (Ты Сын Мой Возлюбленный...[1]); злое железо и смертоносный огонь: где же вы, Благоволительницы[2]. Я вспомнил о диком плакате гауляйтера Ханке в Бреслау; как тот, с красноречием слюнявого идиота, призвал нашу молодежь: "Сбрасывайте лопатами снег в ручьи и реки, чтобы взбухшие водные артерии задерживали врагов" (цитирую слово в слово! 8.2.45, в Грейфенберге, я собственными глазами прочитал эти строки в витрине магазина Шнейдера, на Грабене!) Чешуйчато-светлый поток, как гад земляной ползущий: красота. А от стариков тот же гауляйтер требовал, чтобы по ночам они устраивали поджоги на оккупированных врагом территориях; руководствовался глумливой логикой: вам-де все равно скоро помирать, так подарите остаток своих дней фюреру! Я глубоко убежден, что такие безумные горлопаны в своей визгливой жажде уничтожения (вспомните утеху Герострата!) покроют Германию — до последней собачьей конуры — пожарами и руинами. Можно сказать: у них повадки анабаптистов[3]. Разве что другие костюмы, сценические подмостки просторнее... Старик получит ответ. Я спускаю свой голос с цепи; я говорю резко:

— От ценимого вами Шопенгауэра вы знаете, что мир есть воля и представление; сам философ остановился на этом достижении, не сделал последнего шага; однако в конечном счете и воля, и представление сольются в одном существе, обладающем сокрушительной физической и интеллектуальной мощью.

1. Цитата из евангельского рассказа о крещении Иисуса (Лк. 3:22).
2. Буквальное значение греческого "Эвмениды". Эвмениды, они же Эринии, — богини мести.
3. Имеется в виду Мюнстерская коммуна 1534—1535 гг., где анабаптисты, захватив власть, изгоняли иноверцев, подвергали конфискации имущество зажиточных горожан, принуждали женщин к многоженству и т. д.

Пастор заулыбался и блаженно-радостно поднял голову:

– Это Бог, – произнес он, умиротворенно кивнув. – Вы не можете не считаться с фактом...

Я даже не взглянул на него; я сказал:

– Не Бог, а Демон. Он то становится самим собой, то распадается, заполняя Вселенную. В настоящее время он не существует как индивид, а только как универсум. Но он во всем оставил принуждение к возврату; гравитация – доказательство сему, в материальной сфере (80 шаровых звездных скоплений над нашей галактической плоскостью, не они ли прообраз и пример? Возможно, со временем они будут поглощены более крупными звездными облаками, однако – именно как целое; ведь их контракция должна происходить гораздо быстрее); в сфере же духа на неизбежность такого сжатия указывают: наличие видового сознания (снящиеся всем людям сны о полетах и т. п.; одинаковые – что легко доказать – представления о пространстве и времени у всех живых организмов: в силу общности их происхождения); несвобода воли, когда ее пытаются воплотить на практике (мудрый Шопенгауэр! И все, что отсюда вытекает: к примеру, возможность заглянуть в будущее во сне – см. у Дж. У. Данна[1]. Или – магия); распад единичной особи в смерти. (Мы все хотим существовать вечно именно в качестве индивидов, и все религии на этом играют – христианство, ислам... – потому-то они и находят приверженцев; учение же – опять-таки согласно Шопенгауэру, – которое проповедует растворение индивида во "всеобщей воле", никогда не станет популярным или любимым, даже для того, кто признает его истинность; в таком учении всегда есть что-то от головы Медузы). Накопление интеллекта, все большими "порциями" – смотри палеонтологию, – подкрепляет гипотезу о возрождении Демона также и в духовном плане (возможность появления "сверхчеловеческих" существ: чародеев, духов природы – ах, Гофман![2] – и опять же 80 шаровых звездных скоплений).

Чтобы понять сущность этого Демона, нам следует осмотреться вовне и внутри нас. Мы ведь сами – его часть: каким же сатанинским отродьем должен тогда быть Он?! Находить

1. Джон Уильям Данн (1875–1949) – английский инженер-аэронавт, участник англо-бурской войны; автор интересных работ о восприятии времени, написанных на основе изучения разных мистических традиций: "Эксперимент со временем" (1927) и "Серийная Вселенная" (1934). Данн считал, среди прочего, что будущее можно увидеть во сне и что прошлое, настоящее и будущее существуют одновременно.

2. Имеется в виду Э. Т. А. Гофман (1776–1822), соединявший в своих произведениях фантастическое и реальное.

мир прекрасным и благоустроенным мог, пожалуй, только господин фон Лейбниц (по поводу этой частички "фон" смотри примечания Клопштока к "Республике ученых"[1]), не устававший любоваться тем, как мудро устроена наклонная земная ось, или Маттиас Клаудиус[2], готовый целыми днями кататься по полу и вопить от христианского восторга, а также иные духовные швицерцы[3]. Наш мир есть то, чего лучше бы не существовало; кто утверждает обратное, лжет! Вспомните о главных механизмах нашего миропорядка. Жратва и похоть. Размножение и смерть от удушья. Изредка — абсолютное чувство формы: кристаллы, радиолярии, которых изображал на своих таблицах Геккель[4] (Бёльше[5] однажды заметил, что в природе, должно быть, заключен еще не известный нам формообразующий принцип, ха-ха); но, по сути, красота радиолярий — чисто техническая проблема: природе нужно было создать условия для парения этих организмов в соленой воде, и решение — оптимальное питание — нашлось довольно быстро, посредством селекции. С другой стороны: мерзости вроде тритонов, змей, пауков, летучих мышей, глубоководных рыб, миграций лосося и угря[6]. Между прочим, Чезаре Борджиа[7], хоть и был убийцей, тоже непло-

1. Фридрих Готлиб Клопшток (1724–1803) в своем сочинении "Немецкая республика ученых" (1774) приводит шутливое описание предполагаемой реформы немецкой грамматики, где имя Лейбница предлагается склонять так: "В. Лейбниц ф. Лейбницен, ди Лейбнице ф. дер Лейбнице (во множественном числе)" и т. д. Сам Арно Шмидт тоже написал роман "Республика ученых" (1957); русский перевод Ю. Архипова и А. Дранова (1992).
2. Маттиас Клаудиус (1740–1815) — немецкий поэт, примыкавший к литературному "Союзу рощи"; в его творчестве консерватизм, пиетистское благочестие сочетаются с сентиментальным народолюбием; скромным, довольным своей долей людям с их безыскусными радостями он противопоставляет претензии и развращенность высших слоев общества.
3. Швицерцами называли в XVII в. немецкоязычных швейцарских поэтов и критиков, которые активно участвовали в культурной жизни Германии.
4. Радиолярии (или лучевики) — одноклеточные планктонные организмы, обитающие в теплых океанических водах, со сложной формы скелетом из оксида кремния. Эрнст Геккель (1834–1919) — немецкий естествоиспытатель и философ, автор ряда оригинальных исследований по зоологии беспозвоночных, филогенезу растений, животных и т. д.; монографии "О радиоляриях" (1862), "Об известковых губках" (1872), "О медузах" (1880) и другие характеризуют Э. Геккеля как одного из крупнейших биологов XIX в.
5. Вильгельм Бёльше (1861–1939) — немецкий писатель, один из основоположников немецкого натурализма, автор биографий Ч. Дарвина (1898) и Э. Геккеля (1900), проповедник "природной любви".
6. Имеется в виду массовая гибель этих рыб во время нереста и последующей миграции.
7. Чезаре Борджиа (1476–1507) — представитель испанского дворянского рода, в XV в. переселившегося в Италию; став правителем Романьи (1499), Ч. Борджиа завершил объединение Италии под своей властью; хотя он славился коварством и цинизмом, Макиавелли превозносил его как идеального государя.

хо разбирался в искусстве. Конечно, человеческая прозорливость ограничена в пространстве и времени. Однако остается Левиафан, который то концентрирует свою злобу, то наслаждается умножением собственной многоликости и расчлененности.

Между прочим, нет оснований предполагать, что наш Левиафан — единственный в своем роде. Возможно, имеется много существ его габаритов, и среди них — добрые, светлые, ангельские. Но мы, к несчастью, оказались во власти дьявола. *Si monumentum quaeris, circumspice* (надпись на могиле сэра Кристофера)[1].

Сумерки, сумерки

Снег в беззвучном падении пролетал мимо; мимо дверной щели; миллиарды кристаллических существ, рожденных в воздухе, в смерти становились водою. ("Снежинки" железа, когда из атмосферы гигантского солнца оно обрушивается вниз, на безумствующее раскаленное тело, — драконьи, жестко-жалящие? Или — золота). Спереди, от локомотива долетел резкий (но негромкий) крик кочегара: "Внимание! Трогаемся!" Пар толчками рванулся в небо; состав дернулся и загромыхал. Крошечный отрезок пути. Торможение. И затем позади нас — адский звук, будто что-то треснуло, сломалось. Еще метр. И опять — что-то тявкающе рвется, будто лопнувшая доска. Я вскочил, оказался у двери и протиснулся через щель, обнаружил позади себя Анну (отважную девочку в мехах); тут подоспел и машинист, и мы, ругаясь на чем свет стоит, убедились в том, что цепь порвана (перебита?), а шпалолом — well[2]: безукоризненно делает свое дело. Мы скорчились между буферами, позвали остальных и попытались — еще раз, сгибаясь в три погибели, мешая друг другу, работая рычагом — отсоединить прицеп.

Еще раз. Однако безуспешно: ржавчина въелась в ржавчину; мы только ободрали незащищенные руки. А надо было спешить: использовать те несколько минут, когда сохранялось нужное давление пара. Поэтому мы, взмокшие от пота, опять вскарабкались в будку на колесах и (треклятая псина еще как засвистела!) двинулись дальше. Путешествие в серую даль[3],

1. Сэр Кристофер Рен (1632–1723) — английский математик и архитектор, создатель собора Св. Павла в Лондоне. Латинская надпись на его могиле переводится так: "Если ищешь (надгробный) памятник, оглянись вокруг".
2. Ну (*англ.*).
3. Аллюзия на сказочный роман немецкого романтика Людвига Тика (1773–1853) "Старая книга, или Путешествие в голубую даль" (1835).

вместе с неотвязным шпалоломом. Хайль Гитлер. Почтмейстер внезапно потерял самообладание; он сжал кулак перед носом исполненных надежд юношей и крикнул (перекрывая дьявольский грохот позади):

– И вам не стыдно носить эту окаянную форму?! Вы что, не слышите?! Ах, сукины дети, мерзавцы!!

Будущее Германии воспрянуло; они спросили удивленно и с ехидцею:

– Почему же? Ведь это замечательно! По крайней мере, русский не сунется!

Один из них – тот, что постарше, – сказал спокойно, с угрозой:

– Вы лучше о себе подумайте. В концлагерях еще хватает свободного места.

А другой (ребячливый и усердный – не игрой ли то было для него, просто модной игрой? Нажать на веселую кнопочку, и –):

– Да пристрели ты этого поганого капитулянта!

Снаружи усиливался отвратительный шум, вдоль одиноких домов, – он нарастал до безмерного безумства. Группка тополей перегородила нам путь. Звезды. Снег исчез из воздуха. Громыхание колес, разлетающиеся щепки. Громыхание, громыхание – но: замедляющееся. Эта штуковина, давясь, разжевала еще одну шпалу. С расстановкой, со смаком: еще одну. И – еще – – одну. Мы остановились. Я выхватил пистолет: я был взбешен и холоден; мой голос подчинил себе внезапно зазвеневшую тишину:

– Кто заикнется о том, чтобы кого-нибудь пристрелить, получит пулю в брюхо! Вам мало несчастий, уже случившихся в нашем вагоне?..

Пока говорил, я вдруг почувствовал голод и жажду (прежде мне кое-как удавалось их отгонять своими мыслями); я молчком распахнул дверь и выпрыгнул наружу: черт побери: по колено! Снегу намело изрядно. И – Мойс[1]; сразу за низенькими станционными строениями. На противоположной стороне ответвляется перегон на Кольфурт, Пенциг. Дрожа от озноба, я съел две пригоршни снега. И замерз еще больше. Наверху из темного четырехугольника спокойный ломкий голос спросил:

– Ну? Что там?..

Надо же, двойная звезда. Я ответил:

– Впереди у нас сильный огонь...

1. Мойс – тогдашнее название восточного района Гёрлица (теперь – Згожелец, часть города, переданная Польше).

— *У нас...* — с нарочитой ленцой повторила она и спрыгнула мне в объятия, не вынимая рук из карманов. Я лихо рассмеялся; откинул голову:

— Конечно. У нас! — сказал с ожесточением и насмешкой...

Тут кочегар позвал нас.

19.30

От дальней гряды холмов беззвучно поднимались красно-жемчужные нити четырехствольной зенитки. Холод усиливался; и, тем не менее, снова повалил снег, мелкий и колючий.

Ночь в вагоне

Отчаявшиеся крестьяне притоптывали ногами. Колючий снег почти заглушал требования желудка; это уже какой-то бред. Старик, как видно, тяжко страдал; он, пожалуй, за всю прежнюю жизнь не испытал столько мытарств; один из солдат плеснул ему в рот водки — потом эти парни со своей лахудрой выхлестали остаток бутылки; сидят и несут всякую похабщину. Любознательная молодежь одобрительно хмыкает в ответ на сальные не-двусмысленности. Недавно, когда пастор с непробиваемым самодовольством ханжи, уверенного в своем благочестии, вновь вознамерился громогласно и образцово помолиться, на него наконец окрысились: солдат с забинтованной головой грозно заорал из угла: "Да прекрати ты эту дребедень!"; старик тоже поднял голову; и решительно произнес: "Вы, разумеется, можете молиться сколько угодно, однако насто избавьте от этой вашей... назойливости..." (Последнее слово он пробормотал с отвращением.) Когда же наглец — пусть и потише — опять принялся приставать с молитвами да обещаниями к своим фанатичным божествам (смотри Либания[1], "Речь в защиту храмов". Чтобы сразу внести ясность: поистине прекрасное, хотя и не оригинальное "Возлюбите друг друга!" — как живая действенная практика — разумеется, всегда получало и впредь будет получать одобрение и поддержку со стороны всех честных людей. Чего нельзя сказать о не приносящих никакой пользы гносеологических амбициях христиан; и уж тем более — о созданном на основе произвола церковном аппарате власти, о его беспримерном и ужасном духовном терроре, который длится столетиями. Ведь концентрационный лагерь был изобретен не Сталиным или Гитлером, и даже не в период

1. Либаний (314—393) — греческий ритор из Антиохии, приверженец греческих богов, был одним из самых знаменитых ораторов своего времени.

англо-бурской войны; он — детище святой инквизиции. И первое на Западе подробное описание правильно организованного концлагеря подарила нам христиански-извращенная фантазия Данте — сами убедитесь, он не упустил ничего: ямы с навозной жижей, истязание ледяной водой, нескончаемая пробежка под палочными ударами; для сомневающихся имеются наготове огненные гробы, а излишне любопытные — вроде Одиссея — будут поражены молниями: ибо "перечисленное и есть, в конечном счете, подлинно сильный аргумент господ теологов; с тех пор как они этого аргумента лишились, положение их резко ухудшилось"! Теперь-то Церковь требует терпимого отношения к себе, хотя сама она в те полтора тысячелетия, когда находилась "у кормила власти", не проявляла терпимости ни к кому! *Écrasez l'infâme!*[1]), именно тогда старик и вовлек меня в разговор об исторических источниках, из которых я почерпнул только что изложенные воззрения. Я с трудом сгребал в одну кучу все, что еще мог отыскать в руинах своей памяти (гравюры Пиранези пришли мне на ум: римские руины на фоне светлых ветреных вечеров. Стройные деревца. Крестьянин в островерхой шапке, энергично жестикулируя, погоняет ослика, нагруженного бурдюками вина. Прохлада и благолепие, золото закатного неба: *aurum potabile*[2]. Природа — то есть Левиафан — не являет нам ничего совершенного; она постоянно нуждается в том, чтобы ее корректировали добрые умы. Смотри определение сущности поэзии, данное Эдгаром По[3]. К сожалению, такие умы ныне относятся к исчезающему меньшинству). Я, несмотря на цепенящую усталость — о, как же холодно, холодно! — упомянул слово "эманация"; в той же связи: гностиков и каббалистов (помраченный Бог; мир = modificatio essentiae divinae = Deus expansus et manifestatus[4]. Учение о mundo contracto et expanso[5]; вечно превращающийся Бог Окена[6]), Псевдо-Дионисия, Скота Эриугену, Амальриха, Давида де

1. "Раздавите гадину!" (*франц.*) — слова Вольтера о католической церкви.
2. Золото, которое можно пить (*лат.*); алхимики считали его универсальным целительным средством.
3. Арно Шмидт, вероятно, имеет в виду слова из эссе Эдгара По "Поэтический принцип": "Едва ли нужно напоминать, что стихотворение заслуживает этого названия лишь в той мере, в какой оно будоражит, возвышая душу. Ценность стихотворения определяется долей в нем такой возвышающей и будоражащей субстанции".
4. Модификация божественной субстанции = Бог распространившийся и явленный (*лат.*); то есть мир как Божественное тело.
5. Сжимающемся и расширяющемся мире (*лат.*); речь идет о теории пульсирующего пространства.
6. Лоренц Окен (1779–1851) — немецкий философ и естествоиспытатель, в 1816–1818 гг. издавал в Веймаре, затем в Рудольфштадте научно-философскую газету "ISIS"; разработал учение о вечном превращении Бога в мире.

Динанто[1]. Пауза: пьяные солдаты раздухарились; тяжело дыша и рыча, они наскакивали на потаскуху. Я, стыдясь за них, заговорил громче (чтобы Анна ничего не услышала — ах, она все-таки!..), я называл достойные почитания имена Джордано Бруно (spatio extramundano[2]), Спинозы, Гёте, Шеллинга, Трисмегиста[3] Эдгара По ("Эврика"), новых математиков и астрономов — до тех пор, пока старик, удивленный и болезненно-обрадованный, не растянул в смехе свои боярышниковые губы (ему заметно полегчало, когда он узнал, что на его стороне так много авторитетов. Полегчало от ощущения защищенности). Извольте, я упомянул и нелепую с точки зрения физики байку Ницше о "вечном возвращении": каким же недоумком выставлял он себя порой! (О том, что государство-Левиафан имеет границы и "следовательно" — разве такое обоснование уступает хоть в чем-то аристотелевым?! — должно быть смертным, он, вероятно, даже и не задумывался). Религии с их концепциями "сотворения мира" и божества, "ставшего человеческой плотью" (всем им свойственна та ошибка, что Бог в результате так и не меняет своей природы). Почтенный буддизм (для кого К. О. Нойман[4] слишком скучен, пусть попробуют начать с *Пилигрима Каманиты*[5]); политеизм древних (еще знавших, что Великий Пан может умереть!), "расчлененные боги": Орфей, Таммуз, Лин, Адонис. Духи природных стихий... Молчание. Плач из пасторского угла; гитлерюгендовцы хрипло поют "боевую песню" (внешне они держат себя геройски-незапятнанно, хотя все вышли из той кровавой жижи, что осталась от двадцати миллионов зверски загубленных людей. Мне в этом месяце довелось увидеть в Пирне[6] концлагерников на пересылке: ев-

1. Псевдо-Дионисий Ареопагит — неизвестный автор корпуса догматических сочинений, датируемых рубежом V–VI вв. ("О мистическом богословии", "О небесной иерархии" и др.). Иоанн Скот Эриугена (ок. 810–877) — один из крупнейших средневековых мыслителей, ирландец по происхождению, автор сочинения "О разделении природы". Амальрик Бенский, или Шартрский (умер ок. 1204–1207) — французский теолог и философ-пантеист, преподавал в Парижском университете, позже был признан еретиком. Давид из Динанто (1160 — ок. 1217) — его ученик и последователь, тоже был признан еретиком.
2. Пространство за пределами мира (*лат.*).
3. Trismegistos — трижды величайший (*греч.*). Эпитет бога Гермеса, которому приписывается авторство почитаемой алхимиками "Изумрудной скрижали". Здесь с Трисмегистом отождествляется Эдгар По, в скобках упоминается сочинение По "Эврика. Поэма в прозе (Опыт о вещественной и духовной Вселенной)".
4. Карл Ойген Нойман (1865–1915) — австрийский востоковед, который впервые перевел на немецкий язык бóльшую часть буддийских канонических текстов.
5. "Пилигрим Каманита" (1906) — "буддийский" роман датского писателя, лауреата Нобелевской премии (1917) Карла Адольфа Гьеллерупа (1857–1919).
6. Пирна — окружной город в Саксонии, на реке Эльбе.

рейские женщины с детьми, ужасно истощенные, с потусторонне-огромными провалами глаз; а рядом, на лошадях, — чертыхающиеся краснощекие палачи-эсэсовцы, в тяжелых серо-зеленых шинелях, увы!). Старик подался вперед; он спросил пронзительно: "Как? И Левиафану предстоит умереть?!.." Я, однако, уже ничего не слышал. Оцепенев от холода, я заснул.

(Один раз, совсем в отдалении, — тяжелое, как при землетрясении, громыхание. Долго. Словно массированный воздушный налет. Со стороны Дрездена? Бог прогуливается по бомбовым коврам[1].)

Около полуночи в небе появилась долька месяца

Ее лицо сразу сделалось светло-серым и неподвижным. Снег под окном заскрипел в такт чьим-то шагам; в дверь забарабанили: кочегар.

— Выходи! На расчистку!

Я выпрямился на негнущихся ногах, подоткнул ей под бок солому и спрыгнул с подножки вагона на близкую серебристую поверхность: все другие уже скулили в ледяной ночи. Рельсы порою проблескивали голубизной; рычаги стрелочного привода покрылись инеем. Мы долбили и выгребали лопатами наст вокруг колес; опустошенные, взглядывали на перламутровые облака, которые угловатыми типографскими литерами стояли в темном небе возле обзорной башни.

Стужа, стужа. Руки, мраморные, хватались за сверкающее железо. Кусачая снежная крупа крутилась вокруг носов и ртов. Мне так хотелось взглянуть на Нее из-под серебряных век... Наконец обессиленный старик повис у меня на плечах; и я поволок нас обоих обратно в вагон.

Поздно. Поздно

Месяц в тополином коридоре пронзительно ярок. Под окном — совещающиеся голоса. Я беззвучно придвинул шайбу лица к щели. Юнцы опирались на фаустпатроны, один говорил:

— Если мы оба спустим курок, эта колымага с предателями и пацифистами разлетится к чертовой матери...

("Пацифист": для таких нет более бранного слова; народ же поддерживает их криками "Хайль!") Я быстро выхватил пистолет, снял с предохранителя, нашел опору на дверном косяке. Другой задумался; затем высказал свое мнение (Ай да мыслитель: нет, какова зрелость!):

1. Ср. у Ф. Гёльдерлина в стихотворении "Юродивый": "Разве ты не познал многих живущих, а? / И не как по ковру, ходишь по правде ты? / О мой гений!"

— Но там внутри еще два солдата, один из них раненый.

Пауза.

— Однако нагнать на них страху не помешает, на этих старых задниц, — решил первый. — Слушай: пальнем-ка пару раз по вокзалу! Представь, как рванет!

Тот уже фыркал, кивая и веселясь. Они ушли в укрытие; они подняли свои трубы, щелкнули затворами. Грохот и удар вышли чудовищными. Юнцы хвастливо взяли на плечо свой инструмент и вразвалочку зашагали обратно. Победители. (Камень от обрушившегося фронтона продавил вагонные доски. Люди в тесном помещении наполовину оглохли.)

6.18

Все кончено.

Мы отъехали, всего на несколько сотен метров, и оказались на виадуке. Глухо гудело. Хорошо уже то, что движение было медленным. Высоко над рекою. Тут вагон внезапно рвануло вперед. И снова остановка. Передняя стена лопнула. Все произошло так быстро. Мы выскочили посмотреть: впереди отсутствует целый пролет моста; локомотив косо висит над бездной (а позади нас колею сожрал шпалолом!!), пламя взвилось из расколовшегося котла, и тотчас в воздухе запели снаряды (прекрасная цель, не так ли?!) Люди ощупью пробирались (крича в завывающем мраке) по лишенному перил мосту-великану, назад. (Один, кажется, сорвался; потому что вниз стремительно полетел вой.) Тут: зубчатая башня пламени с ревом воздвиглась на противоположном конце. Мы (Анна и я. Мы.), ничего не соображая (с бешено колотящимися сердцами), заползли обратно в вагон. Железные демоны бесновались и ликовали вокруг нас, над нами, под нами. По-прежнему часто грохали позади попадания, а потом все содрогнулось, будто обрушилась гора (и — кипень клокочущей воды).

07.00

Ледяной туман поднимается вверх, до самого края пропасти. (Хель[1], водное царство мертвых.) Еще не светало.

07.10

Был снаружи; прошелся, спотыкаясь. Опирался на каменные блоки, окутанные ледяным дымом. В восьми шагах позади шпалолома тихо зияла туманная геенна. Я поднял два го-

1. Хель, согласно германской мифологии, — царство мертвых в подземном мире и хозяйка этого царства; Хель как подземное царство противопоставляется небесному царству мертвых для избранных — Вальхалле.

лыша со щебеночного слоя и перебросил один из них через край: даже не хлюпнуло, все оставалось невозмутимым и безжизненным. Я размахнулся другим голышом, зажатым в окаменевшем кулаке: глухо просвистев, он удалился в сторону противоположного берега. Прислушаться... Ничего. Я бессмысленно и загадочно кивнул. Так-так. Я побрел обратно; я вскарабкался в обломки вагона; я сказал Анне:

— Сзади тоже обрушилось. Мы одни. Посредине реки и высоко над ней.

Она негодующе фыркнула; показала носком ноги вперед:

— Он умирает... — проговорила, наморщив лоб. Я, широко ступая, двинулся сквозь первую серость утра; старик сидел, неловко прислонившись к дощатой перегородке, и хрипло дышал; я огляделся: в вагоне никого, кроме нас. Я вынул правую руку из кармана и положил на его худое плечо; глаза у него открылись: они по-прежнему были ясны. Он твердо взглянул на меня; серые губы с напряжением приоткрылись, брови мучительно сдвинулись:

— Левиафан... — прохрипел, сумев-таки (радуясь своей издевке) заставить уголок рта приподняться, — ...тоже не вечен?..

Анна шагнула и встала рядом со мной; моя шинель почуяла рукав ее шубки. Я вдруг ощутил себя худым и выхолощенным, столетним (как Гарри Галлер[1]), я ответил этому мужественному человеку:

— Власть его колоссальна, но ограничена. А значит, ограничена и продолжительность жизни. — Я ждал; веки старика один раз опустились и поднялись; с натугой, но благодарно: он меня понял. Я заговорил быстрее: — Будда. Учит методике уклонения. Шопенгауэр: отрицанию воли. И тот и другой, значит, говорят о возможности противопоставить индивидуальную волю чудовищно-нерасчлененной воле Левиафана, — что, однако, учитывая разницу в весовых категориях, в настоящее время кажется совершенно нереальным, по крайней мере, на "человеческой ступени" развития духовных существ. Остается надеяться, что изверг когда-нибудь растворится в "диадохах"[2] (христианский намек на такой шанс — в рассказе о бунте Люцифера; Джейн Лид[3], напротив, хотела действо-

1. Герой-рассказчик в романе Германа Гессе (1877–1962) "Степной волк".
2. Диадохи (в переводе с *греч.* преемники) — полководцы Александра Великого, которые после его смерти в 323 г. до н. э., в результате долгих войн, затянувшихся до 301 г. до н. э., разделили между собой его империю.
3. Джейн Лид (1620–1704) — английский мистик и визионер, возглавляла основанное в Лондоне в 1670 г. Филадельфийское общество последователей Бёме. Призывала к объединению всех христианских конфессий, к поклонению Софии как женской ипостаси Бога.

вать совместно с многими приверженцами добра, хотела возродить природу, вернув ее к райскому состоянию; очень достойная цель: бунт поборников добра), а те, в свою очередь, будут "сходить на нет" в других, все более мельчающих персонажах — пока, наконец, не станет возможным "буддизм", тогда как вся прежняя структура придет к уничтожению. Быть может, есть и другие пути...

Он смотрел на меня со страдальческим выражением лица, отражавшим трудную умственную работу; глаза его осовели, затуманились... — ах: проблеск. Он прошептал:

— Я рад. — Высокая голова надломилась, упала на грудь; и мы услышали уже умиротворенное, долгое: — Рааад...

Тогда я с облегчением расправил плечи.

08. 20

На свету мы краснеем от стыда. Oh, greasy Joan[1].

Конец

Мы выйдем сквозь винно-красную заиндевелую дверь. Нас будет ждать в засаде, за золотистой дымкой, Дьяволица-Зимнее-Солнце, бело-розовая и бально-холодная. *Она* упрямо выдвинет вперед подбородок, по-мальчишечьи выпятит губы, приподнимет бедра, готовясь к прыжку. Нерасторжимо-крепко обниму я ее рукою.

Вот, вперед нас я швыряю эту тетрадь: лети. Тряпье.

Арно Шмидт (1914—1979) — один из самых ярких и сложных писателей второй половины минувшего века, автор множества книг, имевших большой резонанс в Европе, лауреат нескольких премий. Значение творческого наследия Шмидта, величайшего среди немецких писателей филолога-эрудита, состоит прежде всего в предпринятом им обновлении художественной речи, освобождении ее от штампов, в богатстве словаря, которому призывали учиться у него Бёлль, Вальзер и другие германские писатели.

Альфред Андерш, прочитав рукопись "Каменного сердца", первого романа Шмидта, написал издателю Эрнсту Кравелу (21.07.1955): "...Можно

1. Грязнуля Дженни — персонаж песенки о зиме из комедии У. Шекспира "Бесплодные усилия любви".

как угодно относиться к политическим, теологическим и прочим воззрениям Арно Шмидта, но то, что творится (в языковом смысле) в каждой фразе его произведений, не имеет литературных аналогов и непременно — пусть и не сразу, а в длительной перспективе — окажет влияние на состояние немецкого языка".

В этом романе, между прочим, Арно Шмидт устами своего персонажа Вальтера Эггерса сам объясняет, в чем состоят особенности его повествовательного стиля:

> Через мою пытливую голову текли формулы: "выполнять работу театрального осветителя"; "делать зримой мимику души"; "уравновешивать посредством ритма"; "искать себе пищу в заболоченных протоках языка"; "быть не зеркалом: но тем увеличительным стеклом, с помощью которого добывают огонь"; "спускать слова на людей, как спускают с цепи собак"... "короткие=быстрые романы, сухощавые, максимально натренированные художественные формы... Путешествие по стране Субстантивированных форм. Он, автор, избивает парочку избитых метафор. Глаголы стоят, выпучив приставки, у пограничной стены. Короткий отдых в борделе, у заласканных прилагательных. И потом дальше — в царство тирана Ритма; где немые общаются друг с другом посредством барабанной дроби[1].

Арно Шмидт был законным наследником — почитателем, пожизненным исследователем — немецкой литературной традиции, начиная со средневековых текстов и кончая экспрессионистами. Порой кажется, что проза его — в каком-то смысле аналог экспрессионистской живописи, о чем говорит и процитированный выше отрывок, и такая, скажем, фраза из "Левиафана": "Я вздрогнул; я проснулся; золото солнца, и вокруг меня, пятнами, — синие тени". Но за этой словесной живописью стоит нечто большее: умение увидеть весь мир как одушевленное целое, с которым отдельный человек может вступить в общение.

Интересно, что еще в раннем, не публиковавшемся при жизни цикле диалогов "Беседы поэтов в Элизиуме"[2] Шмидт сформулировал принципы своего творчества, которых будет придерживаться всю жизнь:

(1) "Каждое поэтическое произведение есть, среди прочего, и добросовестно написанный кусок биографии", — говорит (во втором диалоге) Шекспир.

(2) Далее идет речь об истории, об умении помочь читателю пережить ее "не как прошлое, но как высокое настоящее (третий диалог, реплика Теодора Шторма). Наиболее "сильнодействующие" формы такого прибли-

1. Каменное сердце. Исторический роман, действие которого разворачивается в 1954 году после Рождества Христова / Перевод Т. Баскаковой. — Комментарии, 2002.
2. Arno Schmidt. Juvenilia. — Zürich: Haffmans Verlag, 1988.

жения — "форма переписки, или беседы, или дневника" (там же, реплика Кристофа Мартина Виланда). В восьмом диалоге спор ведется о том, не является ли одной из таких форм и драма. (Позже Арно Шмидт будет заниматься разработкой нового жанра романа-драмы; он опубликует два таких романа и оставит незаконченный третий).

(3) В седьмом диалоге обсуждается проблема соотношения субъективного и реального миров:

ФОСС: Сервантес, раз уж прозвучало имя твоего безумного рыцаря, скажи мне, был ли субъективный мир в нем настолько силен, что действительно мог уравновесить мир реальный?

СЕРВАНТЕС: Смотри-ка! Ты с самого начала выбрал неверную позицию, если пытаешься разделить субъективный и реальный миры. <...> Для любого человека существует лишь один мир: тот, который он видит и который один только и реален для него. Все зависит от того, какими глазами смотреть. <...> И из столкновения, противостояния этих миров неизбежно возникает еще один элемент: юмор! Ибо на том же месте, где один видит обычный трактир, для другого стоит роскошный замок. <...>

ГОФМАН: Я часто делал своими любимыми персонажами детей, потому что на их примере яснее всего видно, как дух заколдовывает мир и преобразует его в прекраснейшую фантастику — но не будем разбалтывать эту тайну —

(4) И, наконец, в одиннадцатом диалоге речь идет о "синтезе поэзии и науки", о создании новой мифологии: "Утопия замкнутого в себе, сокровеннейшего мира. Это и есть высочайшее и последнее, что нужно было создать!"

В небольшом рассказе "Левиафан" все это уже есть: и страшная, нелепая реальность последних месяцев войны (упоминаемая Шмидтом бомбардировка Дрездена происходила 13—15 февраля 1945 года), и попытка осмыслить историю в мифологических категориях (гностический миф о Левиафане, в преломлении Шмидта, — ключевая парадигма мировоззрения этого автора), и великолепные психологические портреты (пастора, например: "Он рыл могилу руками, искоса посматривая на них — кокетливо и благоговейно. Я видел, он откладывает это воспоминание про запас, словно ценный предмет"), и — что меня более всего привлекает в прозе Шмидта — "синтез поэзии и науки", то есть мифологичное описание мира, не разделяющее логику и эмоции. Мало кто из современных писателей умеет так естественно, как Арно Шмидт, передавать это мироощущение:

Мрак-художник, нашептывая себе что-то под нос, нерешительно смешивает ночные краски.

Я глядел на звезды: крохотные пылающие лица, известково-белые и голубые...

Снег в беззвучном падении пролетал мимо; мимо дверной щели; миллиарды кристаллических существ, рожденных в воздухе, в смерти становились водою.

Проявилось в "Левиафане" и свойственное Шмидту утопическое представление о силе и живучести записанного слова — представление, близкое булгаковскому "Рукописи не горят". Текст рассказа ведь и есть тот дневник, который человек, этот дневник написавший, перед смертью швырнул в реку и который неизвестно какими судьбами достался потом американскому офицеру.

Возвращаясь к "Диалогам поэтов в Элизиуме", отмечу еще, что в шмидтовское утопическое царство умерших поэтов, Элизиум, попадают и некоторые читатели, и вот почему:

БУРКХАРДТ: А как же иначе? Ведь чтобы по-настоящему узнать поэта, требуется много всего: много любви, много знаний, много терпеливых поисков. <...> Всегда будет у читателя и желание узнать личность автора; пробиться от книги к самому поэту, чтобы стать еще ближе к нему, добиться большей доверительности. Чтобы могли возникнуть совершенно необыкновенные дружеские отношения, через века: ради этой радости, ради этих друзей ты отдавал себя! <...>

ВИЛАНД: Правильно! Итак, первая необходимая предпосылка, похоже, заключается в том, чтобы найти себе подлинного брата по духу. Все другого рода усилия неизменно обречены на провал.

Шмидт очень рано получил признание как одна из первостепенных фигур немецкой послевоенной литературы, и вместе с тем никогда не был в Германии широко читаемым автором, его популярность далеко уступала популярности Генриха Бёлля или Гюнтера Грасса. Он принадлежал к той линии наследников экспрессионизма, которая после войны отошла на второй план — но неожиданно нашла продолжение уже в наши дни: и в творчестве Эльфриды Елинек, и особенно у бывшего гэдээровского диссидента Райнхарда Йиргля...

Анджей Барт

Фабрика мухоловок

Фрагменты романа

Перевод с польского и вступление К. Старосельской

К писателю Анджею Барту (в романе автор выступает под собственным именем) является странный господин, невольно заставляющий вспомнить Булгакова, с удивительным предложением: написать отчет о судебном процессе над Хаимом Румковским, который во время Второй мировой войны в оккупированной Польше был главой юденрата[1] лодзинского гетто. Румковский — реальное лицо, но его уже больше полувека нет на свете (погиб в Аушвице), как нет на свете и других участников процесса, и присутствующих в зале суда бывших обитателей гетто. Все они на несколько дней призваны в мир живых ради того, чтобы свершилось правосудие и можно было, наконец, сказать, кто же такой Румковский — предатель и негодяй или трагическая фигура, заслуживающая если не прощения, то понимания.

За этим процессом, проходящем в помещении бывшей фабрики в Лодзи, а также за тем, что делается за стенами зала суда, читатель наблюдает то глазами автора, то глазами молодой жены Румковского Регины. Сам же Барт в какой-то момент покидает суд, уводя за собой юную рыжеволосую

© Andrzej Bart, 2008
© by Wydawnictwo W.A.B., 2008
© "Мосты культуры/Гешарим", издание на русском языке
© К. Старосельская. Перевод, 2010
Полностью книга будет опубликована в издательстве "Мосты культуры/Гешарим".

1. Юденрат – административный орган самоуправления в еврейских гетто на оккупированных немцами территориях. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

красавицу Дору, привезенную вместе с другими чешскими евреями в лодзинское гетто из Праги. Он показывает ей свой, сегодняшний, город, а она ему — "свою" Лодзь, ограниченную пределами гетто, где провела последние месяцы жизни. А потом... провожает девушку обратно к дверям фабричного здания, где на короткое время собрались тени тех, кто в 40-е годы прошлого века обратился в пепел в печах крематориев.

Четыре прожитых в гетто года научили Регину ничему не удивляться, однако то, что происходило в зале суда, ее потрясло. Скорее уж можно было ждать побоев, но присутствовать при оскорбительных расспросах человека, за которого рискнула выйти замуж... Она впервые услышала, что у Хаима есть еще второе имя — Мордехай. Раньше она этого не знала: в гетто он сам проводил церемонии бракосочетания, а их обвенчать поручил раввину, который демонстративно именовал жениха господин председатель. За что, кстати, был наказан: его не пригласили на ужин, лишив возможности досыта поесть. Ей долго не хотелось верить, что она присутствует на настоящем суде, пока не появился человек, на которого достаточно было взглянуть, чтобы понять: это очень важная персона. Ни тоги, ни каких-либо еще атрибутов власти — однако разговоры в зале мгновенно смолкли. Человека, державшегося с таким достоинством, ей еще видеть не доводилось, хотя однажды она стояла в двух шагах от самого Гордона Крэга[1], а на вокзале в Варшаве случайно столкнулась с цадиком[2] из Гуры Кальварии. Впечатления ничуть не портил ни перелицованный — как она заметила — пиджак, ни то, что перед тем, как сесть за карточный столик, он подложил деревяшку под ножку стула. Даже сидя он выглядел выше всех присутствующих, а ведь это явно был обман зрения. Грива седых волос красиво переходила в седую же бороду, а глаза под кустистыми бровями глядели то грозно, то добродушно, но чаще всего взгляд был безразличным, будто судья исполнял свои обязанности без особой охоты.

Регина почувствовала, что у нее вспотели ладони, поискала в сумке платок и заодно посмотрела на мальчика, кото-

1. Эдвард Гордон Крэг (1872–1966) — английский актер, театральный и оперный режиссер, художник.
2. Цадик — праведник (*ивр.*); у хасидов — титул духовного вождя общины, наставника.

рый сидел напрягшись, чуть дыша. Захотелось приласкать его, подбодрить, но вниманием ее завладел человек, взявшийся — по долгу службы, а может, по убеждениям — защищать Хаима. Молодой полный блондин с нездоровым румянцем, в тесноватой, явно с чужого плеча тужурке. Он почтительно поздоровался с мужем, пододвинул поближе к нему свой стул. С виду защитник казался недотепой, но Регина слишком хорошо разбиралась в людях, чтобы не понять: виной тому комплекция, по складу характера он вполне может быть голодным хищником. Такой, дай ему шанс, все сделает, чтобы прославиться, подумала она, приметив, как он нервно потирает ладони. Хаим, правда, пожал ему руку подчеркнуто снисходительно, но и без того у защитника были все основания для волнения. Уже первые произнесенные им слова подтвердили ее предположение. Он явно не собирался быть на процессе статистом.

— Я чрезвычайно рад, что мы наконец переходим к конкретике: расспросы о детстве человека, который заслуживает сравнения с Моисеем, смахивали на фарс, а дело требует от нас самого серьезного отношения.

В зале раздались возмущенные возгласы, кто-то даже пронзительно свистнул, однако достаточно было судье нахмурить брови, как все стихло.

— Господин Борнштейн, как раз ваше сравнение попахивает фарсом. Попрошу впредь думать, что́ говорите...

Так она узнала фамилию защитника. А вот безразличие, с которым судья его одернул, — она бы голову дала на отсечение, что седовласый старец мыслями где-то далеко, — ее удивило.

— Больше этого не повторится, ваша честь. — Борнштейн поклонился, успев, однако, перед тем подмигнуть сидящим в зале. — А теперь будет ли мне позволено зачитать документ, который я приготовил?

— У вас широкие полномочия, господин адвокат. — Судья подпер кулаком щеку и закрыл глаза, будто давая понять, что весь обратился в слух.

— Пусть даже это покажется хвалебной речью, но я не могу не вспомнить о довоенных заслугах господина председателя. — Защитник, вероятно, был близорук, поскольку поднес листок бумаги прямо к глазам. — Это письмо от Якуба Шульмана, который познакомился с господином председателем вскоре после Первой мировой войны, когда тот занимался организацией лагерей для молодежи. Его энтузиазм произвел тогда на Шульмана огромное впечатление. В тридцатые годы господин председатель основал и возглавил сиротский

приют. Казалось, его энергия неисчерпаема. По ночам, когда все уже давно спали, он, будто его организм не нуждался в отдыхе, еще работал. Заложил экспериментальную ферму: дети учились работать на земле — это умение потребовалось бы им в Палестине. Откуда мог, добывал деньги для своих подопечных. За что только не брался: становился то издателем — выпускал журнал "Сирота", то сельскохозяйственным работником, но прежде всего был превосходным педагогом. И хотя трудился не покладая рук, его материальное положение было далеко не блестящим. Все средства уходили на приют, который стал лучшим в Лодзи, а вскоре и прославился на всю Польшу.

Только теперь Регина заметила, что Борнштейн в основном обращается к группе людей, сидящих справа, на слегка выдвинутых вперед стульях, — судя по всему, это были присяжные заседатели. Сколь велико значение присяжных, ей было хорошо известно из учебников и фильмов, но, когда в одном из них она узнала Аарона Витвицкого, у нее нервно задергалось веко. В гетто Витвицкий был апелляционным судьей и однажды отказался признать бесспорные аргументы, доказывающие невиновность ее подзащитного, обвиняемого в изнасиловании. Понятно было, что объективности от него не дождешься. Сидящие рядом с ним два раввина и цадик, кажется, терпеть не могли Хаима, хотя, возможно, признавали, как много он сделал добра. Еще двоих-троих Регина довольно хорошо знала и уж никак не думала, что они согласятся выступить в роли присяжных, остальных же не знала даже в лицо, а это означало, что в гетто они особого веса не имели. Но больше всего ее удивило присутствие примостившейся с краю секретарши Хаима, вульгарной девицы из Ганновера, которая своим положением в гетто была обязана блестящему владению немецким языком — слушая ее, простые немцы буквально рты разевали. Коли уж ее включили в число присяжных... либо судья крайне наивен, либо настал конец света.

— Единственной наградой ему служило удовлетворение от честно исполняемого долга, — продолжал Борнштейн. — Господин председатель не получил хорошего образования — за плечами у него был всего-навсего хедер[1], — но постоянно пополнял свои знания. За что только он не брался: пробовал себя в роли и фабриканта, и торговца, и даже страхового агента — к счастью для истории, безуспешно. Когда же убедился, что больше всего хорошего может сделать для сирот, решил

1. Еврейская религиозная начальная школа для мальчиков.

изучить основы педагогики и отправился... как вы думаете, куда? — сделав паузу, защитник оглядел зал. — Совершенно верно, к самому доктору Корчаку[1]...

Регина знала, что подобные имена неизменно вызывают восторженную реакцию. По залу пронесся восхищенный шепоток, кто-то даже робко зааплодировал. Еще несколько таких примеров, подумала она, и Хаима вынесут отсюда на руках. Невольно погладила по голове Марека, который так засмотрелся на защитника, что даже этого не заметил — а должен был бы, она ведь не часто его ласкала.

— В детском доме, которым руководил Януш Корчак, господин председатель провел не одну неделю, овладевая его новаторскими методами. Дамы и господа, с глубоким волнением спешу сообщить, что доктор Корчак согласился встретиться с нами и поделиться своим мнением о Хаиме Румковском.

В зале бурно зааплодировали — на этот раз все, даже судья хлопнул в ладоши. Дверь открылась, и вошел мужчина — с большой лысиной, в поношенном пальто. В мгновенно наступившей тишине он подошел к указанному ему месту за старым нотным пюпитром и поклонился судье. Вид у него был нездоровый; остановившись, он оперся на палку — правда, тут же выпрямился.

— Приветствую вас от имени всех присутствующих, доктор, для меня это большая честь. — Борнштейн, похоже, был искренне взволнован. — Будьте любезны, расскажите о вашем общении с Мордехаем Хаимом Румковским.

— Признаться, я не помню подробностей. Дел у меня было по горло, а тогда приходило много желающих понаблюдать за нашей работой. Из того, что мне удалось запомнить... господин Румковский проявлял большую любознательность и желание помочь. — Только при этих словах он посмотрел на Хаима и легонько ему кивнул. — Я бы назвал его образцовым активистом. Но близко мы с ним не общались — наши отношения не выходили за пределы круга педагогических проблем.

— А что его особенно интересовало?

— Его интересовало все. А особенно — идея детского самоуправления и то, что бóльшую часть работ ребята выполняют сами. У нас, в отличие от других приютов, не было штатного

1. Януш Корчак (наст. имя Генрик Гольдшмит; 1878–1942) — педагог, писатель, врач и общественный деятель; отказавшись покинуть своих воспитанников из "Дома сирот" в варшавском гетто, был вместе с ними отправлен в Треблинку.

персонала, однако чистота поддерживалась образцовая. Любые проступки рассматривал детский суд. Между воспитателями и детьми отношения были самыми наилучшими, а руководство заботилось о своих воспитанниках даже после того, как они покидали "Дом сирот". Господин Румковский записывал, расспрашивал — в основном моих сотрудников. Узнав спустя несколько лет, что он стал крупным чиновником и приезжает в Варшаву советовать Адаму Чернякову[1], как руководить гетто, я понял, что он поднялся выше, чем можно было предположить. Вот, пожалуй, и все, что я могу сказать.

— Может быть, вы подарили господину председателю что-нибудь на память?

Доктор заметно удивился, однако, чуть помолчав, ответил:

— Да, припоминаю. Я дал ему свою книгу.

— А может, вы помните ее название?

— Вероятно, это был "Король Матиуш Первый".

Марек так и подскочил, а затем повернулся к Регине и показал на спрятанную за пазухой книжку. Она еще никогда не видела его таким взволнованным — хорошо, что мальчик хоть чему-то обрадовался.

— И вы были так любезны, что подписали книгу?

— Разумеется.

— Не помните, что именно вы написали?

— Простите, но я столько книг подписывал... — Корчак явно растерялся, и неудивительно: он имел полное право не помнить.

— И все же... надпись могла быть доброжелательной?

— Ну конечно. Иначе зачем было дарить книгу?

— Значит, можно считать, что в ваших обрывочных воспоминаниях Хаим Румковский предстает как фигура положительная?

Прежде чем ответить, Корчак на минуту задумался.

— Можно и так считать.

Борнштейн, как Регина и ждала, торжествующе воздел руки и выкрикнул:

— Благодарю вас, у меня больше нет вопросов.

Ну уж теперь, подумала Регина, им наверняка разрешат вернуться туда, откуда они прибыли. Однако судья кивнул мужчине, которого она раньше не заметила. Тот вскочил, буд-

1. Адам Черняков (1880–1942) — инженер, в 1930-е гг. — сенатор Польши, в 1939–1942 гг. возглавлял юденрат варшавского гетто. Узнав о том, что нацисты планируют массовую депортацию евреев из гетто в лагерь уничтожения Треблинка, покончил жизнь самоубийством.

то его ткнули шилом в зад. Высокий, истощенный, с редкими волосами, он производил впечатление человека, готового мстить за то, что в жизни ему недоставало любви. Регина вздрогнула: страшно было подумать, что́ от него можно услышать. Он же, будто прочитав ее мысли, посмотрел на нее — правда, с симпатией. Так ей, во всяком случае, показалось.

— В гетто часто повторяли вашу шутку, доктор...

Голос у прокурора не был писклявым, как часто бывает у подобных типов, но и не гремел осуждающе. Обыкновенный баритон, похожий на голос Эмиля Яннингса в "Голубом ангеле"[1].

— Говорят, вы называли себя вором, а на вопрос "почему?" отвечали, что с такой репутацией легче будет попасть в правление некоего сиротского приюта. Это правда?

— Да, иногда я позволял себе такие шутки.

— Иными словами, высказывали остроумное предположение, будто кое-кто занимается общественной и политической деятельностью корысти ради?

— Считайте, что остроумное, но не предположение. Просто так оно и есть.

— Не сложилось ли у вас впечатления, что Румковский — именно такой человек? Неудачник, который брал на себя руководство приютами в поисках заработка, а главное — всеобщего уважения?

— Ни в коем случае. Повторяю: я увидел в нем образцового общественного деятеля. Быть может, не слишком широко мыслящего, но искреннего в своих намерениях. — Доктор прижал руку к сердцу, прося у Хаима прощения за свои слова, но Регина заметила: муж с такой силой сжал рукоятку трости, что у него побелели костяшки пальцев.

— Над могилой Адама Чернякова, покончившего с собой в Варшаве, вы сказали: "Господь возложил на тебя защиту достоинства твоего народа, а теперь ты вручаешь Богу душу вместе с даром защищать свой народ". Спустя два месяца вы отказались оставить приютских детей и вместе с ними вошли в вагон, который повез вас на смерть. А как вы думаете, о председателе Румковском в будущем кто-нибудь скажет доброе слово?

— Не мне об этом судить.

Прокурор низко поклонился:

— Благодарю вас. У меня больше нет вопросов.

1. Эмиль Яннингс (1884—1950) — немецкий актер, снялся вместе с Марлен Дитрих в знаменитом фильме Дж. Штернберга "Голубой ангел" (1930).

Судья с трудом встал и вышел из-за своего столика. Обвинитель и защитник кинулись поднимать стул, который он при этом опрокинул. Выиграл первый: оказался проворнее да и стоял ближе. Регина смотрела, как могучий седобородый старец подходит к едва держащемуся на ногах Корчаку и кладет ему руки на плечи, будто желая вдохнуть в него силы, а может быть, выразить свое глубочайшее уважение. Старый доктор тотчас выпрямился — ни дать ни взять офицер (он и был, как Регина слышала, майором) — и энергичным шагом направился к двери. В зале все поднялись; некоторые пытались хотя бы дотронуться до его пальто. Поддавшись всеобщему энтузиазму, Регина попробовала протолкнуться к нему, но тщетно: никто и не подумал посторониться и пропустить женщину. Когда она вернулась на место, соседний стул был пуст: Марек исчез. Регина посмотрела на мужнин затылок. Он был неподвижен и горд, если так можно сказать о затылке.

<...>

Нет, это уже становилось невыносимым. Можно подумать, свидетельство самого Януша Корчака ничего не значило! Регина вынуждена была признать, что высокомерие Хаима оправдано: он не заслужил такого обращения. И судья не вмешивался — когда адвокат передал ему слова своего подзащитного, сказал только:

— Разумеется, господин Румковский вправе отказаться от дачи показаний. Но ему следовало бы понимать, что так будет труднее защищаться.

И вот тут муж совершил ошибку — обозлившись, закричал срывающимся на фальцет голосом, даже не соизволив встать:

— Что значит труднее? Мне незачем защищаться! Я не знаю, кто вы такие и кто вам дал право судить меня или хотя бы перемывать мне косточки. И меня никто не заставит с вами разговаривать!

И, как всегда в приступе гнева, принялся стучать тростью об пол — до того сильно, что Регина почувствовала, как пол содрогается под ногами. Пронзительный голос Хаима обычно пугал людей — при его звуках хотелось провалиться сквозь землю, — но сейчас, к своему изумлению, она услышала в зале смех, нескрываемый смех. Судья тоже обратил на это внимание:

— Насколько мне известно, еще недавно никому не казалось смешным, что председатель от волнения повизгивает. Согласитесь: было бы странно, если б такой красивый мужчина не имел никаких недостатков...

— Лучше бы уж родился горбатым! — крикнули из зала.

— Господин Роте, я знаю, что здесь присутствует кто-то из родственников Зигмунда Фрейда. А также знаю, что в Вене вы часто их навещали.

— Комплексы могут стать причиной многих злодеяний! — воскликнул Роте, чрезвычайно довольный, что судья о нем наслышан. Регина отыскала его глазами и вспомнила, что они дважды встречались в гетто. Он привез с собой необыкновенно красивую трость — Хаим даже с улыбкой предложил ему поменяться. Роте отказался, притом на вечере, устроенном в честь Хаима!

— Ни слова больше, господин Роте, если не хотите, чтобы я вас тоже кое о чем спросил. — Судья усмехнулся и перевел взгляд на Румковского: — А вас попрошу держать нервы в узде. Что же касается права судить вас, оно у меня есть, не сомневайтесь. И, не хвалясь, замечу, что это право весомее любых других. Ну а насчет вашего отказа с нами разговаривать — что ж, заставить мы вас не можем. Хотя... не сочтите за угрозу, но я и без того подумывал, не лишить ли вас слова. На ваше счастье, господин адвокат меня переубедил. Поэтому попрошу только подтвердить, что вы отказываетесь от дачи показаний. Коли уж намерены молчать — молчите, но и раздражение свое столь бурно не выказывайте... — Лицо судьи с каждым словом багровело. — И не повышайте голос: если это еще раз повторится, я вынужден буду принять меры... — Он так сильно ударил ладонью по карточному столику, что вставленные в углубления по краям столешницы маленькие латунные пепельницы высоко подпрыгнули. И, поднявшись, тяжело дыша прошелся взад-вперед по залу, пытаясь сдержать охватившую его ярость.

Воцарилась глубокая тишина — казалось, можно было бы услышать не только пролетающую муху, но и любое другое живое существо, принесенное сюда в складках одежды.

К счастью, прыгающие пепельницы произвели должное впечатление: Хаим сник — Регина это поняла по его низко опущенной голове. Она почувствовала, что кто-то гладит ее по руке. Марек, уже сидевший с ней рядом, вероятно, хотел ее подбодрить, и она не стала его ругать за то, что уходил без спросу.

— Мой клиент подтверждает свой отказ от дачи показаний и просит его извинить за нарушение порядка. Он целиком и полностью полагается на объективность и справедливость суда. — Борнштейн с облегчением вздохнул.

— Пусть не сомневается: так оно и будет. — Судья уже взял себя в руки. — Я лично об этом позабочусь. Справедливость

гарантирована, а вот насчет объективности... тут всяко бывает. А теперь попрошу обвинение напомнить, для чего мы все здесь собрались — сдается, многие уже успели об этом забыть.

В зале его слова были восприняты как сигнал, что можно перевести дух и даже тихонько засмеяться. Прокурор встал и огляделся — Регине показалось, что он опять поискал ее взглядом.

— Благодаря защитнику мы узнали, что старый доктор сделал Румковскому подарок. "Король Матиуш Первый", чудесная книжка. Я сам ее читал...

— Поистине знаменательное событие... — Борнштейн вроде бы пробурчал это себе под нос, но кое-кто в зале расслышал, а одна из женщин даже хихикнула.

— Еврейский народ никогда не теряет чувства юмора. — Прокурор, казалось, сам удивился, что не ответил наглецу похлеще. — Но... к делу. Человека, ради которого мы здесь собрались, называли король Хаим Первый. Вот этот убеленный сединами старик мог стать героем, прославляемым грядущими поколениями, а стал самой противоречивой личностью во всемирной истории, перед которым меркнет другой небезызвестный правитель, царь Ирод. — Он сделал долгую паузу, устремив взгляд на скамью присяжных. — Мордехай Хаим Румковский создал в лодзинском гетто невольничье государство, поставлявшее немцам множество разных изделий, в том числе использовавшихся в военных целях. Он был абсолютным монархом и действовал только так, как сам считал справедливым. Он возвышал одних за счет других. Лично подписывал приговоры тем, кто отказывался подчиняться немцам и нарушал установленные им правила. Мало того! Когда фашисты приступили к окончательному решению еврейского вопроса, то есть к уничтожению всех евреев в захваченных ими странах, он позволил отправить на смерть своих подданных. И не только позволил, но еще своим авторитетом и патетическими речами усыплял их бдительность. Пора уже королю Матиушу... прошу прощения, королю Хаиму... а правильнее Хаиму Грозному, поскольку чаще его именно так называли, отчитаться перед нами.

Вильский был так уверен в себе, что, сев, достал из кармана пилочку для ногтей и принялся ее крутить. Регину такое поведение возмутило; интересно, видит ли это судья? Но тот, даже если и видел, не сделал прокурору замечания. Борнштейн схватился за голову и, прежде чем что-либо сказать, прошелся между рядами, стараясь заглянуть в глаза сидящим поблизости.

— Невероятно, — сказал он наконец. — Не хочется верить, что в этом зале, где всем отлично известна суть дела, прозвучали слова не просто лживые, но и позорящие доброе имя человека, перед которым мы, евреи, навсегда останемся в неоплатном долгу. Позвольте, — он отвесил легкий поклон в сторону Румковского, — я буду называть подсудимого господин председатель. Могу безо всякого преувеличения сказать, что этот титул в гетто произносился с доверием и надеждой — так христиане в декабре говорят о святом Николае. Злые языки утверждают, что немцы назначили господина Румковского на самый высокий в гетто пост только из-за красивой и благородной внешности. Его в этом упрекают — как будто красота и благородство исключают гениальность...

Регина заметила, что конец трости Хаима все реже постукивает по полу.

— Да, только гений способен понять, что выжить в неволе может лишь тот, кто приносит пользу. Что делает господин председатель? В тщательно продуманной докладной записке немецким властям он предлагает организовать в гетто мастерские, благодаря чему оно станет самоокупаемым. И, получив согласие, создает безупречно функционирующую общественную структуру. Кто-то может сказать: несправедливо управляемую. Да во всей истории не найдется более справедливой! Это — государственный капитализм: прибыль идет на содержание всего общества. Богач и бедняк работают на равных. Где, как не в лодзинском гетто, были больницы и сиротские приюты, царил порядок и была еда, тогда как в Варшаве от голода люди умирали на улицах? У нас имеется достаточно тому доказательств. А также не составит труда доказать, что именно благодаря гениальным идеям господина председателя наше гетто продолжало существовать, когда от всех прочих уже ничего не осталось. Если всякая война — смертоносная трясина, то я осмелюсь еще раз сравнить господина председателя с Моисеем, ведущим евреев через Красное море...

По рядам зрителей пролетел шумок, а судья погрозил защитнику пальцем.

— Знаю, он в этом не преуспел, — поспешил добавить Борнштейн. — Однако не будем забывать, что, если бы не стечение неблагоприятных обстоятельств — взять хотя бы остановку русских на Висле или неудачное покушение на Гитлера, — война закончилась бы раньше, и тогда уцелели бы еще по крайней мере семьдесят тысяч человек. Эти семьдесят тысяч теперь были бы должниками господина председателя. Судьба правда распорядилась иначе, и тем не менее мы у него в долгу...

— Из ваших слов я понял только, что, если бы Гитлер не пришел к власти, ваш председатель спас бы всех европейских евреев. Я не ошибся — такова главная линия защиты?

Обвинитель своим замечанием все испортил: по залу прокатилось веселое оживление. Если Регина кого-то и ненавидела, так это были Гитлер и прокурор Вильский.

<...>

В зале стало душно. Регина вынула из сумки театральную программку, еще довоенную, и принялась ею обмахиваться. Время от времени, чтобы не смотреть на очередного свидетеля, она заглядывала в программку, пытаясь воскресить в памяти приятные воспоминания.

— Не стану скрывать, мы очень на вас рассчитываем, господин Кронштад. Вы налаживали производство повидла, затем руководили угольным отделом, а в конце были простым рабочим, то есть, вероятно, неплохо осведомлены обо всем, что происходило в гетто. — Регине показалось, что судья говорит чересчур доброжелательно.

— Ну, не обо всем... Но хочу сразу сказать: я страдал, глядя, как нами управляет этот тиран.

Лысоватый коротышка потолстел с тех пор, как она его видела в первый и последний раз. О том, что́, слыша такое, чувствует Хаим, ей даже думать не хотелось.

— Пожалуйста, поподробнее.

— Про мои страдания? — Кронштад состроил скорбную мину и пригладил волосы. Свои последние сто двадцать три волоса, — она чуть не рассмеялась, когда ей это пришло в голову.

— Об этом позже. Начнем с негодных методов управления.

— Взять хотя бы распределение продовольствия... предпочтение отдавалось узкой группе людей. Начальники отделов, фармацевты, врачи, инструкторы, референты, офицеры полиции и вообще все, кто удостаивался милости председателя, получали дополнительные пайки не только для себя, но и для членов семей. Чем они это заслужили? Некоторые, признаюсь, делали кое-что полезное для общества, но большинство — просто карьеристы. Вопиющая несправедливость! Почему их родственники должны были лучше питаться? Почему им давали больше шансов пережить войну? За что, за какие заслуги? Я вас спрашиваю, господин председатель...

Последний вопрос Кронштад демонстративно адресовал Хаиму, а ведь Регина помнила, как еще не очень давно он на коленях о чем-то молил мужа. О чем именно, она не знала, по-

скольку поспешила выйти из комнаты, чтобы не быть свидетелем унижения этого жалкого человечка.

— Попрошу обращаться только ко мне, — одернул его судья. — Весьма похвально, что вы, хотя сами принадлежали к числу избранных, столь объективны в своих суждениях.

— Клянусь, это было нелегко — питаться не так, как другие. Но стыд заглушала гордость за тот огромный труд, что я вкладывал на каждой из занимаемых должностей. Часто мне приходилось ночевать в конторе, особенно когда мы выдавали уголь...

— Довольно об этом — вы вне всяких подозрений. Вернемся к председателю.

— Меня раздражали все эти торжественные собрания, юбилеи, выставки производимой продукции. Последнее еще понятно — нужно было постоянно рекламировать успехи Еврейского промышленного округа, как мы шутливо называли гетто. Но все остальное... это делалось только для того, чтобы воздавать почести председателю. Он приходил, кого-то хвалил, кого-то ругал, получал памятный подарок и расплачивался талонами для избранных. Омерзительно... — Дабы продемонстрировать, сколь велико его омерзение, Кронштад даже пошатнулся, будто под грузом тягостных воспоминаний. Регина подумала, что на провинциальной сцене он мог бы с успехом выступить в амплуа подлеца.

— Расскажите о концерте, который вас вынудили организовать.

Кронштад аж за голову схватился.

— Месяц подготовки, репетиции до поздней ночи. Я даже распорядился тайно закупить вино — чтобы после концерта можно было поднять бокал. И что получил в награду? Устную похвалу...

— Господа, теперь ваш черед задавать свидетелю вопросы. Получите и вы удовольствие от общения с таким замечательным человеком... — сказал судья, а Кронштад скромно улыбнулся.

Борнштейн встал. По его лицу нельзя было сказать, что он предвкушает удовольствие от общения с Кронштадом.

— Это, конечно, председатель настаивал, чтобы его чествовали так пышно?

Кронштад смутился, но совсем чуть-чуть.

— Не сказал бы. Все отделы сами устраивали подобное, не могли же мы ударить в грязь лицом. Ну и, что уж скрывать, хотелось ему понравиться.

— С какой целью?

— Он ведь был хозяином, от него все зависело.

Неожиданно со своего места подал голос прокурор:

— Вам не нравились методы правления Румковского, то есть, если я правильно понимаю, подхалимство было, так сказать, вынужденным.

Регина больше не могла сдерживаться. Она встала, подошла к Борнштейну и уже открыла рот, но тот, повернувшись к ней, шепнул:

— Я знаю, вы превосходный юрист, и счел бы вашу помощь для себя большой честью, но, увы, должен справляться сам. Так мы договорились с судьей. Для меня это важный шанс...

Возвращаясь на место, она успела коснуться плеча Хаима. Не отрывая взгляда от Кронштада, он потрепал ее по руке.

— Вынужденное — вот подходящее слово. Не он, а сама ситуация заставляла нас подхалимничать! — Кронштад явно обрадовался подсказке. — Кроме того, я его боялся...

— Старого человека? — спросил защитник.

— Он не обычный человек. Если впадал в ярость, под руку ему лучше было не попадаться. Те, кто знали его раньше, говорили, что власть подействовала на него, как шпанская мушка. Он помолодел, стал намного бодрее. Взять хотя бы это бракосочетание в гетто. Я на двадцать лет его моложе, но никогда б не рискнул жениться на такой молодой и красивой женщине...

Регине было наплевать, что все на нее смотрят, и только для блага дела она удержалась, чтобы во всеуслышание не сказать что-нибудь оскорбительное.

— Вероятно, вам бы не поздоровилось, осмельтесь вы оспорить какое-нибудь решение председателя. Расскажите нам об этом. — Прокурор явно рассчитывал услышать что-то ошеломительное.

— Я бы наверняка лишился своей должности.

— Только и всего? — воскликнул судья. — Господин Кронштад, вы уж, пожалуйста, не разочаровывайте прокурора и всех присутствующих. Нам бы хотелось услышать что-нибудь про пытки. У защиты есть еще вопросы?

— Ваша честь, я понимаю, вы должны быть над схваткой, но не настолько же... Да, у меня есть один вопрос, последний. Господин Кронштад, вас ведь в конце концов убрали из угольного отдела и в наказание сослали на фабрику мухоловок...

— Чему я очень обрадовался. Хотя ответственность стала больше — немцы были чрезвычайно придирчивы к качеству продукции. Доктор Шнитке, который поставлял мухоловки на Восточный фронт, считал, что ни одна муха не должна мучиться дольше сорока трех минут. Иначе это будет негуманно...

— Вы не дослушали мой вопрос.

— Простите, но вы сказали, что меня сослали. А это вовсе не являлось понижением в должности — меня откомандировали на очень важный участок. У нас не было казеина, и химики делали клей из отходов каучука, который использовался в резиновом производстве. Чтобы мухи подыхали за указанный срок, в клей следовало добавлять яд. Немцы назначили специального чиновника, который ежедневно этот яд выдавал. Нужно было следить, чтобы он не доставался никому, кроме мух. Но больше всего хлопот доставляло соблюдение нужных пропорций клея и яда, поскольку крупные мухи...

— Господин Кронштад...

— А когда у меня на фабрике случился пожар — клеевая масса при нагревании на газовой горелке пролилась и загорелась, — председатель обвинил нас в головотяпстве.

— Господин Кронштад! — Защитник повысил голос. — Из вашего личного дела следует, что вас обвинили в махинациях с выдачей продовольственных пайков. Ваша жена — не знаю, была ли она молода и красива, но жена есть жена, — получала больше талонов, чем десять ваших рабочих. А вопрос мой прост: это правда?

— Признаюсь, виноват... — Кронштад не очень смутился. — Она постоянно была голодна и твердила: принеси что-нибудь поесть, ты должен принести... Понимаю, это не оправдание, особенно после того, что я говорил раньше. Да, я проявил слабость, но в своих показаниях я клеймил систему, которая заставила меня воровать. Хочу только уточнить: злоупотребление выявил не председатель, а Новчик из отдела Якубовича.

— Вы меня вынуждаете задать дополнительный вопрос. Кто назначил Якубовича?

— Председатель, разумеется.

— Идите уже, господин Кронштад, — сказал судья, а защитник развел руками, будто давая понять: вот какие люди обвиняют моего клиента.

Регина с удовлетворением проследила, как молодой портной, который однажды ушивал ей платье, кидает в идущего к двери Кронштада бумажный комок.

— Простите, ваша честь, но не пора ли заняться взаимоотношениями господина председателя с достойными людьми? — Прокурор явно пытался стереть произведенное Кронштадом впечатление.

— Протестую! Достойные, недостойные... что за формулировка? Это какой-то расизм, — крикнул со своего места Борнштейн.

— Ваша честь, защита отрицает, что люди отличаются друг от друга не только внешне. Вы с этим согласны?

— Кончайте перебранки, господа, — сказал судья. — Мне как раз сообщили из кухни, что обед готов. Встретимся через час...

Он не успел договорить, как половина публики была уже у дверей. Присяжные не пожелали отставать от других.

<...>

Регина с интересом слушала читающего по бумажке Борнштейна. Этой речи Хаима она не знала, а ведь в ней было все, что нужно, дабы убедить любого сомневающегося.

— "Перед тем как шестого апреля тысяча девятьсот сорокового года перебраться в гетто, я доложил президенту города, что отправляюсь на золотой прииск. В ответ на недоуменный вопрос я сказал коротко: 'В гетто сорок тысяч рабочих рук — это и есть золотой прииск'. По мере того как я налаживал тут работу, немецкие власти стали прислушиваться к моим словам и постепенно начали со мной считаться. За недолгий срок, ценой величайших усилий, были созданы фабрики; за кредиты я добросовестно расплатился и теперь в случае необходимости легко получу новые. Сегодня наше гетто — город, где, во-первых, у людей есть работа, а во-вторых, производится продукция. Я горд, что добился от работодателей полной, стопроцентной зарплаты для всех работников. В других гетто евреи получают только пятьдесят процентов причитающегося за их труд вознаграждения. До сих пор мой трехмиллионный месячный бюджет удовлетворял потребности населения гетто; для его обеспечения есть два источника: работа и... реквизиции. Скажу честно: меня не заботит судьба паразитов, которые попрятали свои сбережения, в то время как массы оказались перед лицом голодной смерти. На личное достояние внутри гетто право собственности не распространяется; кроме того, дозволено изымать и передавать мне имущество, укрытое за его пределами. Созданная мною специальная команда превосходно справляется с поиском этих сокровищ, не щадя ни стен, ни полов, ни потолков для обнаружения эгоистически спрятанного имущества, из которого по кирпичикам складывается мой бюджет. — Борнштейн прервал чтение и передал какие-то фотографии возившемуся с эпидиаскопом старичку, который только того и ждал. — Мы можем похвастаться немалыми достижениями. Если вначале у нас было всего двести двадцать больничных коек, то сейчас их уже тысяча шестьсот и в ближайшее время прибавится еще двести. А семь больниц, семь аптек, четыре амбулатории, несколько профилакториев? — полагаю, это достаточно внуши-

тельные цифры для бедного гетто... А образцовые дома престарелых, детские дома, сиротские приюты? Следует также подчеркнуть, что четырнадцать тысяч детей посещали школы разного рода. В этих школах их не только обучали по стандартным программам, но и подкармливали. А дети в возрасте от двух до семи лет получают дополнительное питание. Забота о судьбе ребенка наиболее близка моему сердцу..."

Старичок наконец запустил свой аппарат, и на простыне, накинутой поверх доски, появились врачи в белых халатах, чистые больничные палаты и дети, играющие в какие-то игры. К Регининому удивлению Хаим внезапно встал, повернулся лицом к залу и поклонился. Несколько человек зааплодировали.

— Кто дал обвиняемому право устраивать тут демонстрацию?! — с раздражением выкрикнул Вильский.

— Какая же это демонстрация? Всего лишь подтверждение фактов. — Борнштейну произведенный эффект явно пришелся по душе. — А теперь попрошу особого внимания. Вот слова, с которыми господин председатель обратился к навязанным ему гостям из других стран, предварительно объяснив им, какова его роль в гетто: "Братья и сестры, а теперь выслушайте горькую правду. Признаюсь: когда мне сообщили, что вас сюда переводят, я противился, как только мог. Нас с вами всегда многое разделяло. Сейчас для меня это не имеет значения. Все мы — братья, объединенные общей бедой. Несмотря на то что для меня нет ничего выше блага детей и молодежи, я без колебаний, хотя с тяжелым сердцем, решил закрыть школы, отняв у детей возможность учиться, чтобы выделить вам подходящие помещения. Мы приняли вас со всей душой, уступили собственные убежища. Вы получаете столько же хлеба, сколько все остальные, лишь благодаря тому, что каждый отдает ежедневно по пятьдесят граммов из своего скудного рациона. О том, как я к вам отношусь, наилучшим образом свидетельствует лозунг: что нам, то и вам. Мне не было бы прощения, если бы я не следовал этому принципу. Разумеется, не надо обольщаться: должности, соответствующие вашему опыту, вас тут не ждут. Тем, кто будет регулярно получать денежные переводы — пенсии или пособия, — пока придется отказаться от права на работу, чтобы не ущемлять тех, кто больше нуждается. Я убежден, что вы сумеете приспособиться к здешним тяжелым условиям. Обещаю: я дам вам все, что только смогу. Однако не требуйте того, чего у меня нет. По сути, я — не ваш начальник, а добросовестный страж, который глаз не смыкает, чтобы все могли спать спокойно..." — Защитник закончил и огляделся в ожидании одобрения. Но в зале было тихо, и он еще добавил,

глядя в листок: — Речь господина председателя несколько раз прерывалась бурными аплодисментами...

Кто-то робко захлопал.

Вильский встал и взмахнул белым носовым платком, который тут же спрятал в карман.

— Слушая речь председателя, я готов был расчувствоваться и утереть слезу, но слишком уж фальшиво эти слова звучат. Вновь прибывшие наверняка сразу поняли, что их ждет. Ладно, назовем это приязненным жестом. Однако не проходит и двух недель, как господин председатель открывает свое истинное лицо. — Вильский вручил старичку, обслуживающему эпидиаскоп, фотографии, а потом, достав листок, начал читать: " — Братья и сестры... — прошу обратить внимание, как охотно глава гетто употребляет это выражение, — ...сегодня речь пойдет о грустном. Прошу новых обитателей гетто правильно меня понять. Если они не сумеют или не захотят приспособиться к здешним условиям жизни, я буду вынужден заставить их это сделать. Я не допущу, чтобы пошли насмарку плоды тяжкого труда на протяжении полутора лет автономного существования гетто. Я хочу, чтобы вы хорошо запомнили: я сделал все, чтобы избежать кровопролития. Тем не менее многие из вас ведут со мной бессмысленную борьбу, не упускают случая меня оскорбить — хотя бы намеком, хотя бы шепотом. Никогда б не подумал, что прибывшие к нам изгнанники, заставшие нас в тяжелейшем положении, проявят такое чудовищное высокомерие и наглость..."

Регина увидела на экране Хаима, произносящего речь. Она тогда была рядом и помнила, что он не выглядел так ужасно, как на этих фотографиях.

"— Возможно, им хотелось превратить нас в своих невольников, но нам хватает собственных довоенных интеллигентов. — Вильский почти кричал. — Эта 'категория' в гетто не пользуется никакими привилегиями. Тут надо делать то, что необходимо всему сообществу, не чураться занятий ремеслом и простого физического труда. Я прекрасно понимаю, что вы бы предпочли безмятежные послеобеденные прогулки в коляске. Запомните: ничего подобного я не допущу!"

Регина нехотя вынуждена была признать, что Вильский неплохой актер: он говорил так убедительно, что несколько человек спрятались за спины соседей.

Борнштейн приподнялся на стуле:

— Ваша честь, защитите публику. Обвинитель пугает людей, которые уже вдоволь натерпелись страха.

— Обвинитель только цитирует вашего клиента. Продолжайте...

— Спасибо, ваша честь. — Вильский продолжил еще более грозным тоном: "— Здесь, в гетто, надо раз и навсегда расстаться с барскими фанабериями... Выбейте это у себя из головы! Сестры и братья, я виноват перед вами, признаюсь. Как оказалось, я был неисправимым мечтателем. Не от цыган мне следовало отбиваться, уж лучше было бы принять в гетто хоть двадцать тысяч цыган вместо евреев из других стран Европы. Опомнитесь! От беды не спасет даже чин тайного советника. Времена такие, что чины и звания не играют никакой роли. Многие из вас категорически отказываются работать. Вы говорите себе: зачем трудиться, когда можно жить за счет продажи вещей или на привезенные с собой деньги. Но я научу вас работать и пристойно себя вести, а прежде всего искореню вашу наглость!"

В зале стало тихо, но ненадолго, потому что защитник, вскочив, крикнул:

— Господин обвинитель — превосходный актер, но чего он добился? Не думаю, что присяжные, выслушав отеческие предостережения председателя, поверят в его дурные намерения. Да, тут видны некие комплексы и даже ощутимо желание отыграться на этих людях. Но разве не прав был господин председатель, опасаясь, что вселение евреев из Европы помешает его планам, дающим надежду на выживание?

— Когда спустя несколько месяцев, в начале сорок второго года, — не замедлил ответить обвинитель, — немцы начали отправлять евреев в газовые камеры, Румковский первым делом послал на смерть преступные элементы и тех, кто жил на пособие, а затем около десяти тысяч вновь прибывших, среди которых были профессора, светила мировой науки, их жены и дети, то есть люди, которые не умели тачать сапоги или шить шапки, но могли бы стать образцом для своих лодзинских собратьев.

— До этого мы еще дойдем, — перебил его судья.

— Простите, ваша честь, но я отвечу не откладывая, — вмешался защитник. — Господин прокурор позволил себе пошутить. Он бы предпочел, чтобы первым делом из Лодзи были высланы те, кто занимался тяжелым физическим трудом, люди, благодаря которым только и существовало гетто, а высокообразованные пришельцы этой участи избежали. А сейчас я спрошу тех из вас, кому судьба не дала возможности получить образование: кого, по-вашему, следовало отправить в газовые камеры в первую очередь?

— Хватит. Не устраивайте мне тут голосование, — решительно остановил его судья. — Попрошу сюда свидетеля доктора Ульриха Шульца из Праги.

К пюпитру протиснулся элегантный пожилой мужчина в пенсне, сидевший тремя рядами дальше Регины. Она никогда о нем не слышала; судья, очевидно, тоже, потому что, прежде чем задать вопрос, изучил появившийся на экране плакат, где по-немецки и на иврите сообщалось, что доктор Ульрих Шульц из Праги был застрелен за сопротивление полиции.

— Это о вас идет речь?

— Сомневаюсь, чтобы в гетто был еще один Ульрих Шульц из Праги.

— Расскажите, как это случилось.

— Все очень просто: я не хотел, чтобы меня увезли из гетто.

— Почему? Ведь людям не говорили, что их отправляют на смерть.

— Я рассуждал логично. Если нас, то есть тех, кто считается непродуктивным, депортируют вместе с преступниками, значит, наше положение ухудшится. А хуже, по-моему, могла быть только смерть. Поэтому я не явился на сборный пункт. Немецкие полицейские меня нашли и куда-то потащили. Чтобы это поскорее закончилось, я дал пощечину старшему из них. Тогда он выстрелил...

— Если не ошибаюсь, тут стоит подпись председателя Румковского. — Защитник встал и сделал вид, что разглядывает подпись на плакате. — Означает ли это, что он лично присутствовал при случившемся?

— Ну что вы, просто он подписывал любые немецкие коммюнике — это входило в его обязанности.

— Стало быть, вы не вините его в своей смерти?

— Ни в малейшей степени.

— У меня больше нет вопросов.

— Благодарю вас и прошу простить, что побеспокоили, — извинился защитник неизвестно от чьего имени.

— Я охотно явлюсь по первому требованию. — Шульц поклонился и направился к выходу.

Вильский, будто внезапно что-то припомнив, ударил себя по лбу и крикнул ему вдогонку:

— Еще только один вопрос! Вы пробыли в гетто неполных три месяца. Я понимаю, этого мало, чтобы составить о господине председателе исчерпывающее мнение, но и ситуация была особая. Как бы вы тем не менее его охарактеризовали?

Шульц довольно долго раздумывал над ответом, но в конце концов ограничился одним только словом, после чего, еще раз поклонившись, вышел из зала.

Я почувствовал, как все вздрогнули — я и сам вздрогнул, хотя прозвучавший из уст Шульца эпитет не принадлежал к разря-

ду очень уж страшных. Прокурор послал защитнику лучезарную улыбку, а я сосредоточил внимание на краснеющем ухе Регины Вайнбергер и ее руке, обнявшей сидящего рядом мальчика. Заодно я отметил, что держится она по-королевски гордо: можно было предположить, что эта женщина — если позволительно так сказать — и на эшафоте не потеряла бы головы.

Когда я оторвал от нее взгляд, на свидетельском месте уже стоял красивый мужчина в латаном-перелатаном, но чистом пиджаке. Фамилия его была Краузе, до войны он был советником в Берлине. Ему, видимо, частенько приходилось выступать — говорил он гладко и явно рисуясь.

— Мне больно в этом признаваться, но нам, немецким евреям, стыдно было за своих восточных братьев, а их хасидский мистицизм мы считали признаком отсталости и невежества. Пожалуй, даже считали, что отчасти они сами виноваты в том, что прозябают в грязных местечках, что становятся жертвами погромов и мирятся с существованием "скамеечного гетто"[1]. И кололи им глаза нашими эйнштейнами, нашей культурой и веротерпимостью. Так за что, скажите, им было нас любить? Неудивительно, что, когда подвернулась возможность выставить нас из гетто, они без колебаний это сделали.

Защитник потер руки и любезно попросил Краузе чисто гипотетически предположить, как бы он себя повел, если б гетто находилось в Берлине, а единственным шансом выжить стала высылка пришельцев с Востока.

— Отвечу без обиняков. Я поступил бы точно так же. Разве что предпочел бы выслать своего неотесанного соплеменника, не знающего ни языков, ни литературы, — к примеру, такого, как Румковский, — нежели более близкого мне по духу мыслящего собрата. К счастью, Господь уберег меня от подобного испытания.

Защитник нервно потер руки.

— Господин председатель, я понимаю, какие чувства вы сейчас испытываете. Вас посмели назвать — не побоимся этого слова — неучем, но, поверьте, господин Краузе оказал вам большую услугу. Не сомневаюсь, что присяжные правильно оценят всю сложность ситуации, когда вам пришлось выбирать между своими и, в некотором смысле, чужими.

— Это мы еще посмотрим, — сказал обвинитель. — Депортация и отправка на верную смерть — не одно и то же. Госпо-

1. В середине 1930-х гг. в польских высших учебных заведениях были выделены специальные места для представителей национальных меньшинств.

дин Краузе, вы уверены, что в гетто никто не знал, куда на самом деле вас отправляют?

— Про всех не скажу, но от евреев, знаю, это держалось в строгом секрете. В Хелмно[1] — я только сегодня услышал это название — нас высадили из поезда и куда-то повели. Ровные дорожки, много зелени, очень чисто... На одном из бараков развевался флаг Красного Креста. Нас встретил немецкий офицер, извинился за неудобства в пути, был вежлив, даже шутил. Когда, еще в Берлине, я предъявил свои документы и Железный крест, меня больно ударили, этот же офицер заверил, что ознакомится с документами позже. Не стану скрывать — я вздохнул с облегчением. Потом офицер сказал, что, вероятно, в Лодзи гигиенические условия были не на высоте, и мы могли привезти на себе микробы. Поэтому он просит начать свое пребывание здесь с мытья; нас на машинах отвезут в баню. Мы ужасно устали, всем хотелось как можно быстрее лечь. Я отнюдь не считаю себя глупцом, однако первым залез в закрытый грузовик. Мотор заработал, но машина не сдвинулась с места, а мы почувствовали запах выхлопных газов...

— Именно так и было! — воскликнул защитник. — А в доказательство того, что в гетто никто не знал, какая участь ждет увозимых людей, я с разрешения вашей чести зачитаю отрывки из дневника присутствующего в зале Якуба Познанского. Его слова подтвердят, что и председатель Румковский вполне мог ничего не знать.

Судья кивнул и поблагодарил Краузе за чистосердечие и четкость изложения. Тот, похоже, был разочарован, что нужда в нем так быстро отпала, но вежливо поклонился. Из зала, впрочем, не ушел и сел невдалеке от меня. Румковский проводил его взглядом. Только сейчас я смог как следует рассмотреть председателя. Он выглядел старше, чем на известных мне снимках, но ничуть не менее уверенным в себе.

— Запись от четвертого апреля тысяча девятьсот сорок третьего года. Напоминаю, что варшавское гетто вот-вот перестанет существовать, а из лодзинского отправлены на смерть около ста тысяч человек, — добавил от себя защитник и начал читать: "— В понедельник из гетто вышла партия в тысячу человек — частично на работы, частично на депортацию. Неужели правда, что те, кого увозят, будут уничтожены, что их отравят газом? Не хочу верить и не верю в зверское массовое убийство невинных людей, пусть и евреев, которых на-

1. В Хелмно (город в 70 км к западу от Лодзи) в 1941 г. был создан первый в оккупированной Польше нацистский лагерь уничтожения евреев и цыган.

ционал-социалистическая партия считает своими злейшими врагами. Выходя из гетто, они пели еврейскую молитву (доказательство их настроения). Говорят, окружающие плакали, а полицейские спасли двоих или троих из тех, кого уводили, оттащив их от ворот". — Защитник оторвал взгляд от листочка. — Такова правда о полиции господина председателя. Но давайте сосредоточимся на словах, которые мы услышали. Они принадлежат образованному человеку, понимающему, что́ происходит на свете, чему есть немало доказательств в его дневнике. Как по-вашему, пан Якуб, другие тоже в это не верили?

Пожилой человек с маленькими усиками встал, но ответил, не покидая своего места:

— Нежелание верить в то, что за стенами гетто совершается такое страшное преступление, давало нам силы жить.

— Тот факт, что остающиеся в гетто плакали, я интерпретирую — прошу присяжных обратить на это внимание — следующим образом: они догадывались, куда увозят людей, а раз догадывался народ, не могли не знать местные власти, — сказал прокурор. — А теперь, воспользовавшись случаем, позволю себе задать личный вопрос автору дневника...

— Попрошу набраться терпения, — перебил его судья, — к нам прибыл свидетель из Америки, а там они знаете какие — у них нет времени ждать. Нам же важно узнать, как оценивают деятельность юденратов, исполнявших приказания немцев, те, кто смотрит издалека и свысока. Итак, послушаем, что нам скажет госпожа Ханна Арендт[1].

Регина недоумевала, зачем в суд вызвали женщину, не имеющую отношения к лодзинскому гетто. Подобные сомнения высказал и защитник:

— Прошу прощения, но я не совсем понимаю, как суждения человека со стороны могут повлиять на судьбу моего клиента.

— Это нам и интересно узнать, — ответил ему судья. — Введите свидетеля.

В зал вошла женщина — немолодая, скромно одетая, но (Регина сразу это отметила) с прямым и на редкость смелым взглядом. Запах ее духов не вызвал у Регины никаких ассоциаций.

— Рады вас приветствовать, — на удивление громко и отчетливо произнес судья. — Вы приоткрываете дверь в боль

1. Ханна Арендт (1906–1975) — немецко-американский философ, политолог и историк. В своей книге "Банальность зла. Эйхман в Иерусалиме" Арендт обвиняет евреев в сотрудничестве с нацистами.

шой мир, и оттуда в нашу затхловатую атмосферу просачивается свежий воздух. Не скрою, мне давно хотелось с вами познакомиться. Вам ведь близок Иммануил Кант?

— Хайдеггер. А кстати, что вы понимаете под словом "близок"?

— Только духовную близость. Хайдеггер, говорите... Что ж, приступим к вопросам. Не сомневаюсь, что мы услышим от свидетеля его правду и только правду. За дело, господа.

— Вы не раз отрицательно отзывались о деятельности юденратов. Ваше мнение не изменилось? — У Вильского было такое выражение лица, будто он немало знает об этой женщине. "Интересно, откуда?" — подумала Регина.

— Я считала, что юденраты сослужили плохую службу. Без них и, в особенности, без их руководителей, жертв, вероятно, было бы меньше. Немцам труднее стало бы отыскивать евреев. Так, во всяком случае, мне представлялось, и в таком духе я об этом писала.

Хаим нервно почесал в затылке, и Регина поняла, что его изумило не столько это суждение, сколько то, что его высказала женщина, притом очень смело.

— Вам что-нибудь говорит фамилия Румковский?

— Разумеется.

— Что вы о нем думаете?

— На редкость малоинтересная личность. Эта карета, эти банкноты с его подписью, марки с его изображением... Или альбомы, изготовленные в честь его персоны... он их собирал. Вести себя подобным образом в тех условиях — это больше, чем ошибка, это преступление.

— Признаться, я как обвинитель с глубочайшим удовлетворением услышал, что ученый такого масштаба подтверждает мнение о преступной деятельности обвиняемого. Благодарю вас — только это я и могу сказать. У меня больше нет вопросов.

Защитник все время что-то шептал Хаиму на ухо. Наконец он выпрямился и сказал:

— И я от всей души приветствую знаменитого ученого. Насколько мне известно, вы ведь открыли радий?

— Не знаю, откуда вам это известно, но, полагаю, следует признать вашу правоту. — Женщина с непроницаемым выражением лица смотрела в какую-то точку над головой Борнштейна. — Добавлю еще, что я также внесла свой вклад в теорию относительности.

— Браво! Гораздо легче верить человеку, которым восхищаешься. Вы сказали, что, если б не юденраты, немцам было бы труднее отыскивать евреев. Будьте любезны, подскажите,

где евреи могли спрятаться, когда немцы приказали им выметаться из своих квартир, а жилье отдавали местным жителям?

— Кто-нибудь их бы спрятал.

Регина присмотрелась внимательнее, не шутит ли она — но нет, ее лицо оставалось серьезным.

— Как вы, безусловно, знаете, — Борнштейн говорил все почтительнее, — во всех захваченных странах немцы создавали органы управления, опираясь на местное население. Президентом Варшавы был поляк, Юлиан Кульский, человек в высшей степени порядочный, хорошо относившийся к Адаму Чернякову и с ним сотрудничавший. Во Франции мэрами оставались французы. Вся промышленность оккупированных стран работала на немецкую военную промышленность. Взять хотя бы польский тракторный завод "Урсус". И как же в сложившейся ситуации должны были себя вести евреи? Прятаться в лесах, да? Вы бывали зимой в лесу? — Он не стал дожидаться ответа. — Так, может быть, все же стоило пытаться сохранить школы, сиротские приюты, общественные кухни? Никто ведь не предвидел, что евреев все равно ничто не спасет. Что бы вы посоветовали еврейским старейшинам, если бы у вас тогда спросили совета?

— Я не была среди них и не переживала того, что переживали они, поэтому и посоветовать бы ничего не смогла.

— Понятное дело, лауреат Нобелевской премии. — Защитник благоговейно возвел глаза к небу. — Какие мудрые слова! Хотя, с другой стороны, ни дня среди них не прожив, вы беретесь оценивать их поведение.

— Так же, как многие другие. Все мы еще долго будем об этом размышлять. Как известно, изуверский план гитлеровцев увенчался успехом. Вы наверняка знаете, что́ сказал в конце сорок первого года комиссар варшавского гетто Ауэрсвальд: "Юденрат выполнил свою задачу. Ненависть еврейского населения направлена не на нас, а на него".

— Так почему же вы, зная, что наша ненависть к юденратам была запланирована гитлеровцами, позволяете себе ненавидеть их руководителей?

— Я не говорила, что ненавижу. Я скорблю. Но вернемся к вашему подзащитному. В жизни важно, *как* человек страдает и радуется, живет и умирает. В каком — назовем это так — *стиле*. Могу только сказать, что, если даже господин Румковский страдал от того, что ему пришлось сделать, стиль его был просто непристойным.

Регина в очередной раз подумала, найдется ли в зале врач. Поискала взглядом и с облечением увидела доктора Захарию.

На шее у него висел стетоскоп. Неудивительно: насколько она помнила, доктора застрелили, когда он осматривал пациента.

– А как, по-вашему, Адам Черняков, покончивший с собой в Варшаве, когда узнал, что́ ждет евреев, жил и умер в лучшем *стиле*?

– Да. Он как будто руководствовался запретом иудаизма: "Умри, но не преступи", – ответила она не раздумывая и, помолчав, добавила: – Во всяком случае, повел себя достойно.

– Но вы ведь знаете, в гетто Чернякова обвиняли, что он благоволит ассимилированным евреям, а его самоубийство сочли проявлением слабости. Я уж не говорю о том, что варшавское гетто перестало существовать в сорок третьем году, а лодзинское было ликвидировано последним в Европе. И прежде всего благодаря человеку, которого вы с такой легкостью клеймите.

– Моя оценка в силу обстоятельств – оценка ex post facto[1], что имеет и свои хорошие, и плохие стороны. Отсутствие личного опыта – это, конечно, плохо, но историческое знание и прежде всего дистанция – это хорошо. Поэтому, полагаю, нет человека, который бы не склонил голову перед Адамом Черняковым, а вот с вашим клиентом дело обстоит иначе.

– Стало быть, не юденраты сослужили дурную службу, а лишь некоторые из их руководителей?

– Я не одобряю таких органов администрации, как юденраты, и предпочла бы, чтобы гетто управляли немцы и вся ответственность легла на них. Что же касается руководителей – разумеется, их нельзя сваливать в одну кучу. Среди них были порядочные люди, но нашелся и такой вот Румковский.

– То есть человек, благодаря которому обитатели лодзинского гетто оставались в живых дольше, чем в любом другом.

– Не вижу существенной разницы. К чему им были хедер, еврейский театр и голодные пайки, если их все равно уничтожили, разве что чуть позже.

Хаим резко вскочил. К счастью, Борнштейн успел подбежать к нему и остановить. Регина готова была восхититься этим толстячком: он даже не запыхался, только поправил упавшую на лоб прядку. Все произошло так быстро, что в зале один лишь Марек испуганно вскрикнул.

– Давайте договоримся: никто ничего не видел, а я тут же все забыл, – обратился к залу судья и знаком велел защитни-

1. Исходя из совершившегося позднее (*лат.*).

ку продолжать. На судью Регина тоже посмотрела с восхищ
нием, хотя и не сомневалась, что он в ее восхищении не нуж
дается.

— Вы изволили сказать, что они все равно были уничтож
ны, разве что чуть позже, — начал, удовлетворенно усмехну
шись, Борнштейн, и Регина догадалась, с какой стороны о
поведет атаку. — Это ваше "чуть позже" для других — жизнь.
зале среди свидетелей и гостей много врагов господина пре
седателя. Поэтому именно от вас, — защитник повернулся
публике, — я хотел бы услышать, есть ли разница в том, пр
живет человек чуть меньше или чуть дольше?

Зал отреагировал так, как он ожидал. Поднялся ужасны
шум, раздались крики.

— Чушь! Жаль, ее с нами не было!

Судья трижды гневно ударил кулаком по столу.

— Тихо, не то я прикажу очистить зал!

Только сейчас Регина заметила в последнем ряду нескол
ких типично уличных мальчишек. Один из них встал, свис
нул, чтобы привлечь к себе внимание, и громко крикнул:

— А как насчет газовой камеры? С нами за компанию?

Надо признать, что ему удалось утихомирить зрителей
Зал постепенно успокоился. Регину поразила смелость, с к
кой мальчишка бросил вызов столь важной особе. Это прои
водило впечатление.

— Прошу вашу честь и господ присяжных обратить вним
ние: защита применяет методы, недопустимые в цивилиз
ванном мире. Если так дальше пойдет, господин адвокат
приговор вынесет сам. — Обвинитель тоже встал.

— Я прекрасно все вижу и нахожу это весьма прискор
ным, — сказал судья. — Однако каковы обстоятельства, тако
и суд. Мы ведь условились — поскольку обстоятельства н
тривиальны — ради общего блага не бояться нестандартны
поворотов дела. Такого я, впрочем, не ждал... Попрошу защ
ту впредь быть сдержаннее.

— Прошу прощения, я с благодарностью учту ваше замеч
ние. — Защитник, похоже, искренне раскаивался. — Не стан
опровергать суждение свидетеля, но не могу пройти мимо т
го, что наука считает самым важным, а именно: фактов. Го
пожа Арендт с явным злорадством написала, что председ
тель разъезжал по гетто в карете. Подобное утверждение н
страницах научного труда — сущее оскорбление, ведь даж
Гитлера никто не видел разъезжающим в карете. В действ
тельности господин председатель ездил на самых обыкн
венных дрожках. В зале присутствует извозчик, который ег

возил. Уважаемый Абрам, поклонитесь, пожалуйста, даме, прибывшей из далекой Америки...

Регина хорошо знала человека, который сейчас встал и поклонился. Абрам ее недолюбливал, тем не менее, когда они покидали гетто, она попросила мужа взять его с собой, однако Хаим и слышать об этом не захотел.

— Я знаю, жизнь любой незаурядной личности обрастает легендами. И знаю, что журналистам, которые пишут об исторических фактах, случается ошибаться, но не до такой же степени, да еще в научном труде!

Борнштейн слишком рано решил, что съел ее с потрохами, — Арендт только усмехнулась и спокойно ответила:

— Это вы ошибаетесь, придавая такой мелочи столько значения. Просто в источник, которым я пользовалась, при переводе, вероятно, вкралась ошибка. А про человека, склонного цепляться к подобного рода ошибкам — вы уж меня простите, — хочется сказать, что, по молодости лет, ум его еще не созрел. Если угодно, сочтите это комплиментом. Я же в своей работе добралась, как мне кажется, до самой сути, что, полагаю, гораздо важнее. И вам советую больше думать и меньше увлекаться собиранием фактов.

— Я почти готов одобрить решение своего подзащитного молчать. — Борнштейн не умел проигрывать. — Боюсь, никакие его слова не смогли бы вас переубедить.

— Знал бы ваш подзащитный, какими словами будет описан на страницах истории, он бы носа не высунул из приюта, где мог царить безнаказанно. А вам рекомендую почаще тренировать мыслительный аппарат. Утром, вечером, когда только выпадет минутка. Способность здраво размышлять дана не каждому, но упражняться стоит. Спасибо, ваша честь, что обо мне вспомнили. Я, пожалуй, пойду, чтобы не злоупотреблять вашим терпением, да и мне больше нечего сказать.

Регина поймала себя на том, что ей нравится эта маленькая женщина, которая так смело говорит и умеет отстоять свою точку зрения. Когда та выходила, будто нарочно громко стуча каблуками, в зале не было ни одного человека, который не смотрел бы на нее с уважением, а Абрам даже встал и низко поклонился.

<...>

— Дорогой Давид, напомните нам, что вы написали в дневнике насчет открытия председателем Румковским пансионата для заслуженных деятелей общины, где многим жилось лучше, чем до войны. — Прокурор говорил подчеркнуто любезно.

— Я посчитал это позорным пятном на репутации общи ны, — решительно заявил подросток. — А немного погодя мы узнали, что в гетто создается суд, который имеет право рас сматривать дела в ускоренном порядке и применять высшую меру за политические преступления: слушание радио, рас пространение ложных сообщений. Поэтому я написал, что никого лучше Румковского немцы подыскать не могли.

Зал затих, кто-то от волнения даже разинул рот.

— Примерно год спустя, в июне сорок второго, еще до то го, как были отправлены на смерть старики и дети, вы запи сали, что, когда ваши родные уже питались картофельными очистками, чиновники объедались и что в гетто есть люди накопившие немало добра впрок на послевойны.

— Так оно и было. Инструкторы, полиция и другие банды бездельников получали все больше разных талонов, а осталь ные подыхали с голоду.

Здорово, когда мальчишка заставляет взрослых себя слу шать, подумал Марек.

— Ваше мнение о господине председателе не изменилось?

— Ни на йоту. — В голосе Давида не прозвучало и тени гне ва, что только усилило впечатление.

— У меня больше нет вопросов. — Прокурор удовлетво ренно потер руки. — А вас, Давид, хочу поблагодарить за ваш дневник, который я выучил чуть ли не наизусть.

— Прошу всех обратить внимание: обвинитель проявляет человеческие чувства! — выкрикнул Борнштейн и подошел к Давиду. — Поверьте, я эти чувства разделяю. Однако, по скольку мне досталась роль защитника, я должен выбрать из ваших заметок — просто блестящих, особенно если учиты вать ваш юный возраст, — те, которые свидетельствуют, что вы одобрительно относились к деятельности господина председателя. А именно: в августе сорокового года вы напи сали, что гетто прекрасно развивается. Появляется множест во новых мастерских и фабрик, которые, вместе с уже суще ствующими, образуют Еврейский промышленный округ, как его шутливо называли. Перечисляя созданные господином председателем заводики, вы упоминаете, что на одном из них получил работу ваш отец, таких, как он, тысячи, и, ка жется, все идет к лучшему...

— Я написал: казалось бы, идет к лучшему, если б не голод и не смертность, которая не уменьшилась. — Давид нисколь ко не смутился.

— Вот именно, этот проклятый голод, постоянно унося щий человеческие жизни... Двоюродная сестра вашей мамы, которой удалось перебраться сюда из варшавского гетто, рас

сказывала, что там разрешена частная торговля, контрабанда и вообще допускается бóльшая свобода, и в этой специфической атмосфере те, кто похитрее и оборотистее, зарабатывают кучу денег и могут жить по-царски. Притом тысячи умирают на улицах и лежат не погребенные, тогда как в Лодзи с этим полный порядок — все прекрасно организовано. В том, что вы привели ее слова, я усматриваю восхищение службами порядка, но и сожаление, что председатель не позволяет обогащаться спекулянтам и пройдохам. Вы рассуждаете весьма благородно, и мне хотелось бы услышать, чтó, по-вашему, более справедливо: позволить всем голодать с надеждой выжить или дать возможность людям оборотистым жить по-царски?

Давид ответил не сразу и заговорил, взвешивая каждое слово:

— Первое, конечно, более справедливо. Но что касается голода, тут о справедливости говорить не приходилось. Небольшая группа обжиралась благодаря привилегиям, которые господин председатель милостиво раздавал избранным.

Защитник выслушал его, склонив голову, демонстрируя, что он весь внимание, и, после недолгого раздумья, сказал:

— Я понимаю, так это выглядело с низу пирамиды, но, по-моему, вы сами несправедливы в оценке специалистов, которые создавали заводики и ломали головы над тем, как произвести что-то из ничего. Ведь господин председатель привлекал к этой работе высококвалифицированные кадры. Вы не считаете, что они заслуживали более высокую оплату?

— Как раз это я считаю самым плохим и деморализующим, — не желал сдаваться Давид. — Каждый из нас в тех обстоятельствах должен был делать то, что умеет лучше всего — неважно, пришивать пуговицы или руководить министерством финансов. Да, это был мир рабства и унижения. Да, кто-то заслужил дополнительную порцию супа — но уж слишком велик был контраст...

— Вы — идеалист. При всем моем уважении, я все же позволю себе привести пример, который пусть и не разрушит ваш образ мыслей, но, надеюсь, немного поколеблет. Согласитесь: в государстве, которое дает хоть какой-то шанс на выживание, необходимо наказывать воров, фальшивомонетчиков, уж не стану перечислять кого еще. Этого требует законность, однако нужно учитывать и привходящие факторы. Вы думаете, кто-нибудь захотел бы служить в полиции, если б не хорошая зарплата? Вы бы согласились стать полицейским?

— Всякий бы согласился, ведь должность — это еда, то есть жизнь.

— А может, господин председатель исходил из того, что прилично зарабатывающий полицейский будет хорошим полицейским? Впрочем, довольно о несправедливом распределении благ — перейдем к другой, близкой вам, теме. Вы были образцовым учеником, много репетиторствовали, сами изучали три языка...

— До поры, до времени — позже я от голода так ослабел, что не мог даже читать, — перебил его Давид.

— К этому мы еще вернемся. Вы закончили в гетто гимназию?

— Да.

— Вы написали: "В школе начались выпускные экзамены. Уже второй раз в гетто. Естественно, как и в прошлом году, Румковский подготовил для выпускников рабочие места. Такого, кажется, и до войны не бывало. Жаль только, нет университета". Возможно, в последней фразе скрыта ирония, но я не знаю, известно ли вам, что в это самое время в вашем родном городе Лодзи для поляков учебных заведений, кроме ремесленных училищ, уже не было.

— Я об этом не знал.

— Вспомните также, что среди сорока пяти школ в гетто были школы для глухонемых, для отсталых детей и даже для несовершеннолетних преступников. А музыкальное училище, а промышленное? Да, они существовали недолго, но разве это вина господина председателя? А может, то, что вообще существовали, — его заслуга?

— Ну да, поскольку все это происходило за колючей проволокой, ему было чем похвалиться. Но мне также известно, что мои одноклассники в Варшаве еще в сорок первом году учились. Возможно, школы — не такая уж заслуга господина Румковского, а просто результат тогдашней политики немцев.

— Вы говорите о Варшаве, прямо как о земле обетованной. Вспоминаете своего товарища Стефека Калушинера, который, попав в июне в варшавское гетто, в первый же день так объелся, что неделю пролежал в жару. Вы пишете: "Но он наверняка почувствовал себя сытым, чего со мной последние два года не случалось".

— Именно так и было.

— Тогда позвольте, я попрошу вашего друга сказать нам два слова. Господин Калушинер, вы можете сюда подойти?

Надо признаться, что защитник всех ошарашил. Даже судья поднял голову и с интересом уставился на юношу в рваном пиджаке, а Марек так и подпрыгнул на стуле: за поясом у свидетеля торчал револьвер. Вероятно, незаряженный, иначе не впустили бы в зал, но все-таки! Калушинер, проигнори-

ровав судебный порядок, подошел к Давиду. Друзья немного растерянно обнялись.

— Мы знаем о вашем героизме, знаем о последнем патроне... — начал защитник.

— Не все знают, пускай расскажет! — раздались восклицания.

— Увы, мои дорогие — позвольте в утешение так вас назвать, — сказал судья, обращаясь к залу, — защитник не согласовал со мной приглашения этого свидетеля, за что, кстати, я к нему не в претензии. Стефан и его героические друзья еще не раз расскажут нам свою историю. Однако я не хочу, чтобы сейчас ради бункера на Милой[1] мы отвлеклись от дела, из-за которого собрались. Так что прошу защиту задавать вопросы — но только имеющие отношение к лодзинскому гетто.

— Вы были довольны, что вам с родителями удалось перебраться в Варшаву?

— Я был счастлив, что мы вырвались из-под власти этого человека. — Марек заметил, что Стефан не побоялся взглянуть прямо в лицо Румковскому, а тот отвернулся.

— Спустя полгода гетто в Варшаве перестало существовать.

— Родители не могли этого предвидеть. Я жалею, что мы не сумели уехать раньше.

— Но если бы вы остались в Лодзи, возможно, прожили бы дольше. Да, в нашем гетто люди голодали, но оно просуществовало еще почти два года. — Защитник напряженно смотрел на свидетеля в надежде получить поддержку.

— Я не могу говорить за родителей. Ну а я... одно то, что я принимаю участие в борьбе, было для меня дороже жизни.

— В высшей степени достойная позиция, но — прошу не забывать — в лодзинском гетто кое-кто остался в живых. Спасибо, что потрудились к нам прийти.

Обменявшись коротким рукопожатием с Давидом, Стефан Калушинер исчез так же быстро, как появился. Все были под большим впечатлением — никто не произнес ни слова. Защитник долго смотрел ему вслед, затем перевел взгляд на Давида.

— У меня есть еще вопрос. Знай вы, что случится с теми, кто перебрался в Варшаву, вы бы так же радовались, что они наконец-то смогли наесться?

1. Штаб Еврейской боевой организации, руководивший восстанием в варшавском гетто (апрель–май 1943), находился в бункере на Милой улице. Когда 8 мая бункер был окружен немцами, руководитель восстания Мордехай Анелевич и другие члены штаба покончили жизнь самоубийством.

— Можно подумать, вам не известно, что такое голод! Уж не вы ли в гетто распределяли продовольствие? — Давид, кажется, начал нервничать. — И, может, поэтому согласились защищать председателя? Я, чтобы наесться, готов был жизнью заплатить, притом сразу, проглотив последний кусок...

— Мне больно такое слышать. — Последние слова, похоже, задели Борнштейна. — Знали бы вы, как сложилась моя судьба, смерть в собственной постели показалась бы вам счастьем. Но я не сержусь, мне понятны ваши эмоции... Только, пожалуйста, подумайте хорошенько, прежде чем ответить на следующий вопрос. По-вашему, Румковский был виноват в том, что люди голодали? Вы не допускаете, что, создавая свое маленькое, образцово управляемое государство, он надеялся нас спасти? Ведь все мы жили надеждой.

— Я слишком молод, чтобы вообразить себя на месте господина председателя, однако не считаю, что благие намерения избавляют от необходимости быть порядочным человеком. Вы можете представить себе Моисея, приказывающего бросать еврейских детей под египетские колесницы, чтобы задержать погоню?

— Боюсь, что могу... — защитник произнес эти слова очень тихо, но они прозвучали как выстрел.

В зале раздались выкрики, которые судья оборвал, подняв палец.

— Что ж, мне остается только вас поблагодарить. Спасибо, что пришли. А над вашими словами о порядочности я еще подумаю. — Борнштейн протянул Давиду руку.

— У меня есть один вопрос, если можно, — сказал, видимо, что-то вспомнив, обвинитель. — Когда разнеслась весть о том, что в Лодзь прибывают евреи из Вены, вы записали: "Говорят, это сплошь христиане и нацисты, в родословной которых откопали бабушку-еврейку. Они еще создадут у нас в гетто антисемитский союз". Что вы имели в виду?

— Наверно, на меня повлияло общее к ним отношение... страх перед чужим миром. Достаточно было увидеть, как они одеты, какие у них чемоданы... Казалось, все до одного — богатеи, хотя это были самые обычные граждане цивилизованной страны. Я подумал: ну всё, они нас задавят...

— И что, этот мир действительно оказался страшным?

— Наоборот. Я потом ходил к ребятам из Чехословакии и Люксембурга. Интеллигентные, чистые, симпатичные, открытые... Общаться с ними было очень приятно. Больше всего их поразила грязь, они боялись подхватить какую-нибудь заразу. Я жалею, что не сумел познакомиться с этим миром

поближе. С миром людей, которые вряд ли захотели бы отправиться с председателем Румковским в Палестину.

— Думаете, именно из-за неприязни к ним председатель без колебаний внес их в свой список на депортацию? — спросил прокурор, мастерски изображая на лице равнодушие.

— Свидетель не вправе давать оценки подобного рода, — вмешался судья и встал. — Да он и не был лично знаком с подсудимым, так что вряд ли захочет даже строить предположения. А теперь позвольте мне оставить последнее слово за собой. Я буду краток: Давид Сераковяк, я был бы горд, будь я твоим отцом. Но у тебя уже есть отец, человек очень достойный. И все-таки разреши назвать тебя своим сыном — поверь, мне далеко не о каждом хочется так сказать...

— Только не труби об этом на всех углах, дружище! — крикнул кто-то из зала, и все рассмеялись.

— Хорошо, что вы еще способны шутить, господин Рубин, — беззлобно сказал судья. — А ты, Давид, уж поверь мне, навсегда останешься примером, и не только для еврейских детей.

И судья объявил перерыв до завтрашнего утра.

<...>

— Итак, заседание продолжается, — объявил судья. — Оставим большой мир — Берлин, Прагу и Вену. Мы в лодзинском гетто. Гитлеровцы требуют отдать им детей и стариков.

— Да! — воскликнул Вильский. — Отправить на верную смерть "маленькие сокровища", как любил называть детей их благодетель. Посмотрим, как он себя поведет...

— Протестую! Почему "на верную смерть"? Сомневаюсь, чтобы он это знал! — Борнштейн вскочил так стремительно, что чуть не опрокинул стул.

— В таком случае попрошу вашу честь защитить господина Румковского от его собственного защитника, который считает своего клиента умственно неполноценным.

— Господа, сейчас не время и не место для подобных шуток! — Судья ударил ладонью по столу, однако не очень сильно: ни одна из четырех пепельниц не подпрыгнула. — Продолжайте.

Вильский подошел к скамье присяжных.

— Как мы помним, здесь уже цитировались отрывки из речей обвиняемого. — Он заговорил достаточно громко для того, чтобы двое спящих заседателей, вздрогнув, выпрямились; третий даже не шелохнулся. — А сейчас я вам покажу нечто исключительное. В нашем распоряжении имеются кадры, снятые домашней кинокамерой. Никто этого фильма не видел, даже сам снимавший. Голос же Хаима Румковского был записан с его согласия его собственными архивистами. Я не поручусь

за синхронность изображения и звука, но заверяю вас: мы видим и слышим председателя в тот самый исторический день...

Регина только сейчас заметила проектор, установленный около эпидиаскопа. Марек весь извертелся, да и она не на шутку встревожилась. Проектор застрекотал, и все увидели рыночную площадь, толпу и Хаима, разговаривающего со своим заместителем Якубовичем. Чуть погодя Хаим начал свою речь — Регина знала, что́ он скажет. Дома она просила его не актерствовать, а произнести эти страшные слова как можно сдержаннее. Просить-то она могла... Он бурно жестикулировал, делал многозначительные паузы — несносная манера человека, обожающего ораторствовать. Впервые ей показалось, что муж неумен, когда он однажды признался, что сладкое чувство власти наполняет жизнь смыслом. У нее даже мелькнула мысль, что, возможно, она совершила ошибку, не отвергнув его ухаживаний в надежде спасти жизнь родителей и брата. И потому сейчас со злорадством смотрела на экран, где старый дурень гримасничал, и радовалась, что запись не искажает его визгливый голос.

"— На гетто обрушился страшный удар. От нас требуют отдать самое дорогое, что у нас есть: детей и стариков. У меня, к несчастью, собственных детей нет, поэтому лучшие годы жизни я посвятил чужим. Я и вообразить не мог, что буду своими руками возлагать жертвы на алтарь. Судьба распорядилась, чтобы сегодня я вас умолял: братья и сестры, отцы и матери, отдайте мне своих детей..."

Из микрофона донеслись рыдания людей, собравшихся на Стражацкой площади, но Регина услышала и рыдания в зале.

"— Вчера днем мы получили приказ депортировать из гетто двадцать тысяч человек. В противном случае, было сказано, немцы займутся этим сами. Перед нами встала дилемма: или это сделаем мы, или предоставим сделать им. Думая не о том, сколько погибнет, а о том, сколько удастся спасти, я и мои ближайшие сотрудники пришли к выводу: как это ни ужасно, мы обязаны взять ответственность на себя. Я должен провести эту кровавую операцию. Должен ампутировать конечности, чтобы спасти тело. Должен отнять у вас детей, потому что иначе вместе с ними погибнут еще многие. Я пришел не утешать вас, не помочь снять тяжесть с души, нет, я пришел как вор, чтобы украсть у вас самое дорогое. Я не щадил сил, добиваясь отмены этого приказа, но меня не захотели слушать. Я ничего не добился, кроме одного: на детей старше десяти лет приказ не распространяется. Пусть это послужит хоть каким-то утешением..."

Все могли увидеть, как Хаим вытирает лоб носовым платком, который она положила ему в карман. Не надо было класть. Если бы, не найдя платка, он вытер лоб ладонью, жест показался бы более чистосердечным.

"— У нас в гетто много чахоточных, жить которым осталось несколько дней, от силы несколько недель, — продолжал он. — Не знаю, возможно, это дьявольский план, но я вынужден попросить вас: отдайте этих больных! Здравый смысл подсказывает: спасать нужно тех, у кого есть шанс выжить, а не тех, кто так или иначе умрет. Каждый из нас сохраняет жизнь обреченному ценой собственного здоровья, мы отдаем больному нашу пайку хлеба, пару кусков сахару, кусочек мяса, но ему это не помогает, а мы теряем силы. Я понимаю, это благородные жертвы. Но когда передо мной стоит выбор — спасать больных или здоровых, — я не могу долго колебаться. Я велел врачам выдать всех неизлечимо больных, чтобы взамен сохранить жизнь тем, кто хочет и может жить..."

Теперь уже плач и стоны отчетливее слышались из зала.

"— Я понимаю, вас, матери, я вижу ваши слезы. Мне так же горько и тяжело, как и вам, отцы. Поверьте, сердце у меня разрывается. Со вчерашнего дня, после того как мне объявили этот приказ, я совершенно сломлен, я разделяю вашу боль, я не знаю, где взять силы, чтобы все это пережить. Одно только я вам скажу: от нас потребовали двадцать четыре тысячи. По три тысячи в день на протяжении восьми дней, но мне удалось сократить эту цифру до двадцати тысяч; может быть, я выторгую еще немного, но лишь при условии, что заберут всех детей моложе десяти лет. Поскольку детей и стариков всего тринадцать тысяч, придется пополнить квоту за счет больных. Мне трудно говорить, силы покидают меня. Я умоляю вас: помогите мне провести эту акцию. Я содрогаюсь при мысли, что, упаси Бог, ее проведут другие..."

Сейчас, будь у нее такая возможность, она бы ушла и никогда не вернулась. Хаим на экране широко развел руки, будто пророк, и выкрикнул, хотя она просила именно эти слова произнести шепотом:

"— Я простираю к вам руки и молю: отдайте жертвы в эти руки, дабы уберечь себя от бóльших жертв, дабы спасти сто тысяч евреев..."

Воцарилась тишина, в которой было слышно, как шуршит пленка, но через минуту и она замерла. Как по команде, в зале снова стало светло. Лишь теперь Регина увидела, какое, несмотря ни на что, ее муж произвел впечатление. Плакали не только женщины, даже человек на скамье присяжных, который ей показался мертвым, схватился за голову.

— Очень волнующе, но что это доказывает? — Регина видела, что кажущееся спокойствие дается Борнштейну нелегко: он украдкой глотнул несколько капель из маленького пузырька. — Прежде всего, что это трагедия человека, поставленного перед выбором, какого еще не знало человечество...

— Ты такое же чудовище, как он! — раздался крик в зале. Кричала женщина, чьи седые волосы не вязались с молодым лицом. — Ваша честь, полицейские силой вырывали у нас детей! Председатель им пообещал, что их собственных детей не тронут. Вон тут сидит один из этих мерзавцев... Посмотрите: даже глаз не опустит! — Женщина указала на молодого мужчину в пиджаке в рубчик.

— У меня детей не было! — Под устремленными на него взглядами мужчина побелел как полотно. — Мы только исполняли приказ. Другие полицейские тоже потеряли детей.

— Но их дети прожили на два года дольше! Моему Исеру было уже три года, он мог работать, а пришел этот негодяй с солдатами, и его забрали...

— Успокойся, Сара, — сказал судья. — И вы, в зале, тоже. Хотя бы делайте вид, что это настоящий суд и есть правила, которые надо соблюдать.

Люди замолчали — главным образом, от удивления, откуда судье известно имя скромной портнихи Сары Грюншпан. Тут же нашелся смельчак, который решил, что ему каким-то чудом может повезти. Таких было несколько, но он всех опередил.

— Ваша честь, — негромко, но отчетливо попросил он. — Разрешите выйти по нужде. Я сразу вернусь, обещаю.

— Нет такой нужды, чтоб нельзя было потерпеть, Даниэль. Лучше подумай, как ответить на вопрос, который тебе зададут. И вы все тоже!

Стало тихо, а Даниэль Левинский, наборщик "Утреннего голоса", обрадовавшись, что судья его знает, тут же, как было велено, задумался.

— Продолжайте, господин адвокат, не то мы отсюда никогда не уйдем...

Регина поняла, что Борнштейн не терял времени даром. Пока шли эти перепалки, он, видимо, что-то придумал.

— Раз уж у нас есть фильм, попрошу отмотать пленку назад...

Обслуживающий проектор старичок долго не мог найти нужное место.

— Вот здесь, пожалуйста, остановитесь. Чуть-чуть вперед. Спасибо, хорошо. Прошу всех внимательно посмотреть на

экран. Видите неестественный блеск в глазу? Это слеза. Несомненно... Этот человек плачет.

— Какая там слеза — случайный блик, — раздраженно выкрикнул Вильский.

— Чистой воды слеза.

— Вам хочется, чтобы так было. Ладно, пускай. Я тоже попрошу немного перемотать пленку. В самом начале я заметил кое-что весьма характерное. Еще, еще... Вот здесь, перед тем как он поднимется на трибуну. Прошу обратить внимание, с какой грацией наш Мордехай достает расческу и приглаживает волосы. Может ли человек, который через минуту заплачет, думать о своей прическе?

— Это непроизвольный жест человека, который через минуту взойдет на эшафот. Кто знает, господин прокурор, не захотелось ли бы вам, окажись вы в подобной ситуации, причесаться или просто чем-нибудь занять руки... — Борнштейн еще не договорил, но Регина уже поняла, на что он рассчитывает. И не ошиблась: в зале захихикали, а прокурор нервно потер лысину. — Господин председатель заплакал, потому что дети были смыслом его жизни. Вероятно, всем вам известно, что, будь это возможно, он с радостью отдал бы руку за спасение хотя бы одного ребенка.

— Благодарю за это "вероятно". Когда председателю юденрата в соседней Здунской Воле приказали доставить тысячу евреев, чтобы отправить их на смерть, он сказал, что может привести только четверых: себя самого, свою жену и двоих детей. И за это поплатился не рукой, а жизнью.

— Благородный поступок... но чем это помогло евреям из Здунской Воли?

— Все погибли — так же, как евреи из лодзинского гетто, где не благородство правило бал, а подлость.

— Ваша честь, запретите обвинителю оскорблять человека, которому он в подметки не годится. Благодаря своему прагматизму господин председатель — единственный в мире! — сумел тогда спасти семьдесят тысяч евреев. Он их благодетель. И эту очевидную истину не могут опровергнуть даже злейшие его враги.

— Позвольте, ваша честь, задать вопрос Етле Яблонской, хотя она не была заявлена в качестве свидетеля. Вон та женщина в черной кофте... в предпоследнем ряду... — обвинитель на кого-то указывал рукой.

— Задавайте, только покороче. — Судья облокотился на стол и обхватил голову руками. То ли о чем-то задумался, то ли отгородился от происходящего.

— Госпожа Яблонская, вы были на Лагевницкой, когда гестаповцы пришли в больницу за детьми и больными, выдать которых так красноречиво просил правитель гетто...

— Протестую! Называя господина председателя правителем гетто, обвинение ставит его на одну доску с немецкими властями, — вмешался Борнштейн.

Регина подумала, что на его месте поступила бы так же. Нельзя допускать подобные сравнения.

— А я рекомендую господину адвокату не отвлекать судью несущественными мелочами — для его клиента это может плохо кончиться. — Вильский, казалось, угадал, о чем она подумала, и хочет ее предостеречь. — Мне бы, конечно, не следовало давать советы защите, но это я так, по доброте душевной... Говорите. Вы бежите на Лагевницкую, чтобы забрать из больницы отца...

Етля Яблонская раскрыла рот, но тут же закашлялась. Когда-то она была очень хороша собой, да и сейчас, если приглядеться, на ее лице были заметны следы былой красоты. Только вот кашель не оставлял сомнений, что жить ей осталось недолго.

— Я знала, что из больниц будут забирать детей и стариков. А у меня отец лежал в больнице, он где-то заразился туберкулезом. Дома я хотя бы могла его спрятать — например, под кроватью... у нас была высокая кровать...

— Я с большим уважением отношусь к вашему отцу, но мы хотим послушать, что делалось перед больницей. Мне разрешили только коротко с вами поговорить...

— Я несла папе пальто, чтобы он надел его на пижаму, и так мы бы вышли. Издали я увидела грузовики и оцепление — к больнице никого не подпускали. Я поняла, что опоздала. Стояла и плакала...

— И что еще вы увидели?

— Гестаповцы с верхних этажей выкидывали подушки. Я даже удивилась: ведь про них никак нельзя было сказать, что они не берегут добро. На следующий день я узнала, что это были маленькие дети... их выбрасывали вместе с постелью. Папу, конечно...

— Спасибо большое за ваш рассказ. — Вильский поклонился и обратился к залу: — Вот таким образом дети, отдать которых просил наш благодетель, покидали его государство. Заметим: государство, созданное бывшим директором приюта. Страшно подумать, что до войны в его руках были судьбы детей...

Регина всегда терпеть не могла этого человека, который на процессах вел себя как тенор на концерте в женской гимназии. Надо, однако, признать, что он мастерски умел играть

на эмоциях. На суде она бы не смогла у него выиграть — одно утешение, что в Лодзи никто б не смог. Разве что ее шеф Эмиль Монтляк разделал бы его под орех...

— Впечатляюще звучит! — воскликнул защитник. — Обвинение пытается убедить нас, что вина за случившееся с евреями целиком и полностью лежит на господине председателе. Я выслушал эти — назовем вещи своими именами — наглые инсинуации с грустью, но и, прямо скажу, с восхищением: надо уметь так ловко водить людей за нос! А сейчас я воспользуюсь тем, что господин судья задумался, и, нарушив правила, задам несколько вопросов свидетелю, который также не был раньше заявлен. Господин Борнштейн, прошу вас занять свидетельское место...

Сидящие в зале принялись недоуменно оглядываться, но никто не поднялся с места. Регина первая заметила, что защитник сам уже стоит за пюпитром. В первую секунду она подумала, что он сошел с ума.

— Меня зовут Генрик Борнштейн, — представился он. И тут же задал себе вопрос: — Не могли бы вы рассказать о своей сестре? — Утвердительно кивнул и продолжил: — Ее звали Мириам, так же как ту, что потом стала для христиан Марией. Чудесный ребенок; пяти лет от роду она уже читала на трех языках. — И сам себя одернул: — Нельзя ли покороче? — Ответил: — Да, да, конечно. В гетто она заболела дифтеритом, и мы положили ее в больницу. Я, когда узнал, чего требуют немцы, пошел туда, как и госпожа Яблонская, намеревавшаяся забрать своего отца. Мне обещал помочь мой друг, доктор Хальберштадт, который, правда, работал в другой больнице, на Древновской, но у него было врачебное удостоверение, с которым его всюду пускали. На Лагевницкой стояли армейские грузовики и слышны были душераздирающие крики. Я растерялся, но Людвик — так звали Хальберштадта, и я хочу, чтобы вы запомнили его имя, — велел мне ждать и прошел через оцепление, даже не показав документа. Я ждал и еще надеялся, что мне удастся где-нибудь спрятать Мириам. Но тут, как и госпожа Яблонская, увидел летящие из окон свертки. Когда машины уехали, я кинулся к больнице и услышал писк, раздававшийся из одного такого свертка. Только тогда я понял, что из окон выбрасывали детей в конвертах или как там это называется... На вопрос, который наверняка сейчас прозвучит: была ли спасена моя сестра? — отвечаю: нет. На второй вопрос: какова судьба доктора Хальберштадта? — отвечаю: когда я его отыскал, он был еще жив и силился что-то сказать, но мешала застрявшая в горле пуля. По словам других врачей, гестаповцы увидели, что он пытается

спрятать ребенка. Какого ребенка, они не знали — там ведь был сущий ад. — Помолчав, Борнштейн закончил: — Если это все, мы благодарим свидетеля, — и вышел из-за пюпитра.

Регина знала, что подобного рода тишина редко воцаряется в залах суда — тем более там, где каждый ждет очереди рассказать свою невообразимо страшную историю.

— Как, по-вашему, — Генрик Борнштейн подошел к скамье присяжных и поочередно посмотрел в лицо каждому, — я должен считать господина председателя виновником трагедии, которая произошла с детьми, в том числе и с моей сестрой? А почему бы мне не винить себя? — ведь я не бросился на гестаповцев, конвоировавших отъезжающие машины. Я не стану сейчас вызывать в качестве свидетеля господина прокурора и спрашивать, что он делал в тот день, когда из гетто забирали детей, и как ему тогда работалось в архиве, в материалах которого, как все мы знаем, часто встречаются похвалы в адрес обвиняемого. Я даже не спрошу у него — хотя с трудом себя сдерживаю, — помнит ли он, как отплясывал на торжественном вечере, устроенном работниками щеточной фабрики по случаю дня рождения господина председателя.

Вильский возвращался на свое место походкой человека, которому отбили почки. Когда наконец он с явным облегчением опустился на стул, раздался хруст раздавленного стекла — Вильский так и подпрыгнул, вероятно, не только от неожиданности, но и от боли. Регина заметила, что судья переводит взгляд на нее, но — всевидящий! — он вполне мог смотреть и на Марека. Она бы испугалась, если б — к величайшему своему изумлению — не увидела на лице судьи тень улыбки.

<...>

Регина вспомнила свое первое выигранное дело: Кудановский против финансового управления. После того процесса она совсем по-другому входила в зал суда. Вот и Борнштейн, нанеся чувствительный удар прокурору, стал двигаться совершенно иначе; кажется, он даже похорошел — если про него можно было такое сказать. И настолько осмелел, что рискнул напасть на судью.

— Полагаю, сейчас самое время задать вашей чести вопрос, — сказал он. — Я не вижу здесь ближайших сотрудников господина председателя. Где те, кто правил в гетто, когда мой клиент фактически отошел от дел? Почему перед нами не стоит печально известный Марек Клигер? Где Давид Гертлер, который, начиная с сорок второго года, принимал все решения, раздавал награды и устраивал проверки, а председателя выставлял вперед, когда надо было сообщить народу о

депортации? У старика могли быть иллюзии — он мог считать, что власть еще у него в руках, в его честь еще устраивались торжественные вечера. Про Гертлера говорят, что он выдавал гестапо богатых евреев, — разве такого человека не следует привлечь к суду, ваша честь?

Регина видела, что Хаима покоробило слово "старик", однако судья, выглядевший еще старше него, невозмутимо разъяснил:

— Мы собрались не затем, чтобы осуждать все существующее в мире зло. Как защита, вероятно, заметила, здесь отсутствуют многие виновники страшных преступлений. Мы ограничились вашим председателем, поскольку он стал своего рода символом, но при этом, как и большинство из вас, является жертвой. Впрочем, если вы считаете, что нам недостает сильных эмоций, не стану спорить... Попрошу присутствующих вести себя сдержанно. Никаких криков в зале... Я пригласил к нам Ганса Бибова[1]. Зная немецкую педантичность, полагаю, он появится примерно через тридцать секунд... Кто хочет со мной поспорить?

Кроме Хаима, в зале не было ни одного человека, который бы не повернулся к двери. Только двое посмотрели на каким-то чудом сохранившиеся у них часы. Когда вошел мужчина с обвязанной шеей, воцарилась гробовая тишина.

— Учтите, господин Бибов, я много о вас знаю, — произнес судья. — Для начала расскажите о себе что-нибудь хорошее, например, какой благородный вы человек.

— Так о себе говорить не осмелюсь, но в среде торговцев в Бремене я пользовался уважением, это факт. Да и в Лодзи старался самым добросовестным образом исполнять свои обязанности. — Бибов говорил невнятно, но спокойно.

— Расскажите, как вы попали в Лодзь.

— Меня вызвали и назначили руководителем экономической службы. Я понятия не имел, что речь идет о гетто, и уж никак не предполагал, что возглавлю администрацию.

— Вас заставили занять эту должность? — Судья смотрел куда-то поверх головы Бибова.

— Я согласился добровольно, иначе, думаю... был бы вынужден согласиться.

— И стали главой гетто, зная, что людей туда переселили силой?

1. Ганс Бибов (1902–1947) — немецкий бизнесмен, член НСДАП, руководитель службы экономики и продовольствия, а затем (с окт. 1940) — глава администрации лодзинского гетто. В 1947 г. Польским народным судом в Лодзи приговорен к смертной казни; повешен.

— Об этом я узнал позже.

— То есть вы полагали, что евреи по доброй воле отправились за колючую проволоку?

Регина услышала несколько смешков — довольно робких.

— Вижу, вы не склонны вдаваться в подробности. Что ж, тогда попрошу вас ответить — без занесения в протокол, разумеется, — на один вопрос. — Судья подался вперед, словно надеясь услышать что-то очень интересное. — Признаться, по возможности я задаю этот вопрос каждому члену НСДАП. Вас ничего не коробило в человеке, которого ваш народ избрал фюрером?

— Я не очень понимаю... Фюрер это фюрер.

— Вам не мешало, что Бог сотворил его... скажем, немного смешным?

— Раз уж ваша честь упомянули Бога, замечу, что он также позволил Адольфу Гитлеру стать нашим вождем.

— Ну да, тоже верно. А какая участь уготовлена евреям согласно программе нацистской партии, вы знали?

— Вступая в партию, я не увидел, чтобы в программе ставилось целью физическое уничтожение евреев.

— Вы читали "Майн кампф"?

— Честно говоря, начал, но не закончил.

На этот раз зал всколыхнулся, кое-кто даже вскрикнул.

— Прошу сохранять спокойствие, — судья сделал замечание не очень громко, будто понимал, что его вряд ли послушают. — Скажите нам, господин Бибов, вы были главной персоной в гетто?

— В том, что касается хозяйственной деятельности, можно сказать — да. Но обо всем прочем решало гестапо, руководствуясь линией партии.

— Что это такое: *все прочее*, — вы знали?

— О том, что евреев отправляют на смерть, я не знал — мои поездки в лагеря уничтожения носили, как сейчас говорят, чисто формальный характер.

— Господин Бибов! — В голосе судьи появилась гневная нота.

— Скажу иначе: знать не знал, но мог догадываться.

— Господин Бибов, надо ли напоминать, что с нашей стороны вам ничто не грозит? Я понимаю, вы стараетесь предстать перед нами в наилучшем виде, но это бессмысленно, поверьте. Говоря неправду, вы только выставите себя на посмешище, а вряд ли вам этого хочется.

— Да, вы правы. Мне уже ничто не грозит. И незачем что-либо скрывать. Да, я все знал. Не дурак, в конце концов.

— Разумеется, нет. Зачем же вы все-таки произносили эти лживые речи: "Я, Бибов, ваш добрый друг, я хочу, чтобы вы пережили эту войну. Доверьтесь мне, я переведу вас в безопасное место". А потом тех, кто обоснованно вам не доверял, лично отлавливали по подвалам.

— Простите, ваша честь, не хочу вас обидеть, но вы обвиняете меня в двух вещах, которые нельзя ставить на одну доску. Первое обвинение, относительно лживости моих речей, я легко опровергну. Я действительно считал себя покровителем этих людей. Да, я знал, что большинство погибнет, но что можно было дать им лучшего, чем лишний день надежды? Хотя бы за это я мог ждать благодарности.

— А не приписываете ли вы себе чужие заслуги? Ведь вся политика ваших руководителей строилась на схожих рассуждениях. Чтобы убить миллионы, не допустив даже малейших попыток сопротивления, надлежало обманывать людей до тех пор, пока они не переступят порог газовой камеры.

— Не спорю, мы получали такие инструкции. Но их можно было выполнять по-разному: формально или рьяно. Я считал, что, произнося подобные речи, совершаю своего рода благой поступок.

— А почему не просто благой поступок? — поинтересовался судья.

— Признаться, не люблю оперировать религиозными понятиями — после того как со мной так несправедливо обошлись, мне трудно верить в существование Бога.

— Продолжайте.

— А вот мое участие в розыске тех, кто отказывался добровольно садиться в вагоны, — совсем другое дело. За это мне стыдно. Но я получал приказ: доставить столько-то евреев — и за невыполнение был бы сурово наказан. Личной вражды я ни к кому не испытывал.

— Ни к кому?

— У меня есть неоспоримое доказательство. Когда я провожал Якубовича, правую руку Румковского, мы с ним даже расцеловались. Кстати, насколько я знаю, он выжил. Был еще у меня зубной врач еврей... Шмулович. Вот этот мост, коренной и два зуба мудрости... — Бибов широко открыл рот. — Да разве я позволил бы копаться у себя во рту человеку, вызывающему у меня брезгливость?

— Да, это убедительно. — Судья явно утомился. — Что ж, я узнал примерно все, что хотел узнать. Пускай теперь вас допрашивают другие. Господа... Кто первый? Защита?

У Борнштейна был вид человека, вынужденного для спасения чужой жизни броситься в выгребную яму. Тяжело вздохнув, он поднялся.

— Вы узнаете сидящего здесь человека? — Он указал на Хаима, который при этих словах вздрогнул.

— Да, это председатель юденрата герр Румковский.

— За что он отвечал в гетто?

— За все.

— То есть и вы обязаны были исполнять его приказы?

— Ну нет, это он исполнял мои.

— Несет ли человек, исполняющий чужие приказы, хоть какую-то ответственность за содеянное?

— Мы все кому-нибудь подчинялись. Я выполнял поручения тех, кто стоял выше на служебной лестнице.

— Как вы считаете: господин Румковский хотел, чтобы евреи из гетто погибли?

— Нет, конечно нет.

— Если бы вы отказались возглавить администрацию гетто, вас бы отправили на фронт?

— Да, этим бы кончилось.

— А если бы господин Румковский отказался стать главой юденрата, его бы расстреляли, как членов предыдущего совета общины?

— Скорее всего.

— Как же вы сравниваете его и вашу ответственность?

— На фронте я бы тоже мог погибнуть от пули.

— Это единственная аналогия, которая приходит вам в голову?

— В настоящий момент — да.

— Как складывались ваши с ним отношения?

— Не скажу, чтоб они были идеальными, но мне бы хотелось иметь такие отношения со всеми своими сотрудниками.

— Он старый человек, верно?

— Я понимаю, что вы имеете в виду. Когда гетто, благодаря организационным талантам председателя, уже работало полным ходом, я решил оставить ему представительские функции, а в повседневных делах опереться на его более молодых заместителей. На Якубовича, Клигера. Хотя последний — тот еще фрукт.

— Я не это имею в виду. Скажите, в Бремене бьют стариков? Вы ведь избили этого седовласого человека.

— У людей, которые делают общее дело — а для меня таким делом была защита евреев, — часто случаются столкновения из-за несходства взглядов, это нормально. Во время войны стычки могут носить иной характер, чем в мирное время.

скажем, за чашкой кофе. Возможны и вспышки агрессии, о чем потом обе стороны жалеют. И даже иногда доходит до драки.

— Вы называете дракой избиение старика, который потом шесть недель пролежит в больнице? У меня есть показания свидетеля, печника по профессии, — он видел, как вы, схватив председателя за волосы, били головой об отопительный котел, пока не пробили насквозь...

— Он уже весь проржавел. Да и лечился председатель так долго, потому что очень заботился о своей внешности и не хотел появляться на людях с парой царапин. Ну скажите сами, господин председатель, не так уж это было страшно! У нас и хорошие минуты бывали. Я доверял вам, а вы — мне. Возможно, я не оправдал ваших ожиданий — ваши соплеменники не попали в Палестину, как вы им обещали, — но и мне потом не сладко пришлось!

Регина смотрела на неровно пульсирующую жилку у Хаима на виске. Она знала, чем это обычно кончалось. И сейчас он резко вскочил и чуть не упал — от долгого сидения ноги отказывались повиноваться. К счастью, Борнштейн ловко его подхватил.

— Господин Румковский! — воскликнул судья с явно притворным возмущением. — Вы, глава государства, король, всеобщий заступник, — и такая несдержанность?! Нехорошо! Сядьте на место. Простите, господин Бибов. У многих в этом зале, когда они на вас глядят, руки чешутся, но мы не для того здесь собрались. — И, повернувшись к защитнику, добавил: — Проследите, чтобы такая ситуация не повторилась... Всякое может случиться — кое-что надо предвидеть...

— Из уважения к вам, ваша честь, и из опасения вас обидеть умолчу о том, что, если бы вам пару раз удалось предвидеть, что́ может случиться, мы бы сегодня здесь не встретились, тем более на таком процессе... — Регина не ожидала, что Борнштейн осмелится дерзить судье, и испугалась, что реакция будет очень резкой, однако судью опередил Бибов:

— Все вы видели: я старался не говорить о Румковском ничего плохого, но больше не желаю сдерживаться. Ты забыл, сукин сын, как обгадил меня, когда тебя вызвали на комиссию? Думал, немцы не солидарны? Я обо всем узнал еще до того, как ты вернулся в гетто. Нужно было не измителить тебя, а продырявить твою пустую башку...

— Господин Бибов...

— Знаю, выражения слишком крепкие. Зато от души. Чего только я не делал для блага гетто! Сколько заказов для нас выпросил в городе! Сколько делал дорогих подарков, чтобы

привлечь клиентов! А начальство? Да я до самого конца твердил, что более дешевой рабочей силы, производящей хорошие и полезные вещи, мы нигде не найдем, а убедить тех, кто идеологию и застарелую предубежденность ставил выше экономической выгоды, было нелегко. Напомню также, что часто я по просьбе еврейских работников вмешивался, например, в распределение продовольствия. Сейчас, входя в зал, я заметил человека, который подал жалобу на то, что в Марысине отдыхают в основном руководители отделов, а не те, у кого самая тяжелая работа. Я проверил его слова и приказал разогнать эту шайку. Было так? Пускай присутствующие подтвердят...

В зале никто не отозвался; тишину нарушил потерявший терпение Борнштейн.

— Господин Бибов, отвечайте только на наши вопросы. Вы помните, сколько не евреев было в гетто?

— Конечно. Двадцать два человека. Поляки и польки, а также две немки.

— Откуда они взялись?

— В основном это были смешанные супружеские пары, которые не захотели расстаться.

— К ним в гетто относились так же, как к евреям?

— У них не было никаких привилегий. В конце концов, они сами выбрали такую судьбу.

— А теперь предлагаю выслушать человека, который абсолютно беспристрастно расскажет о том, как в гетто относились к свидетелю. Господин Бибов, присядьте на минутку, вот сюда, на свободный стул, а Янину Вонсик попрошу отвечать со своего места.

Все обернулись, потому что Янина Вонсик сидела в последнем ряду. Теперь она встала, опираясь на костыль. Молодая, вероятно, ровесница Регины, с грубоватым, но открытым и благородным лицом.

— Расскажите нам, как вы, полька и христианка, оказались в гетто.

— Я сирота, жила в деревне у дяди, работала на него, но он не захотел держать у себя калеку, и я лет за десять до войны уехала в Лодзь. — Голос у Янины был мелодичный, совершенно не вяжущийся с ее лицом. — Дядя не дал мне ни гроша, только заплатил за билет, и я два дня голодная ходила по городу. Когда сил уже совсем не осталось, наткнулась на кожевенную мастерскую Цукерманов. Мира и Зигмунт меня накормили и пустили переночевать. И я у них осталась...

— В прислугах?

— Сперва я убиралась в магазине, но потом они увидели, что мне по душе их дело, и папа стал учить меня ремеслу. Уже через два года я сшила первую сумку, которую купила очень модная дама.

— Вы сказали "папа"?

— Своих детей им Бог не дал, и они относились ко мне как к дочке. Когда немцы стали сгонять евреев в гетто, я собралась и пошла с ними, ведь кроме них у меня никого на свете не было.

— В гетто были и другие христиане. Вы с кем-нибудь познакомились?

— Негде было знакомиться. Как оно в большом городе: знаешь только соседей и тех, с кем работаешь.

— Вы работали на кожевенной фабрике?

— Да, вместе с мамой и папой.

— Вы когда-нибудь видели председателя Румковского?

— Два раза. Один раз он приходил к нам с проверкой... Помню, он тогда разнервничался и охаживал палкой тех, кто особенно на него наседал...

— Наседал? Почему? У людей были какие-то претензии?

— Просто хотели неделю отдохнуть в Марысине, но у него было только пять направлений, и он их отдал начальнику... А второй раз видела на концерте в его честь. Все заранее готовили номера. Даже меня просили выступить, но я ведь плясать не могу, а петь постеснялась. Господин председатель сидел в первом ряду, похоже, ему очень нравилось, он даже хлопал. Вот и все... Ага, еще я знаю, что за хорошую работу он хвалил, но мог и здорово отчехвостить того, кто не слушался.

— А если его сравнить с присутствующим здесь немецким руководителем гетто, господином Бибовом? Его вы когда-нибудь видели?

— Вблизи, упаси Бог, не видела... лучше было ему на дороге не попадаться. Как говорится, настоящий хозяин жизни и смерти. Пока всех не отправил в газовую камеру, каждого обобрал до нитки. Под конец отбирал даже вечные перья, зажигалки... Все, что могло пригодиться его помощникам.

— Вы были в гетто почти до конца. Не захотели поехать со своими приемными родителями?

— Как же, очень хотела. Уже было слыхать пушки, мы спрятались, но у мамы совсем сил не стало, а тем, кто добровольно соглашался ехать, давали хлеб. Мама сказала, что если сию же минуту чего-нибудь не съест, то все равно умрет, и пускай будь что будет. Конечно, я бы с ними поехала, но они и слышать не хотели. Я их проводила до вагона.

— И тогда впервые увидели Бибова вблизи?

— Не то чтобы вблизи, но разглядеть разглядела. Помню, на нем была белая рубашка с короткими рукавами и два пистолета за поясом. Вежливый такой... спрашивал, нет ли среди них хорошей кухарки, мол, на месте очень пригодится. Я сказала маме: "Разрешите мне поехать, готовить я умею, буду при кухне, и вам больше достанется". Но они уперлись. "Оставайся, — говорят, — нас, видать, везут на гибель. А ты живи, скажешь когда-нибудь о нас доброе слово..." Вот я и говорю, где могу... — Голос Янины дрогнул.

— Большое вам спасибо. От всех от нас, — сказал Борнштейн. — Мы будем помнить Миру и Зигмунта Цукерманов. Ваша честь, разрешите, я больше ни о чем не буду спрашивать этого Бибова.

— Как хотите. Ваша очередь, господин прокурор. У вас есть прекрасная возможность обвинить председателя в том, что он общался с людьми такого покроя, как герр Бибов.

— Простите, ваша честь, но вы обо мне плохо думаете. Я не намерен строить обвинение на показаниях негодяя. Есть горы документов, которые подтверждают, что Бибов сам убил нескольких человек, десятки тысяч отправил на смерть, унижал и насиловал женщин. О том, как он обирал всех подряд, уж не говорю. Я отказываюсь задавать ему вопросы. Палач, убийца, насильник открыто над нами издевается, а я должен его выслушивать? Скажу больше: я солидарен с господином Румковским... сам бы с удовольствием пустил в ход кулаки.

Пугающе бледное лицо Бибова порозовело. Знакомая картина: Регина угадала, что произойдет через минуту.

— Maul halten![1] Что он себе позволяет?! Я согласился сюда прийти, потому что хотел протянуть руку в знак примирения. Думаете, я целых пятнадцать минут болтался на виселице со сломанной шеей, чтобы теперь выслушивать наглые оскорбления? А синюшные пятна? Какой же я дурак, что позволил вам, евреям, себя провести! Но теперь все, хватит! — Бибов пнул стоящий перед ним нотный пюпитр. — И я рад, что этого зубного врача тоже отправил в печь...

Он повернулся и быстрым шагом направился к двери. В проходе между рядами сидящий с краю молодой человек подставил ему ногу, и Бибов чуть не упал. Кое-где раздались смешки, но быстро оборвались, потому что немец полез в карман — явно за пистолетом. И тут судья напомнил о своем существовании.

— Смирно! — рявкнул он.

1. Заткни пасть! (*нем.*)

Бибов немедленно расправил плечи и вытянул руки по швам.

— Ложись!

Он выполнил и эту команду, правда не по всем правилам — спина плохо ему повиновалась. Регина подумала: если он не врет про сломанную шею, то на ее глазах происходит чудо.

— Встать! — уже спокойно приказал судья.

Вставал Бибов долго, но наконец поднялся и выпрямился в ожидании следующей команды.

— Как, по-вашему, с кем вы сейчас имеете дело в моем лице, господин Бибов? — осведомился судья.

— Трудно сказать, наверно, с высшим правосудием.

— Поразмыслите об этом хорошенько. А теперь вон отсюда!

Если про человека можно сказать, что его ветром сдуло, то именно это произошло с Гансом Бибовом. Регина обрадовалась, и, видно, не она одна: по залу пролетел вздох облегчения. Судья уже думал о чем-то другом: она ушам своим не поверила, услышав:

— Марек, я вижу, тебе с нами скучно...

Марек действительно не отрывал глаз от двери, за которой скрылся Бибов, и Регине, чтобы мальчик понял, что к нему обращаются, пришлось толкнуть его в бок.

— Я открою тебе один секрет: этажом выше есть зеленая дверь. Поди туда и посмотри в окно. Я позабочусь, чтобы тебе никто не помешал. Только, пожалуйста, не пытайся спуститься по водосточной трубе — это по разным причинам невозможно... — ласково улыбнулся судья.

Повторять второй раз не потребовалось, но все же Марек вопросительно взглянул на Регину и, только когда она кивнула, встал, вежливо поклонился судье, потом Хаиму в затылок и пошел к двери. Видно было, что он с трудом удерживается, чтобы не подскакивать от радости.

<...>

Регина несколько раз видела Волицкого, но ей в голову не приходило, что от него можно такое услышать. А ведь Хаим велел поднести ему рюмку водки, когда на следующий день после их свадьбы он пришел вставить оконное стекло, потому что ей было холодно.

— Председатель распрямился, помолодел, лихой такой стал. Те, кто знал его до войны, диву давались. А уж как командовать любил... Молоденькие секретарши, потом молодая и образованная жена... Ради нее он даже судебный приговор мог отменить.

Знай она, что это за тип, вставлял бы стекла в другом месте.

— Расскажите нам об этом. — Прокурор смущенно взглянул на Регину, будто извиняясь: мол, он всего лишь исполняет профессиональный долг.

— Она как-то выступала в суде по делу о растрате, и ее клиенту вынесли обвинительный приговор, а председатель тут же его отменил. Он мог все. Но такая женщина... разве она подходила этому старому хрычу?

В зале послышались нервные смешки, а Регина почувствовала, что краснеет.

— Это, разумеется, беспристрастное мнение, у свидетеля супруга на двадцать лет старше и регулярно его поколачивает. — Голос Борнштейна был слаще меда. — Видимо, по его представлениям, жить с молодой женой не легче, чем взбираться на гору Синай.

— Господин защитник, делаю вам замечание... — Судья отвлекся — ему принесли какое-то сообщение. — Придется прервать допрос свидетеля: у нас опять гость — на этот раз из Австралии. Жаль, но ничего не поделаешь: сами понимаете, разница во времени... Госпожа Хоркхаймер, сюда, пожалуйста... — И обратился к залу: — Вам следует знать, что Иоханна Хоркхаймер — автор множества книг, одна из которых в Нью-Йорке полгода продержалась в списке бестселлеров... Если кто-то не слышал о бестселлерах, поясняю: пользовалась большим успехом.

Регина обратила внимание, что Хаим впервые обернулся, чтобы посмотреть, кто входит в зал. Элегантная дама направилась прямиком к месту для свидетелей, хотя никто ей не указал, куда идти. В руке у нее была книга.

— Спасибо, что потрудились проделать столь долгий путь. — Судья с интересом разглядывал даму.

— Чтобы дать показания по такому делу, я бы с того света приехала, — слегка кивнув, заявила она.

— Я бы сказал, на том свете было решено вас отыскать. Нам повезло, хотя, признаться, нелегко пришлось. Вы попали в гетто из Ганновера?

— Да, по сравнению с Лодзью там был рай. Я приехала с родителями и сестрой.

— Я бы вас попросил не упоминать о рае.

— Простите, я только потому так сказала, что в Лодзи мои родители умерли от голода, а сестру, которой всего трех недель не хватало до одиннадцати лет, увезли вместе с другими детьми, и она погибла в душегубке.

— Что вы можете сказать о присутствующем здесь господине Румковском?

— Не больше того, что написано у меня в книге. Я старалась не пропустить ни одного факта.

— А ничего не добавлять вы тоже старались? — спросил Борнштейн.

— Не судите о том, чего не знаете, — оборвал его судья. — А вас, — обратился он к свидетельнице, — прошу учесть, что большинство присутствующих никогда не прочтет вашей книги. Да и я, не скрою, лишь бегло с ней ознакомился. Однако я понял, что́ вы хотели сказать, и спрашиваю только для порядка: почему спустя столько лет вы даже взглянуть в сторону обвиняемого не желаете?

— Если ваша честь рассчитывает услышать, что от страха, к сожалению, вынуждена вас разочаровать. Я просто не хочу слишком открыто выказывать омерзение.

Регина заметила, что Хаим, как и всегда в минуты сильного волнения, начинает почесывать запястья.

— Каковы же причины столь сильного омерзения?

— Я познакомилась в гетто с двумя девушками, они рассказали про его домогательства — еще до войны, в приюте. Я подумала: раз уж мне удалось выжить, я перед ними в долгу. И поэтому изложила в книге то, что от них услышала.

— Их рассказам можно верить? Я спрашиваю, потому что мы судим господина Румковского за другое, и ваше свидетельство может ему повредить.

— Эта трагическая история известна мне до малейших подробностей, и я очень точно все описала. У меня с собой около двадцати экземпляров книги, я с удовольствием их раздам...

— Вряд ли это потребуется, тем не менее благодарю вас от имени всех, кто здесь находится. А теперь расскажите о вашем личном общении с Румковским.

— После смерти моих родителей он пообещал устроить меня на кухню, а это означало дополнительную вечернюю порцию. Румковский сдержал обещание. Зная о его склонностях, я старалась не попадаться ему на глаза, но однажды он сам подошел и спросил, довольна ли я. Я ответила, что очень довольна. Тогда он поцеловал меня в щеку, приобнял и спросил, правда ли, что у меня есть родственники за границей. Я сказала, что двое моих дядьев со своими детьми живут в Палестине. "Значит, когда закончится война, дядюшки захотят тебе помочь. Обещай, что ты им расскажешь, сколько я тебе сделал добра". Я, конечно, пообещала — тогда я что угодно готова была обещать. Он сказал, что зайдет через несколько дней, и ушел. Я надеялась, забудет, но он опять пришел. Сел рядом, а потом взял мою руку и положил... ну, понимаете, на известное место... и стал водить ею туда-сюда. Я попыталась вырвать руку, но хватка у него была железная...

Хаим уже чесал ладони — такого Регина за ним никогда не замечала.

— Так он приходил месяца полтора и всегда делал одно и то же. Бежать было некуда, я могла только подойти к проволоке и дожидаться пули. Ну и голод... кто не голодал, не поймет, на что способен человек, ради того чтоб наесться. Я была пленницей, а он решал, останусь ли я в живых. Потом я заболела, а пока болела, кухню закрыли. Еды стало меньше, но я почувствовала себя свободной. Кто-то из местных мне рассказал, что перед войной ему грозил суд за то, что он в приюте приставал к девочкам. Я от разных людей слышала... Вам не страшно?

Регина любила театр, и ей были знакомы разные оттенки тишины, воцарявшейся по ходу действия в зале, но эту тишину она бы описать затруднилась. Хаим вскочил, но тут же сел, не дожидаясь, пока ему сделают замечание.

— Вы что-то сказали? — поинтересовался судья и, не услышав ответа, добавил только: — Все это очень печально. У вас есть вопросы, господа?

— Нет, — сказал Вильский.

— Мне стыдно за моего клиента! — выкрикнул Борнштейн.

— Это вашему клиенту должно быть стыдно — конечно, если он виноват. Успокойся, молодой человек, и займись своим делом, ты здесь для того, чтобы его защищать.

— Тогда я задам свидетелю один вопрос. — Защитник встал и повернулся к госпоже Хоркхаймер: — Когда господин председатель положил вашу руку, как вы изволили выразиться, на известное место, что вы там обнаружили?

— Ничего не обнаружила. И девушки, все как одна, говорили, что он импотент.

Регина не сомневалась, что в зале нет ни одного человека, который бы на нее не уставился. К счастью, стул, на котором сидела ее золовка, был пуст. Единственное утешение: у глупой бабы не будет оснований для злорадства.

— То есть маневры, которые проделывала ваша рука, были сродни... скажем, похлопыванию по плечу?

— Если вы так считаете, *похлопайте* Румковского. Только не при детях.

— Вы напрасно иронизируете, я всего лишь подчеркиваю, что при оценке поступков господина председателя такой серьезный недуг, как импотенция, следует признать смягчающим обстоятельством.

— Это все, о чем вы хотели спросить свидетеля?

— Да.

— Тогда от имени защиты вопрос задаст обвинение, — вмешался Вильский. — Почему, беседуя спустя много лет с польскими студентками, вы ни словом об этом не обмолвились? Кого как не молодых женщин необходимо предостерегать от подобных типов?

— Поймите меня правильно. Я не сочла нужным в стенах польского университета копаться в нашем грязном белье. Об этом человеке надо как можно скорее забыть.

— В таком случае и я попрошу слова. — Борнштейн вскочил. — Выходит, цель вашей книги — помочь поскорее забыть о председателе Румковском?

— Не отвечайте на этот вопрос — защита просто норовит досадить свидетелю. — Судья добродушно усмехнулся. — Но от себя можете еще что-нибудь добавить.

— Добавлю только одно: все дети, которые по его приказу были усыновлены высшими должностными лицами, и даже этот славный мальчуган, которого он взял с собой в последний путь, должны были в будущем стать его охранной грамотой, послужить свидетельством его доброты. Я полагаю...

— Благодарим вас, достаточно. Надеюсь, мы еще встретимся — по более приятному поводу.

Иоханна Хоркхаймер уже выходила, когда Хаим попытался что-то крикнуть ей вдогонку, но внезапно закашлялся. Борнштейн немедленно подбежал и несколько раз стукнул его по спине. Регина видела, как трудно Хаиму снести подобное панибратство. Судья, подождав, пока он перестанет кашлять, сказал:

— Хорошо, что сейчас с нами нет Януша Корчака — ему было бы крайне неприятно все это услышать... А теперь, хотя момент исключительно неподходящий, объявляю художественную часть. Вы все заслужили небольшую передышку. Только давайте назовем это не концертом, а, скажем, выездной сессией суда. Вам покажут, куда идти. Форма одежды — повседневная...

<...>

Всему хорошему когда-нибудь приходит конец, подумала Регина. Несмотря на скандал, полтора часа, проведенные в театре, оказались как раз тем, о чем она последние четыре года мечтала. Будь ее воля, она бы просидела в затемненной ложе до конца жизни, сколь бы жалкими ни были потуги актеров воплотиться в персонажей шекспировской пьесы, что бы ни выкрикивали и что бы ни швыряли на сцену зрители. Но к возвращению в зал суда она отнеслась спокойно и даже не поморщилась, когда охранник в гражданском грубо велел ей поторопиться.

Народу в зале заметно поубавилось, и на скамье присяжных недоставало двоих. Регина села и заставила себя сосредоточиться на показаниях очередного свидетеля.

— Чепуха все это, мало ли что люди болтают. Не было никакого салон-вагона. Я своими глазами видел, как он с семьей садился в обычный вагон. С женой — вот она, здесь сидит, — и мальчонкой, которого они усыновили. Еще там был его брат Юзеф с женой... Для удобства им подставили лесенку. Бибов с ним попрощался по-приятельски, даже похлопал по спине...

Регине не нужно было смотреть на мужа — она знала, что при словах "похлопал по спине" у него по этой самой спине побежали мурашки.

— Минут десять он еще мог думать, что весь вагон — их. Но как только Бибов отошел, солдаты, будто нарочно, забили вагон до отказа...

Что-то заставило ее взглянуть на судью. И хорошо, что взглянула: тот смотрел на нее, театральным жестом обхватив руками свою седую голову. Потом повернулся к Хаиму:

— Я понимаю, что́ вы сейчас испытываете. Даже такие мелочи выдумывают, чтобы поставить вам в вину... Но тут есть и хорошая сторона: возможно, рассказы о том, что в Аушвице вас уже поджидали жаждущие мести лодзинские евреи, служившие в зондеркоманде, тоже окажутся вымыслом. И уж тем более легенда, будто они выкупили вас у немцев и, с надлежащими почестями проведя по лагерю, живьем бросили в печь крематория. Так или иначе, я слышал из достоверных источников, что встреча была горячая... простите за невольную игру слов... и вы, как и все остальные, до последней минуты надеялись, что из душа пойдет вода... А что может быть прекраснее надежды? Ну да ладно... теперь ваш черед, господа: ждем от вас заключительного слова...

— Ваша честь, — вскочил со своего места Борнштейн, — поскольку у нас допускаются нарушения процедуры, можно. я выступлю первым?

— Если обвинитель не возражает. — Судья развел руками. а Вильский жестом показал, что не возражает.

— Благодарю, — Борнштейн нервно поправил галстук. — Прежде всего хочу сказать, что я многому научился на этом процессе, и не только потому, что впервые выступаю в роли защитника. Всем нам известные обстоятельства не позволили мне закончить университет, хотя, даю слово, в Гейдельберге на третьем курсе я занял первое место на ораторском конкурсе и вообще, как говорили, подавал надежды. Но теперь мне будет легче смириться с тем, что я не стал дипломи-

рованным юристом, — ради участия в таком процессе стоило расстаться с жизнью. Приношу глубокую благодарность за предоставление мне такой возможности, — он поклонился судье. — Что заставило вашу честь выбрать именно меня, я буду гадать, пока способен размышлять здраво...

— Чтобы вас не огорчать, не скажу, что вы просто подвернулись под руку.

— Все равно спасибо: оказаться у вас под рукой — далеко не пустяк. Кроме того — пускай это покажется странным, — я благодарю господина председателя за то, что возникла необходимость его судить... Для меня это поистине счастливое обстоятельство...

Судья только хмыкнул.

— А теперь перехожу к сути. Вероятно, всем вам известны знаменитые слова Сен-Жюста, которые он произнес на суде над Людовиком XVI: "Невозможно царствовать и не быть виновным".

Борнштейн словно бы специально обращался к присяжной Хае Бубер, которая до войны держала лавочку на Вольборской и не знала не только этих слов, но и многого другого. Регине это показалось дурным тоном и уж никак не смешно.

— Можно ли отнести высказывание Сен-Жюста к моему подзащитному? Казалось бы, безусловно, но я против: очень уж напрашивается такая ассоциация, да и чересчур было бы эффектно. Господин председатель по природе своей человек властный. Он долго руководил сиротским приютом, а в таком заведении, как и в казарме, тюрьме или психиатрической лечебнице, все сферы жизни подконтрольны начальнику. Уже тогда дети дарили ему самоделки и распевали: "Наша мать — земля, отец наш — Хаим Румковский". Он был абсолютным властелином, но руководствовался — если не прикидывался — исключительно добрыми намерениями. Уже в 1927 году он говорил, что приютских детей нужно воспитывать как будущих земледельцев или ремесленников. Ибо только в людях таких профессий, по его мнению, нуждается Палестина, куда он мечтал отправиться вместе с нами...

Регина старалась угадать, как будет дальше строиться линия защиты. Подчеркивание деспотичности характера Хаима не показалось ей удачным ходом. А уж упоминание детей и сиротского приюта и вовсе могло сыграть против него.

— Неожиданно — притом на склоне лет — наш диктатор наконец получает подходящую должность. Его задача — создать с нуля государство-тюрьму, где подданными будут уже не дети, а самые разные представители еврейского народа...

Защитник больше не смотрел на бедную Хаю Бубер. Расправив плечи, он повернулся к залу. Так поступал Регинин шеф, но только когда уже почти ничего не мог сделать для своего клиента.

— Мой подзащитный добивается больших успехов. Наконец-то он может сказать: "Мое гетто подобно маленькому царству". — Борнштейн низко поклонился Хаиму. — Этот человек, до сих пор не игравший заметной роли в обществе, внезапно осознает себя ангелом-хранителем всех лодзинских евреев. Мало того: когда прибудут эшелоны с западноевропейскими евреями, он почувствует себя ответственным за весь мир. А при случае сможет свести счеты с этими вроде бы образованными и просвещенными гордецами, до сих пор понятия не имевшими, что на презираемом ими Востоке есть человек, который проведет их по пустыне. Как единодушно утверждают свидетели, он значительно помолодел. Заметим, что после сорок второго года, когда его влияние в гетто ослабевает, председатель начинает быстро стареть. Он до такой степени любит власть, что его тело расцветает с ее обретением и увядает с утратой. Если даже это безумие, то оно всосано с молоком матери, и я прошу считать это смягчающим обстоятельством.

Бедняга старался изо всех сил, но достаточно было мельком взглянуть на Хаима, чтобы понять: линия защиты ему не нравится.

— А теперь я сошлюсь на другое мнение. Иммануил Кант утверждает, что обладание властью неизбежно вредит практическому разуму. Если применить это суждение к моему подзащитному, то не окажется ли, что великий философ ошибался? Ведь господин председатель до конца руководствовался продуманными — правда, весьма своеобразными — соображениями. "Я люблю детей, но тем, кому нет десяти лет, не могу помочь — зато уцелеют дети постарше, а с ними и взрослые. Чахоточные все равно умрут, так что давайте спасать здоровых. Удалим больные ветки, чтобы спасти дерево". Не является ли подобный ход мыслей отражением практического разума? Скажете, это жестоко? А каким должен быть разум в эпоху невиданной доселе жестокости? Впрочем, хватит об этом, пора ответить на самый простой вопрос. Хотел ли вообще мой подзащитный спасать евреев? Я убежден, что в этом зале не найдется ни одного человека, который скажет: нет.

Защитник прошелся между рядами, выискивая хоть какие-нибудь признаки протеста. Ничего не обнаружив, он вернулся на место и продолжил:

— Хотел, страстно хотел. Верил, что если будет покорно служить и приносить пользу немцам, то сумеет живыми про-

вести нас через войну. Он проиграл; если бы не счастливое стечение обстоятельств, погибли бы и последние пятьсот, для которых уже были вырыты могилы. Хорошо вам известный Маймонид говорил, что лучше погибнуть, чем продать хотя бы одну душу Израиля. За иллюзорную надежду спасти народ господин председатель продал не только свою душу. Но если б мне и моим родным удалось выжить, разве сейчас я бы вспоминал о проданной душе? Я просто радовался бы жизни...

В зале повисла тишина, не сулившая ничего хорошего. Регина ждала, что вот-вот раздастся какое-нибудь оскорбительное восклицание.

— Получается, что мой клиент похож на заслужившего всеобщую ненависть римского императора Гальбу, да? Отчасти это так — ведь даже если бы большинство обитателей гетто дождались освобождения, судьбе председателя вряд ли можно было бы позавидовать... — Борнштейн нервно сплел пальцы. — Поэтому самое время задать вопрос: каким человеком был господин Румковский, если за все, что он сделал, мы не только не испытываем благодарности, но многие готовы потребовать для него сурового наказания?

Быть может, она недооценивает адвоката, быть может, он придумал какой-то очень хитроумный способ защиты?

— Ответ возможен только один... — Борнштейн выпрямился и обвел взглядом зал, а затем подошел к Румковскому, который даже не поднял головы. — Он плохой человек, очень плохой. Мог он в сложившейся ситуации вести себя лучше? Нет, ибо ему были свойственны властность, непотизм и гордыня... Что же из этого следует? А то, что обвинять моего уважаемого клиента можно исключительно за его характер... Чудовищный, да — ну и что? В таком случае... — тут Регина вздрогнула, — напрашивается следующий вопрос. Стоило ли тратить время — наше и всех тех, кто впоследствии будет читать отчеты об этом процессе? Тратить время только ради того, чтобы осудить глупца, который уверовал в свою непогрешимость и умудрялся вести себя так, что, не будь я защитником, а он — человеком преклонных лет, я бы его отколотил его же собственной тростью? Сделать я этого не могу, но... могу вообразить, *как* я бы это сделал!

Он неожиданно вырвал трость у Хаима из рук и ударил по стоящему рядом стулу. Удар был не сильным, но прозвучал как выстрел. Во второй раз Борнштейн замахнулся тростью, держа ее обеими руками, как топор палача. Хаим, понимая, что ему никуда не скрыться, только заслонил голову руками, а защитник, побагровев, как безумный колотил по стулу. Судья заткнул уши, но даже не попытался его остановить. Наверно,

так и надо, подумала Регина, что́ можно сделать с безумцем, впавшим в ярость? Тут бы и десять мужчин не справились. Наконец стул развалился на куски, и Борнштейн, отбросив трость, стал успокаиваться. Регина увидела, что Хаим, схватившись за сердце, оседает на пол. Бросилась было к нему, но ее опередил прокурор.

— Ваша честь, прошу привести обвиняемого в чувство — он должен слушать, а не искать убежища в безопасном забытьи! — Борнштейн решительно отстранил их и, подтянув за лацканы, усадил обмякшего Хаима обратно на стул. — Повторяю вопрос: стоило ли тратить время на моего клиента? Да, да и еще раз да! Тщеславие, позволившее ему поверить в собственную исключительность, заслуживает суровой кары. Нужно выбить у него из головы ложное представление о себе, как о добром, заботливом отце евреев, и показать, что он был всего лишь чванливым глупцом! Пусть приговор будет суров... Пусть наказанием для него станет то, что в нашей памяти он навечно останется таким, каким был!

Регина ждала, что после этих слов в зале поднимется шум, но услышала только несколько слабых хлопков — казалось, у людей уже иссякли силы. В руках у судьи невесть откуда появился деревянный молоток — такой она видела в фильме Фрица Ланга[1]. В зале мгновенно стало совсем тихо.

— Обвинение хочет что-нибудь добавить? — спросил судья.

— Лучше я сказать не сумею, хотя успел до войны закончить университет и даже добился кое-каких успехов. Благодарю вас, коллега... — Вильский поклонился Борнштейну, который еще дрожал от ярости. — Мне нечего добавить. Кроме одного: даже если кто-то из халуцим[2] обвиняемого выживет и попадет в Палестину, он услышит там, что уцелел только благодаря эгоизму, душевной черствости и жестокости бывшего председателя юденрата. Пусть это будет для подсудимого дополнительным наказанием.

— Очень сожалею, но предположение не есть доказательство. А вас попрошу удалиться на совещание, — судья обратился к почти опустевшей скамье присяжных, а затем посмотрел на Регину. Она опустила голову, теперь уже понимая, почему, несмотря на ее протесты, Марека не впустили в зал.

1. Фриц Ланг (1890–1976) — немецкий кинорежиссер австрийского происхождения.
2. Халуцим (*ивр.*) — пионеры, первопроходцы. Термин применялся к евреям-переселенцам, осваивавшим Палестину.

Валентин Курбатов
Свидетели преходящего

Похоже, теперь и везде так — литература "собирает вещи" и окончательно переезжает в город. И, по возможности, если не в столицу, то хоть в губернию. Во всяком случае — наша литература. И даже если писатель еще напишет деревню или провинциальный городок, то уж со снисходительностью взрослого перед ребенком, "понимая" и улыбаясь своему "пониманию". Словно и человеческие страсти тоже переехали туда, где пошумнее и посветлее, где их лучше видно. И "Последний срок" (В. Распутин) и "Последний поклон" (В. Астафьев) действительно оказались последними.

Конечно, все не так прямо. Пишет еще свою Тамань Виктор Лихоносов, свою оренбургскую деревню Петр Краснов, свою приенисейскую жизнь Михаил Тарковский. И уж если вглядеться как следует особенно в малые нынешние тиражи, которые и для своего-то малого угла бедны и, как гоголевское колесо, до Казани, может, еще доедут, а уж до Москвы точно нет, так найдутся еще у провинциального русского сердца свидетели и заступники. Но на глубине и в сердце явления все-таки и "срок", и "поклон" последние.

"Деревенская литература" простилась с коренным русским человеком, который еще был народом, слышал и сознавал в себе святогорову силу и вековую прочность. Народ — это земля, дом, традиция, долгая история, единство если не веры, то идеи. А когда все эти понятия вдруг стали "провинциальны", то и литература отринула старые добродетели для новых чувств и страстей — мимолетных и ярких, как обложки приютивших их книг. Я заслонюсь тут цитатой из последней большой повести В. Распутина "Мать Ивана, дочь Ивана", потому что там диагноз нашей ширящейся болезни поставлен с горькой верностью и неуклончивостью:

Всегда казалось само собой разумеющимся, заложенным в основание человеческой жизни, что мир устроен равновесно, и сколько в нем страдания, столько и утешения. Сколько белого дня, столько и черной ночи. Вся жизненная дорога выстилается преодолением одного и достижением другого. Одни плачут тяжелыми, хлынувшими из потаенных недр слезами, другие забывчиво

смеются, выплескиваясь радужными волнами на недалекий берег. Да, впереди всегда маячил твердый берег, и в любом крушении всегда оставалась надежда взойти на него и спастись. Теперь этот спасительный берег куда-то пропал... отодвинулся в бесконечные дали, и люди теперь живут не ожиданием спасения, а ожиданием катастрофы.

И, конечно, по естественной близости взгляда все казалось, что это только у нас мир так "поехал", берега и границы истончились и материя жизни "поползла", пряча ветхость за яркими заплатами. А "их" фолкнеровские Йокнапатофы и маркесовы Макондо стоят в своей провинциальной вечности, и время бессильно откатывается в своем прибое перед их нерушимой вселенной. Как стоят болгарские деревни Й. Радичкова и П. Вежинова, португальские села Ж. Сарамаго, ирландские нищие селения Юджина Маккейба и итальянские городки ди Лампедузы.

Ведь вот вроде и здесь, в представляемой нами сегодня прозе, как недвижны бедный венгерский городок Горедон у Иштвана Силади и иранская деревня нянюшки Рабабе и голубоглазого мальчика у Мухаммада-Казема Мазинани, или ирландское фермерское село у Макгахерна. Три бесконечно разных традиции и культуры, а послушайте, о чем думают герои, как глядят на мир, — и покажется, что через дорогу живут.

Живут в тех местах виноградари, ходят кто в сапогах, кто в лаптях. Упрямо ходят по воскресеньям в церковь — еще упрямее богохульствуют. Так сложилось на протяжении десятилетий и столетий: ранним утром базарного дня крестьяне и мастера под виноградную палинку, добрым словом поминая Бога, сидели и ждали часа, когда можно будет приниматься с чистой совестью бороться друг с другом, пытаясь перехитрить друг друга (Иштван Силади).

Нарушался закон, по которому каждый должен оставаться там, куда попал с рождения, как ласточки или там дрозды. Переходили в другую веру по двум-трем причинам — деньги или положение в обществе, что, впрочем, чаще было одним и тем же (Джон Макгахерн).

Сельский район, где каждый знает о каждом все от имени до привычек, поступков и пристрастий. Наверное, если бы не появился отец голубоглазого мальчика, Азиз-Ханум так и сидела бы до полудня и рассуждала о своем пропавшем внуке (Мухаммад-Казем Мазинани).

Так бы с улыбкой и подхватил цитатой из Юджина Маккейба ("Иностранная литература", 2009, № 12):

— Не позволю срамить меня перед всей деревней!

Чего бы кто из нас ни делал, мы срамили ее перед всей деревней! И никто ей так и не растолковал, что "вся деревня" не знает и знать не хочет, живая ты или мертвая. Что всем в деревне наплевать на всех, кроме самих себя, любой дурак тебе это растолкует, и он же, дурак, знает, что нету в Ирландии такой семьи, какой не в чем было бы стыдиться.

Можно было бы выписывать любые другие абзацы, и, когда бы у рассказов и фрагментов романа сегодняшней подборки не было сюжета, а только этот общий вступительный быт, герои скоро смешались бы, став семьей с простыми тревогами. И мы бы снова убедились, что "в вечной тяжбе с небом (как говорил в Нобелевской лекции Уильям Фолкнер) земля на стороне людей" и она легко делает их братьями. И эти бедные повести окликнули бы другие книги, в свое время так же рассказывавшие о своих деревнях, крестьянах, фермерах и своих малых городах с их воскресными базарами и бедной расчетливой торговлей. И показалось бы, что жизнь по-прежнему проста, как песок, и неизменна, как смена времен года, и различна разве только одеждой и речью героев с одинаково натруженными руками и бедными заботами о хлебе насущном. И наши "срок" и "поклон" не были бы последними.

Но в том-то и дело, что сюжет во всех сочинениях есть, и он и есть время, которое протискивается в жизнь этой плохо прикрытой дверью. И пока сюжет еще привычен как тысячелетний быт и состоит в том, на чем всегда держалась литература, — на любви и предательстве, которые всегда таинственно связаны, словно носят семена друг друга, то мир еще надежен и при печали происходящего все равно успокаивает сердце. Как успокаивают его рассказы ирландца Макгахерна, где и зло, вольное и невольное, словно вынуто из старых сундуков, так что, выслушав истории грубого Эдди Мака и доброго Уильяма Кирквуда, можно только сказать, что так было всегда. Что и сто, и двести лет назад люди причиняли друг другу страдание своей корыстью и желанием жить получше. Можно было найти эти рассказы на старых книжных развалах и пережить с тем же чувством печали и покоя — вот, значит, как еще бывает на свете и, выходит, люди всегда были таковы.

Но, вслушавшись в самые как будто консервативные в нашем контексте рассказы Макгахерна повнимательнее, все-та-

ки с внутренней трещиной отметишь, что и в этом ирландском незыблемом быте и мире вдруг потянуло сквозняком новизны. Зло как будто полегчало. Ну что же, думают герои, раз нельзя сделать так, чтобы зла не было, пусть уж будет как будет, авось как-нибудь все разойдется. Только чьи-то сердца сожмутся в беззащитности, но это уж будет после точки, мы уж этого не увидим, и еще можно обмануть себя, что все и вправду обойдется. И покоен-то выйдешь из рассказов, покоен, а ноги-то все-таки от сквозняка подожмешь.

И если бы публикация открылась этими рассказами, мы были бы вернее приготовлены к тому, что случится в венгерском городке и в иранской деревне. А там уж случится совершенно нынешнее, наше — уже "переехавшее". В городке совершится спокойное, почти "интеллектуальное" убийство, а в деревне однажды остановится поезд с вагоном, который будет лететь за составом сам по себе, и из него вынесут то, что наши недавние хроники звали "груз 200", — тело голубоглазого мальчика, чья душа осталась на вечно длящейся войне, под которую читатель волен подставить свою страну, свои годы и своего врага, потому что война стала повсеместна — иранская, афганская, чеченская, палестинская...

Жизнь та же, те же небеса и та же, разве более истощенная историей земля, еще помнящая согласие с человеком и умеющая ответить ему, как отвечает мальчику по кратком возращении с войны ("...И воробьи на абрикосовом дереве вдруг зачирикали; и коровы в хлеву громко замычали, и няня Рабабе побежала за курильницей и рутой, а мать паренька вдруг так пронзительно вскрикнула, что воробьи и коровы замолчали"). Или как ответит барышне из романа Силади утро, еще не успевшее узнать, что свершилось ("Пока она стояла на крыльце, звуки раннего утра: петушиное кукареканье. поросячий голодный визг, бряканье подойников и ведер. скрежет открывающихся ворот, собачий лай — все городонские шумы, звучавшие или лишь собирающиеся звучать, двинулись к ней...").

Но мы уже не поверим этому согласию и вчера несомненному союзничеству земли и человека.

Мы с возрастающим изумлением будем вслушиваться в диалог еще молодых и земных героев романа Иштвана Силади, в разматывающуюся на наших глазах психологическую паутину. Где, когда они нажили эту метафизическую тонкость, которая особенно в еще косноязычном лепете деревенского виноградаря только мучительнее? Герой бежит в Америку не за заработком, как его товарищи, а чтобы преодолеть свою призрачность в любовном романе с городской барышней, которая

вроде и с ним, но никогда не будет его, словно она всегда обнимает ветер. Да и она, кажется, убивает его, чтобы самой перестать быть тенью. Поневоле померещится, что Америка тут не страна, а какая-то метафора другого порядка жизни, что именно с ее появлением на карте мира явился и соблазн своеволия. И земля потеряла власть над человеком даже там, где человек не поднимает глаз в вечной работе.

Небо отделилось от земли, и человек оказался наедине с собой без вековечной защиты традиции. Не зря в самом начале венгерского романа "бесшумно сомкнулись тяжелые двери" пролога — они сомкнулись над навсегда ушедшим днем. И вагон с грузом гробов, покрытых трехцветными флагами, не зря неотделим от поездов, летящих по железным дорогам мира. Смерть торопится утвердиться в равноправной повседневности и притвориться естественной.

И дело, конечно, не в сюжетах, как бы они ни казались жестоки и как бы ни протаскивали молодую бесчеловечность времени, от которого не укрыться и в самом глухом углу мира. А в том, *как* авторы пишут это время, с каким уже явно ощутимым художественным остранением. Уж они не сорвутся в публицистику, как наши "деревенщики", которые, когда сердце не выдерживало происходящего, легко забывали в себе художников для прямого суда. И даже не станут, как Фолкнер или Маркес, из сочинения в сочинение чертить свои Йокнапатофы и Маконды, чтобы мы сами по внушенному нам устойчивому духовному порядку мира догадались, где изломалась жизнь.

Они, как Макгахерн, будут писать "как ни в чем не бывало", словно не замечая увечья дней. Или, как Иштван Силади, тайно наслаждаться драматизмом перемен в быте "людей пусты" (так назывался лучший из "деревенских романов" Венгрии, с медлительной нежностью написанный Дюлой Ийешем), потому что вторгшееся в покой мира время даст ему повод быть прекрасным художником, умеющим остановить полет паутины. Или, как Мазинани, — соткать ковер еще не очень крепкой руки с хорошей памятью об узорах Востока. Хотя узор будет непрочен, может быть, и не от молодости автора, а оттого, что рисунок поврежден ввезенным чужой цивилизацией вагоном мертвых, который с неотвратимой настойчивостью преследует поезда живых, пока смерть не накроет трехцветным флагом злой идеи или веры, и людей, и птиц, и цветущие деревья, пока солнце не станет черным.

Сердце медленно потемнеет после чтения и, как ни обманывает себя, что вот не у нас только, а во всем мире так, не будет утешено даже милыми новеллами Казимежа Орлося, на минуту вернувшими нам воспоминание о дивных цветах де-

ревенской прозы Юрия Куранова, Георгия Семенова или Юрия Казакова.

Так вот, значит, куда поворачивает мир. Он медленно становится "текстом". Я как-то прочитал у Борхеса, что "всякий язык представляет собой алфавит символов, употребление которых предполагает некоторое общее с собеседником прошлое". Мы обнимаемся этим прошлым, воскресаем из дроби разделяющих дней памятью времен, когда "земля была на нашей стороне" и нам легко было протянуть руку через сеть символов, чтобы встретить другое сердце, которое выросло в том же порядке человеческих работ, рассветов и полдней, дождей и зноя, любви и веры. И астафьевская Овсянка была родной сестрой Маконды, так что, когда опасно заболевал писатель в одной части мира, его товарищ из другой — мог прокричать через океан "Маркес, не умирай!", и Маркес слышал Астафьева и восставал для жизни.

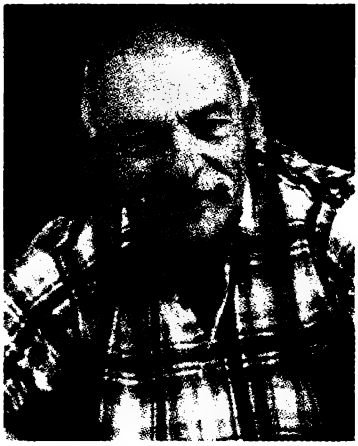
А сегодня я все острей вижу, что символы сами торопятся стать "общим прошедшим". И мы братаемся уже не самой землей, не плотью бедных святых трудов, от века диктуемых временем года, порядком сева и жатвы, рождением детей, сменой свадеб и похорон, а *литературой* об этих трудах и днях. И еще тоскуем по райскому единству и цельности мира, но глядим уже не на родных стариков и слушаем не листву родных садов и щебет ласточек под стрехой, а отражение их у Вергилия и Толстого, Ийеша и Сарамаго, Вежинова и Распутина. Незаметно по словечку нашим домом становится слово, литература, текст. И печаль о чужой судьбе сменяется удовлетворением от прочтения страницы об этой судьбе.

Это давно стало так в городской интеллектуальной литературе, от которой мы еще так недавно укрывались в сопротивляющемся мире "деревенской". Теперь пришла и ее пора. Жизнь все чаще глядится в зеркало слова. И я уж и не знаю, не обманываю ли себя, но все ухватываюсь за мысль, что в деревне и малом городе жизнь все-таки еще греется медленно на глазах уходящим, но дотягивающимся до нашего сердца земным теплом. Солнце и там уже закатное, но оно еще солнце. И земля и память еще не сдались окончательно, и мы не вовсе забыли их голос, чему лучшее свидетельство сошедшиеся в этом номере авторы, чьи герои еще могут заплакать и улыбнуться над судьбой друг друга. И слово еще подождет торжествовать окончательную победу.

Но тревоге уже не уйти.

Псков

Иштван Силади



Камень в сухом колодце

Фрагменты романа

Перевод с венгерского и послесловие Ю. Гусева

Этой зябкой мартовской ночью и перед сиятельным князем бесшумно сомкнулись тяжелые двери: рассветным росам грядущих эпох больше не смачивать сафьяновые княжеские сапожки. Не скакать ему больше, прячась от глаз людских, в городок Горедон, не пробираться узкими горными тропами из укутанного осенними тучами края. Не стало больше того, кто, держа под уздцы, приводил бы его коня сюда, через два столетия, в нынешние горедонские дни.

Упряжка из вороных и гнедых лошадей, напрягая шеи, тянула тяжелый катафалк вверх по крутому склону.

Ласточки падали в грохочущий барабан молотилки.

Траурная процессия таяла, с трудом вытаскивая ноги из неподатливой глины.

Лунное мерцание медленно передвигалось по горнице; свечение это, которое и светом-то не назовешь, было настолько слабым, что едва-едва разрежало тьму там, куда падало. Илька Сенди сидела за швейной машиной, спиной к окну, что вы-

© Szilády István, 1975
© Ю. Гусев. Перевод, послесловие, 2010
Редакция благодарит Иштвана Силади за право безвозмездной публикации фрагментов его романа на страницах журнала.

ходило на улицу; за всю ночь она ни разу почти не сменила позу. Ближняя к ней половина расстеленной кровати была пуста, на другой — неподвижно лежал Денеш Гёнци; если бы Илька во тьме различала его лицо, она, наверное, догадалась бы, что означает застывшее на нем выражение; может, об этом она сейчас и думала, кто знает.

С тех пор как утихли вечерние шумы, она шевельнулась лишь дважды. В первый раз — услышав шаги ночного сторожа, что незадолго до полуночи прошел под окном со своей коротенькой лесенкой, чтобы на столбе, через два дома, погасить огонь в газовом фонаре; второй раз — на свисток ночного поезда. Тут она даже руки слегка вскинула, будто прося далекий, усталый, но и в усталости пронзительный звук: мол. потише, потише. Может, оберегала сон Денеша? Но свисток тот его разбудил бы едва ли... А ведь Денеш как раз собирался в дорогу; давно собирался: недели, месяцы ждал он этого сигнала.

Илька Сенди, хоть просидела всю ночь не двигаясь, к рассвету почувствовала, будто одежда на ней вся измята.

Могла бы, правда, уже успокоиться: где он теперь, тот поезд. Словно полуночный призрак, до первых петухов торопящийся убраться подальше, несется он по рельсам, освещенным тусклой луной, вылетает из котловины, где стоит Горедон, на расходящиеся волнами холмы, проносится, устремляясь к далекой равнине, мимо сел, гнездящихся в тесных складках между холмами. Денеша Гёнци он оставил ей. Ильке, навсегда.

Она встала со стула, прошлась по горнице, просто чтобы размять онемевшие за долгие часы ноги. Мимо кроватей и шифоньера дошла до кухонной двери, потом обратно, потом еще раз, пытаясь шагами своими взломать, разбить вдребезги, растопить застывшую, грузно придавившую дом неподвижность. Она не ждала с нетерпением конца ночи, не торопила наступление утра — хотя и луна уже завершила путь свой над Горедоном, канула куда-то за Голодное поле. Почему Ильке хотелось сейчас, чтобы рассвет не наступал никогда?.. Подчиняясь беспощадным законам, ночь и утро, утро и день все равно приходят друг другу на смену.

Она постояла перед окном, выходящим во двор. Тишина. прильнувшая к стеклам, была непроницаемо-плотной; но небо, готовясь к заре, чуть-чуть отстранило уже от себя гребень крыши соседского дома. Еще пара мгновений, еще, и забрезживший в небе свет обозначил границы двора: забор из промазанных дегтем досок, потом прислонил в угол — словно разлохмаченную метлу без черенка — спутанный куст плюща:

и наконец, чтобы куски домов, сараев, изгородей, выломанные из тьмы, не висели в зияющей черноте ни на чем, набирающий силу свет подстелил под них брусчатку двора. Так что мартовское, посеребренное инеем утро неминуемо приближалось: как раз вовремя выбралось оно из-под пестрого, в снежных пятнах хребта, чтобы увидеть крыши и улицы Горедона... Илька вдруг отпрянула от окна, отступила на шаг от многоящичного комода — будто вспомнила что-то, что надо было успеть до рассвета, — пошла к кровати, нагнулась над лежащим. Может, искала что-то, потом вроде бы подняла осторожно то, что нашла, заторопилась к двери, выйдя в кухню, положила на стол — и вздрогнула, когда ножницы звякнули о столешницу. Дрожа и ежась, вышла на крыльцо. Издали, с мельницы, донеслись неровные взревывания парового движка, заскрипели подводы, соседи сиплыми со сна голосами здоровались друг с другом поверх заборов. Пока она стояла на крыльце, звуки раннего утра: петушиное кукареканье, поросячий голодный визг, бряканье подойников и ведер, скрежет открывающихся ворот, собачий лай — все гоpедонские шумы, звучавшие или лишь собирающиеся звучать, двинулись к ней, но, когда она пыталась вникнуть в какой-то из них, они, словно спугнутые движением ее ресниц, стремительно вспархивали и улетали.

Заперев за собой дверь кухни на ключ, она пошла по двору, без определенного направления, словно отыскивая источник тех то ли реальных, то ли воображаемых звуков. Попутно бросила взгляд на ворота: не забыла ли закрыть их вечером? Потом, зайдя за сарай и конюшню, обошла вокруг старого колодца, сруб которого давным-давно растрескался, покрылся седым мхом. В этой части долины вода много лет как иссякла, колодцы, даже самые глубокие, опустели и высохли, многие хозяева давно их засыпали. Илька Сенди на свой колодец просто махнула рукой. Доски на срубе сгнили, стойки во́рота покосились, цепь давно делась куда-то. Опершись на край, Илька склонилась над пустотой. Сумрак и со двора-то не ушел еще полностью, а в глубине стоял густо; она видела только сухие стебли папоротника, торчащие из щелястой стенки. Доска, на которую она опиралась, глухо хрупнула; Илька невольно отпрянула, и кусок доски остался у нее в руках. Тогда она принялась расшатывать, ломать, отдирать трухлявую древесину, сбрасывая обломки вниз; когда и ворот с остатками стоек с грохотом ухнул на дно и в соседском хлеву затих потревоженный шумом кабан, Илька направилась к дому.

В углах кухни еще шевелилась тьма. Обычно как раз в это время Илька вставала; поэтому она и сейчас принялась было

за привычные утренние дела. Налила воды в таз, хотя вовсе и не ощущала в этот момент желания мыться. Открыла кладовку — и будто забыла зачем. Долго стояла, опираясь на стол, — и вдруг осознала, что не отрывает взгляда от ножниц. И схватила их с таким ощущением, будто нашла что-то, что искала давно. Движения ее стали осмысленными. Она опять закрыла на ключ дверь кухни, нагребла в плите кучку золы, обмакнула в золу влажную тряпку и принялась тереть лезвия ножниц, пока с них не исчезла свежая рыжая полоса. Унесла ножницы в горницу, положила на швейную машину — убивая бесцельными действиями нескончаемые минуты...

Из ящика комода достала ароматное мыло, задернула занавеску на окне кухни, помылась. Отыскала свежую сорочку, надела ее — и вернулась в горницу, к Денешу Гёнци. Опершись локтями на крышку швейной машины, встала перед окном, глядя поверх занавески на улицу.

По базарным дням в эти утренние часы по дороге одна за другой катились телеги. Сейчас улица пустынна. С двумя кувшинами воды тащится сгорбленная старуха, с виду — чистая ведьма. Илька представляет тугую сверкающую струю, льющуюся из трубы на артезианском колодце, где старуха наполнила свои коричневые кувшины. Илька тоже берет воду оттуда... Она поежилась: наверно, этой водой старуха будет умывать свою морщинистую, с крючковатым носом физиономию. Потом Илька вспоминает телят в рыжих пятнах, жеребят с бархатными мордами: они ведь пьют из корыта, чуть ниже колодца, ту же самую воду. И забывает про старуху... По дороге едет подвода, нагруженная мешками. Видно, зерно везет молоть. Сколько забот, подготовки требует такая поездка! Собираясь на мельницу, хозяин заранее знает, что мельник обманет его. Да что заранее: ему с рождения это известно. Известно так же твердо, как и то, что бакалейщик, портной, адвокат, сапожник, даже поденщики — все, все его норовят надуть. И нет в мире власти, которая оградила бы этого мужика, едущего на мельницу, от подлости и корысти других людей. И нет в мире бога, который снял бы с его натруженных плеч гнет недоверия и подозрений.

Хозяин мешков — местный, гередонский. Такой же, как все другие. Может, лишь тем от них отличается, подумала Илька, что куда больше терзает себя подозрениями... Она даже улыбнулась этой своей несуразной мысли и немного развеселилась: ишь, чего удумала. Потом стала размышлять: если так, то хорошо это или плохо, радоваться этому следует или, наоборот, стыдиться? И вообще: так ли оно? А немного погодя принялась пугать себя, представляя: вот она, скрю-

ченная, высохшая старая дева в треснувших очках, зовет соседского мальчишку, мол, не вденешь ли мне нитку в иголку, а то руки у меня трясутся... Когда-нибудь, наверно, так оно и будет. А пока тело у нее стройное, нежное, ждущее. Она выпрямляется, машет рукой, складывает руки на груди, язвительно усмехается — словно в этот момент еще верит, что они с судьбой заодно.

Подвода с мешками тем временем уползает из рамы окна. На той стороне улицы — извилистый проулок; он зигзагами спускается к речке, а оттуда снова карабкается вверх, на Мостовую улицу; там живут местные кожевники. Их трубы первыми начинают дымить по утрам: огонь под дубильными котлами они разводят еще до рассвета. Там, на Мостовой улице, прошло Илькино детство. Стоял черный, слякотный декабрь, когда они хоронили отца. Лошади, выгибая спины под блестящей упряжью и шитыми серебром чепраками, съехавшими набок, взбирались по глинистой Часовенной улице; и каким же хрупким казался траурный экипаж под огромным дубовым гробом, в котором покоилось тело Эндре Сенди. Вскоре после похорон, еще до наступления нового года, вдова рассчитала подмастерьев, распродала готовые кожи; главу ремесленной гильдии она просила лишь об одном: чтобы постарался пристроить оставшихся без работы учеников к хорошим мастерам; а потом, когда объявился один солидный кожевник, старый член гильдии, продала ему большой дом на Мостовой улице вместе с заполнявшими весь двор мастерскими.

В Горедоне есть два дня в году, когда люди переезжают на новое место: весной на святого Георгия и осенью на святого Михаила. Вдова Сенди переселилась сюда, на улицу Дяла, в первую же весну после смерти мужа. Дяла — самая длинная улица в Горедоне. Дом им достался в наследство от семьи Шимонфи, откуда Эндре Сенди взял себе жену; стоял дом ближе к тому концу улицы, который уходил вверх, к крестьянской окраине, и господин Эндре, как только вступил во владение домом, тут же решил продать его. Но жена, Кристина, говорят, столько плакала и упрашивала мужа, что он в конце концов сдался и оставил дом за собой. Может, госпожа Кристина потому так настаивала, что уже тогда чувствовала: придет день, когда она вернется сюда. Правда, уступчивость господина Эндре объяснялась просто: под домом находился большой, во всю длину подвал. Сам дом не так просторен, как тот, в котором они жили на Мостовой улице, зато сад уходил далеко вверх по склону.

Дом был старой, прочной постройки, с черепичной кровлей и планировкой такой же, как во всех старых городенских домах: большая горница с окном на улицу, кухня с дверью во двор, за кухней — еще одна горница, поменьше. Со стороны двора — крыльцо-галерея, которая перед кухней расширяется наподобие веранды.

Когда они перебрались сюда, Илька особенно не задумывалась, зачем матери нужно было уезжать с Мостовой улицы. А годы спустя, когда задумалась все-таки, — ответ уже не у кого было получить: лошади с черными плюмажами и чепраками вывезли по грязной Часовенной улице на погост и вдову Кристину Сенди. Разве могла знать госпожа Кристина, что не суждено ей всю жизнь прожить среди дубильных котлов, как прожили ее свекровь и свекровь свекрови? Да и вряд ли думала она об этом? После кончины мужа на нее с дочерью свалились заботы о виноградниках. Три виноградника, в разных местах, всего чуть ли не десять тысяч кустов. В каждом — давильня, подвал, вокруг каждого — полоса земли с фруктовыми деревьями. Самый большой виноградник, шесть с половиной тысяч кустов, на Солнечном верхе, завел, вскоре после рождения дочери, уже сам господин Эндре.

Холодно в горнице; дыхание Ильки, проникая сквозь тонкую занавеску, оставляет на стекле запотевший неровный кружок; он тут же тает, но с каждым выдохом появляется заново. На той стороне, на Мостовой улице, мастера-кожевники скоро сядут завтракать; в котлах бурлит дубильный раствор, рядом, по пояс в облаке пара, топчутся, греясь, ученики. Пареньки они крепкие, закаленные; если кто-то из подмастерьев шуганет их вниз, на речку, ничего, воспаления легких не схватят.

Туман мало-помалу всползает от Гороедона вверх, в лонные впадины гор. Под вершинами, в складках, еще светятся пятна снега. Март, непоседливый, озорной мальчишка, бродит по склонам, у леса, ест снег. Простудится — не беда, на то южный ветер, чтобы его выходить... Все это Илька видит глазами, но сознанием не воспринимает.

Если бы ломаные склоны хребта спускались к равнине, а не в тесную яму долины, — то и жители Гороедона, наверно, с благоговением смотрели бы на свои леса. Равнина внушает человеку ощущение свободы — пускай часто это всего лишь иллюзия. И все же если тому, кто живет здесь, открывался бы вид на равнину — наверняка ему проще было бы убедить себя, что здесь он и хочет жить. Гороедонец не знает пока, что жизнь может быть и другой, не только такой, как здесь. Вы-

бора у него, впрочем, нет и не было: эта зажатая горами яма захватила его с момента рождения. Большинство гоpедонцев и до опушки леса никогда не добирались. И пускай взгляд Ильки Сенди устремлен в это утро на лес, белеющий снежными пятнами, — мысли ее (если есть они у нее сейчас) привязаны к холмам, покрытым виноградниками и кое-где могильными камнями. К холмам, цепи которых замыкают Горедон, это средоточие тяжких забот, во впадину, стиснутую горами. Среди могильных камней есть один, мраморный, с именем отца, под которым Илька с самой осени никак не соберется заказать выгравировать материно имя. Как чудесно было бы, если б люди не пытались вечно прятать бездеятельность свою под занятостью; а ведь именно так они поступают — и при этом вечно бывают недовольны собой, изводят и даже губят себя.

Для того чтобы безбоязненно смотреть в глаза собственной бездеятельности, надо быть очень сильным человеком; таким человеком, который способен всегда делать то, что хочет и чего не боится. И тогда, пожалуй, мы могли бы смотреть вокруг без оглядки на личные интересы. Тогда, пожалуй, у нас было бы куда больше таких мгновений, когда мы не стремимся во всем в сфере нашего бытия обязательно докапываться до сути. Но что правда, то правда: инстинкт самосохранения не позволяет нам сказать себе, что если мир этот плох, то повинна в этом наша бездеятельность.

Хорошо бы как-нибудь сесть на придорожный камень и, глядя на дымящуюся печную трубу, совсем не думать о том, *как рано там встали люди, вон и печь уже растопили...* А просто, без всяких мыслей, созерцать вьющийся дым. Или, стоя во дворе, просто смотреть, как тает снег в саду. И чтобы тебя не грызла забота, что *на следующей неделе надо поденщиков нанимать, гряды копать, сажать овощи.* Или, лежа в траве на опушке леса, просто любоваться кустом шиповника, нисколько не беспокоясь, куда несет ветер облетающие лепестки: а что, если в самом деле вспыхнет пламенем купина... Все это, увы, невозможно даже представить. Все это, увы, находится за пределами человеческой жизни. Инстинкт самосохранения неумолимо несет нас мимо подобных моментов, и тот же самый инстинкт вынуждает нас набрасываться на землю, которая принадлежит нам примерно так же, как женщина — прошедшим через деревню солдатам-наемникам.

Козлотур, Островерх, Кривозуб — три вершины горного хребта, громоздящегося над Горедоном — тем временем стряхнули с себя последние клочья тумана.

Из далеких, заросших лесом, усыпанных известковыми глыбами горных долин по узким тропам время от времени спускаются в Горедон люди в лаптях, приносят грибы, веснами — баранину, в иное время — сыр, ежевику и воловье молоко. В детстве Илька часто слышала их певучую малопонятную речь. В свое время отец в своей мастерской на оцинкованном столе большим, как серп, и таким же кривым ножом кроил по субботам куски кожи — подошвы на лапти. Хаты их с высокими соломенными кровлями, с крохотными, в ладонь, оконцами, с крашенными в синий цвет стенами она никогда не видела: не приходилось ей бывать в деревнях за хребтом. Но слышать об этих горных людях слышала много: например, какие они богобоязненные. Еще считались они в здешнем краю хорошими косарями; но на виноградниках работать горедонцы брали их без большой охоты. А что там дальше, за долинами, в которых жили те люди, о том могли бы рассказать, может, только бродячие торговцы да ученые господа учителя из Коллегиума.

С трех поросших лесом вершин, вознесшихся над горедонскими виноградниками, открывается вид на далекие, до самого горизонта, гряды холмов. В ложбинах между ними прячутся деревни, богатые, нищие вперемешку. Колокольный звон, звучащий оттуда, тонет в ветрах; не доносят ветры звон этот до Горедона. Живут в тех холмах землеробы и виноградари, ходят кто в сапогах, кто в лаптях. Упрямо ходят по воскресеньям в церковь — и еще упрямее богохульствуют. Друг с другом они терпеливы, с судьбой — в вечном споре. Упрямство, правда, вовсе не их отличительная черта. Самые разные народы любят считать себя упрямыми. Когда судьба начинает тобой помыкать, поневоле станешь упрямым.

Впрочем, в это время — время, когда разворачивается наша история, — понятие "народ" в этих краях означало скорее род занятий, а не национальную принадлежность. В деревнях, что прятались между холмами, бедность считалась постыдной, хотя и богатые жили тут, словно нищие. Если кому-то казалось, что ему завидуют, он постоянно жаловался на свое житье-бытье; а кого жалели, тот хвалился тем, что жив. Но настоящих нищих они у себя видеть не хотели. Хочешь побираться — ступай в Горедон, попрошайничай там на паперти, нечего у деревни на шее сидеть. А можешь работать, но нет земли, которая тебя прокормила бы, опять же ступай в Горедон, мотыжь виноградники, арендуй кукурузное поле в долю. Не найдешь работу в Горедоне — нанимайся жнецом на равнину, иди в землекопы, плыви в Америку — выбор есть. Ну

а коли нет охоты или нет сил ни на то, ни на другое, ни на третье, все равно не смей побираться — лучше найди веревку и повесься. Такой выход остается и крепкому хозяину, если у него, скажем, рига сгорит.

Народ, живущий в холмах, Ильке Сенди был знаком лучше, чем горяне. В их селениях, правда, она тоже не бывала; однажды лишь случилось проезжать тут на телеге: было это еще при жизни отца, теплой августовской ночью. А то, что видно было в ясную погоду, с вершины Солнечного верха, мало что могло дать. И все-таки, можно сказать, она хорошо знала этих людей: каждую неделю они приезжали в Горедон на базар, и субботними утрами с самой зари скрипели под окнами их телеги. Много раз смотрела на них из окна Илька Сенди.

К тому же виноградник у нее обрабатывали поденщики из Крыжовничьего; оттуда был и Денеш Гёнци. Крыжовничье прячется за вторым отсюда холмом; с Солнечного верха даже колокольни тамошней не видать. Родичи Гёнци работали у них на винограднике и при отце, и при деде Ильки, а коней в базарные дни привязывали у них на подворье, пожалуй, с самого начала времен.

Глядя в сиренево-лиловом утреннем свете на пустынную улицу, Илька думает о том, что ни разу не слышала, чтобы крестьяне, приезжающие на базар, пели. Разгрузив на зябкой — часто в инее, а то и в снегу — заре свои подводы, они молча топтались, шмыгали носами среди корзин и мешков, готовые терпеливо ждать, когда начнется торговля. Потом мужик, привыкший терпеть усталость и холод, как скотина терпит побои, словно вспомнив что, оживлялся и, молодцевато взмахнув кнутом, за дышло выводил лошадей из толпы баб в пышных многослойных юбках. Когда ряды корзин, мешков, тюков, накрытых брезентом, оставались за спиной, он, все еще в своем предрассветном, непроспавшемся, суетливом веселье, может, и напевал себе что-то под нос, пока сворачивал в какую-нибудь горедонскую улицу, стучался в какие-нибудь кованые ворота: "дай Бог здоровьица", "рано нынче встали", "помогай Господь". Лошадей ставили в конюшню, подводу заводили под навес. Переступив порог сеней, мужик вручал хозяйке курицу, завернутое в холстину масло — это была не плата за постой, а всего только знак внимания, древний обычай. Тут наступала очередь хозяина, давшего место подводе и лошади: он доставал бутылку с виноградной палинкой, хозяйка резала хлеб. После возгласов, с хрипотцой от обжигающей палинки: "Дай Бог здравия!" — приезжий принимался расска-

зывать, что за последнее время набралось новостей: о поздней весне, об августовском граде, о недомоганиях жены.

В мастерской бурлил клей, калился утюг на углях, ученик получал от хмурого подмастерья первую затрещину. "Цыц там!" – рявкал на них мастер, и снова палинка, и снова, сквозь кряканье, "Дай Бог здоровьица!", и снова град, который теперь побил виноградник гоpедонского мастера, а заморозки, скажем, ранние, погубили хозяйкины хризантемы. Но не забыт, помянут недобрым словом и сборщик налогов: чтоб ему ни дна, ни покрышки. Напиши кто-нибудь, опираясь на утренние беседы, летопись местной жизни, это была бы летопись сплошных неурожаев, распродаж с молотка, рано побитых морозом цветов, погубленных эпидемиями людей и скота – и кто знает, каких еще печальных историй. Потому, должно быть, и не вел никто никогда в Гоpедоне летопись. Перо здесь не записывало иного, кроме перечня затрат и выручек. Разве что древесный червь заносил в волокна стропил и балок память о прочих событиях: ведь он-то поскрипывает не переставая. Но кто читает его письмена? Не топор же. Огонь разве что...

Да, в Гоpедоне каждому мужику, приехавшему на базар, было куда поставить лошадь, и, соответственно, у каждого городского мастера был свой мужик, своя, можно сказать, рука в деревне: за тулуп, за сапоги, за ось тележную такой человек мог при случае дров привезти, конопли, кожи сырые, да и другое что, необходимое для гоpедонских ремесел. Так сложилось на протяжении десятилетий и столетий: ранним утром базарного дня крестьяне и мастера под виноградную палинку, добрым словом поминая Бога, сидели и ждали часа. когда можно будет приниматься с чистой совестью бороться друг с другом, пытаться перехитрить друг друга – на винограднике ли, на рыночной площади ли.

Ведь после второго шкалика жгучей палинки – что тебе доброжелательство чужой кухни или мастерской, что тебе огонь в чужой печи: коли жена топчется между корзинами на заиндевевшей площади, замерзая и в бесчисленных юбках. не принесешь же ей туда немного тепла. И пускай улыбчивая хозяйка угощает хоть калачом сдобным: человек с кнутом – то ли потому, что в окне светлеет, то ли при каждом взмахе ножа, режущего сало, пробиваются старые обиды – мало-помалу утверждает себя в мысли, что тут даже кошке, потягивающейся у печки, до него никакого дела. И вот уже забыты общие беды. И заморозки, и град – они ведь у каждого свои: деревенский житель чувствует: бедность – только его удел.

теперь он уже видит: дома в Горедоне большие, ладные, и горниц в них много, так что нечего здешним на свои беды жаловаться. За стенами кухни, во внутренних горницах с шифоньерами, в мягких постельках, на белоснежном белье спят румяные барышни, которым никогда не придется на холодной заре топтаться, пытаясь хоть как-то согреться, на рыночной площади, всю ночь трясясь перед этим на телеге между корзинами. Барышни эти через пару-другую лет сами станут хозяйками, вельможными сударынями и, как их матери, на холодной заре будут открывать скрипучие ворота приехавшим на базар мужикам. А те мужики скорее море переплыть смогут, чем переступить порог горедонских горниц.

Вот как-то так наступает в Горедоне утро базарного дня. Согревшись на чужой кухне, мужик решительно и отчаянно встает и, махнув рукой — эх, мол, ладно, мать его в бога, — и хлопая кнутовищем по сапогу, бредет назад, на площадь. Там торговки уже раздувают угли под казанами и решетками с горячими лепешками. Но в эти минуты еще чудится, что рассвет, заглядывая в долину и видя там толпу шмыгающих носом, озябших людей, решил осветить небо только ради них, всю ночь трясшихся на телегах. Вот уже наступило утро, высоко над городом стоит звонкий холодный небосвод, а на горедонской базарной площади все еще топчутся только они, приехавшие из деревень мужики.

Наконец раздается удар колокола; первые порции колбасы и лепешек укладываются на решетку. Конец знобкому, короткому молитвенному настроению. Приходит, шаркая ногами, первый сапожник. За ним — двое подмастерьев, на плечах у них — длинный шест, на шесте болтаются парами сапоги, будто ноги целого отряда повешенных. В сторонке, в свете звенящего утра, выкладывают товар горшечники. И скорняки с шубами. И всякие прочие горедонцы. Нет больше добрых знакомых, мужиков и горожан; колокол положил конец всякому согласию и сочувствию, с этого момента человек человеку — средство заработка, с этого момента все думают лишь о том, как бы не продешевить.

Теперь, когда свет добела высветил брусчатку на дороге, Илька снова чувствует сумрак у себя за спиной. Световой контраст этот вокруг нее сотрет, исправит со временем только отсутствие света — новая ночь. На мгновение Илька смыкает веки, колени у нее слабеют, локти ноют на твердой крышке швейной машины. В груди поднимается тошнота; Илька выпрямляется, улавливает запах вина. Два стакана остались с вечера на столе: один пустой, второй выпит до половины.

Взяв стаканы, она неуверенной походкой идет в кухню, вздрагивая даже от того слабого шума, который сама производит. На обратном пути, словно запнувшись, застывает перед кроватью, около Денеша Гёнци. И смотрит на него, странно хмурясь, словно серчая на себя: и как это до сих пор она к нему даже не подошла? Илька стоит над вытянувшейся фигурой, устало и неловко сложив руки внизу живота: *Ну что, лежишь тут, совсем раскрытый? Не стыдишься теперь наготы?..* Губы у Денеша Гёнци сухи, серы, тело словно посыпано пепельно-тусклым туманом. Левое колено чуть-чуть приподнято: может, он как раз собирался вскочить, уцепиться за что-то, за поручни несуществующего корабля, или за веревку, свисающую с мачты, — и не успел, упал навзничь. Одна рука утомленно вытянута вдоль тела, вторую он в тот момент подбросил к груди, пальцы на ней так и застыли раздвинутыми. Рана едва больше одного сантиметра; из нее вниз, под спину, сбегает коричневая полоска, тоже не шире шнурка от ботинка. Илька Сенди смотрит и не может понять, как это у человека могло вытечь так мало крови. *Почему тогда он умер, если крови так мало?* Она смотрит на лицо Денеша с крупными, грубоватыми чертами, в которых застыла недовольная гримаса, что-то вроде сердитого удивления, словно он откусил хлеба, а в мякише камешек оказался. Одно веко скошено в сторону; Илька ищет взглядом: что увидел бы Денеш Гёнци, если бы видел сейчас. Куда был направлен в последний миг его взгляд? Напротив кровати, на стене, у окна, что выходит во двор, висит картина с сиятельным князем. Может, эта картина попала последней в поле зрения полуоткрытого глаза? Может, к ней Денеш обратил последнее проклятие; а может, вообще не заметил — не все ли равно. Князь прощается с нарядной женой; что ему муки простого мужика! Его и в изгнание-то будут сопровождать вельможи да военачальники.

Стыдлив ты, Денеш, а вишь как раскрылся. Все твое мужицкое тело – в узловатых буграх мышц. Князь, в шнурах до самого горла, смотрит куда-то поверх тебя; теперь – и поверх меня тоже. Ему не до нас.

Не стыдись же своей убогой наготы. Илька взяла с комода сложенную простыню и взмахнула ею над Денешем так, что сразу накрыла все его тело. *Вот тебе холстина, закройся, не спрашивай, сколько аршин в куске; дочке судьи будет сшито приданое из другого. Потом* расправила другую половину постели и легла рядом с укрытым Денешем.

Снова подняла взгляд на картину с князем. *Не удалось тебе меня с ним разделить, так? А ведь я только с ним могла быть твоей...*

Подумалось это ей, или она в самом деле говорила вслух? Неосознанным движением Илька провела рукой по несмятой холстине; будто проверила, тут ли Денеш. Сколько раз, проснувшись ночью, она вот так же поворачивалась к той половине кровати. И если столько ночей место его оказывалось пустым, то теперь, когда он собрался оставить ее навсегда, — вот, средь бела дня лежит рядом. Ладонь ее замерла на холстине — там, где пах, над его спящим мужским достоинством: она не ощутила его, не ощутила даже холод — только собственные, прижатые друг к другу пальцы... Князь тем временем завершил церемонию прощания, и напрасно княгиня, с головы до ног в белом, цеплялась за раненую его руку: за ней, в глубине картины, на травяном покрове замкового двора два пажа держали под уздцы княжеского коня; напрасно скулила рядом с ней поджарая, аристократической породы собака: князь уходил прочь и тускнел, удаляясь. Затем словно ветер принес с горы сохнущие на лету листья, наполнив ими комнату, — сквозь этот вязкий, темный сумрак к Ильке не проникал уже ни скрип крестьянских подвод, ни конский топот.

Где-то там, за окном, за стенами, идет обычная, мирная жизнь: люди варят еду, строгают доски, дубят кожу, ткут холсты; производят детали для новых, наступающих будней. И по капельке копят яд для ближнего своего, для крохотных, еле заметных страданий, которые они ему доставят сегодня-завтра. Такой заштатный городишко очень даже умеет занять себя; он — вроде малого дитяти, который с головой погрузился в игру. Самозабвенно трудясь, потный от усердия, он, может быть, даже счастлив — хотя вовсе не замечает этого.

Ученик сапожника только что убаюкал хозяйского младенца и на сей раз не кормил его клейстером. Два долговязых подмастерья портного тоже не сейчас опробовывают раскаленный утюг на тощей заднице ученика, который после этого будет долго лежать на пузе и визжать, как поросенок.

И не сегодня вспыхнет пожар на мельнице. Не сегодня объявят призыв в армию; может, и странствующий ремесленник отправится в свой путь по градам и весям не сегодня. Сборщики налогов пьют капуччино в кондитерской Паппа: в этот час они не досаждают ремесленникам своими иезуитскими параграфами. Нищие не успели еще пропить собранные в воскресенье гроши. Господин учитель пока что беззлобно, лишь по привычке похлопывает камышовой указкой по собственной ладони; отправленный на пенсию школьный сторож еще не решил, где повеситься: в своем винограднике или лучше все же в школьном саду.

И да не будет пропущен в этом будничном городонском перечне осевший тут, после шумных и праздничных городов, учитель танцев: он репетирует перед зеркалом вечерние па, сейчас он сердится только на городок, своей грациозностью же пока доволен. Перед ратушей топчется, изнывая от безделья, барабанщик, перед комитатской управой — тамошний курьер. Священник потягивает черный кофе, не спеша раскуривает сигару, размышляет о качественных винах: здешний, городонский виноград, на его вкус, кисловат, во всяком случае, тот, что растет на его делянках. Надо бы заняться прививкой более благородных сортов, и сейчас для преподобного это даже важнее, чем выцветшая ряса.

Плотник наконец-то удовлетворен дубовой балкой, которую он вытесывает с утра: он смотрит вдоль нее, балка вроде прямая; теперь он точит топорик. В кузнице, со свистом хватая воздух, вздыхают меха. В мастерской у сапожника на шесте копятся сапоги. В пекарне подходит тесто, пекарь разогревает печь.

В Городоне к этому времени еще не изобрели такую штуку, как безделье, а потому никому не пришло бы в голову утверждать, что труд облагораживает человека. Но насчет того, сколько столетий уже проводит в трудовой суете эта ремесленная рать, трудно было бы сказать что-то определенное; одно ясно: в такие вот часы, когда город по горло погружен в свои дела, его мог бы захватить и разграбить один-единственный драгунский взвод. Да в былые времена его много раз и захватывали, и грабили; может, поэтому никогда в Городоне не было изготовлено ни одного шедевра. Ведь у ремесленников жизнь — не творчество; всего-навсего — ремесло. Изделия для воскресного базара: хрупкий глиняный кувшин, прочная дубовая бочка, тележное колесо, памятник могильный — вот она, их жизнь. Все, что они производят, это осадные снаряды против нужды. Ибо крепость изобилия тут мало кому удавалось для себя выстроить. Виноградники на холмах, поля у границы лесов, разоряемые кабанами, — все это, правда, можно и продавать, и передавать по наследству, и отсуживать, но доходов, чтобы спокойно пережить семь тощих лет, — ждать напрасно. Любая делянка, на склоне или в лощине, открыта для любой бури.

Даже холмы и крутые снежные горы никогда не могли защитить Городон ни от турок, ни от татар, ни от грабителей-драгун, ни тем более от саранчи или туч, приносящих град. Наоборот, их, городонцев, горы запирали сюда на поживу всем и всему. Как будто это от них, городонцев, надо было оберегать внешний мир. Городон никогда ничего не отбирал

у других, но всегда и всем платил дань. Да и зачем было бы Горедону воевать против кого-то? Воевал он и так, внутри себя, друг против друга. На Латинском холме, играя, брат турецкой стрелой убил брата. Конечно, случилось это, если случилось, очень давно, не во времена Ильки Сенди. Память о драгунах тоже десятилетиями уже не пугала людей; но остались вместо них сборщики налогов. Ну и, конечно, остались они, горедонцы, чтобы друг друга истреблять. Уж в этом-то они преуспели лучше, чем любые бродячие банды. Ох, много могли бы поведать поздние застолья на веранде, и шумные цеховые сборища, и межцеховые споры, — кому и как выносили там суровые приговоры. Это бедствие было пострашнее иных посланных Богом. Закон у них, у междоусобных, был тоже суров, и мстить за них тоже было нельзя, как и за наказания божьи.

Месть тут вообще была не в ходу — разве что за добрые дела. Добрый поступок, как известно, непростителен, ибо вытерпеть его с высоко поднятой головой никому не под силу. А ведь поднятая голова — важнее всего. О том, что такое жить с поднятой головой, люди знали, надо полагать, не по снимкам, которые делал местный фотограф. Уж он-то, когда удавалось усадить кого-нибудь перед аппаратом, долго терзал беднягу, заставляя то туда посмотреть, то сюда. Так что на семейных или цеховых фотографиях люди, странным образом, начинали походить на великих героев истории, чьи изображения висели на тех же стенах, в тех же горницах. И даже в мастерских, между развешанными по стенам инструментами, глаз то и дело натыкался на какое-нибудь сражение или полководца.

Да, в Горедоне в те времена не одна сотня сражений и не одна сотня военачальников жили в мире и согласии с армией скрюченных портняжек да испачканных клеем сапожников. Добры молодцы в залихватской шляпе и широких портках, выправляющие косу в штык, и вылетающие из крепостных ворот прямо в объятия смерти бесстрашные капитаны часто заменяют в этом городке, в домах обывателей, святые иконы. Правда, по картинам чаще всего трудно выяснить, чем заканчивались те былые сражения. Хотя, с другой стороны, вряд ли этот вопрос слишком уж интересовал парней, что работали в мастерских. Об истории им было известно лишь то, что рассказывали о себе, без всяких просьб, сами картины.

Последнюю кровавую битву, к которой Горедон имел какое-то отношение, отделяют от нашей истории два-три поколения. В доме на Мостовой улице, у родителей Ильки Сенди, висела картина и о той битве; только при переезде она оказа-

лась поврежденной и была сослана на чердак. Илька ту картину не очень любила: хотя изображала она настоящее поле боя, но слишком уж аккуратно выписанными, отменно выглаженными были мундиры на воинах. Впереди, сняв головной убор, молился какой-то вельможа, и вместе с ним, держа в руках кивера, с просветленными лицами молился весь офицерский корпус, едва ли не с благоговением глядя на гору трупов перед ними. Позади офицеров стояли солдаты, тоже все, от первого до последнего, стройные, высокие, усатые; по всей очевидности, это были победители. Побежденные же... побежденных, собственно, и не было: была лишь гора оборванных, полуголых тел; можно было подумать, что они сами себя перебили, а свежевыбритому, подтянутому, чистенькому войску только и осталось произнести над ними молитву. Фальшь глянцевой этой картины, изображавшей какой-то эпизод войны за независимость, коробила Ильку, когда она, еще девочкой, еще на Мостовой улице, впервые рассматривала ее. Деда своего, Балинта Сенди, Илька не застала; знала лишь, что во время войны за независимость он вступил в национальную гвардию. Однако старого кожевника она никак не могла представить среди молящихся солдат.

Слышала она и о том, что тогда с реформатской церкви сняли колокола, чтобы переплавить их на пушки. Потом горедонцы, конечно, заказали на их место новые. Третий колокол привезли как раз в те дни, когда она проходила конфирмацию. Лет пять после каждого молебна обращался к прихожанам священник, напоминая о пожертвованиях. Ведь милости у Бога можно просить сколько угодно, а колокол, он денег стоит. Колокол и на поле боя не возьмешь как трофей. Так что пришлось горедонцам раскошеливаться, отстегивая из вырученного на протяжении мирных десятилетий за пшеницу, вино и ремесленные изделия, — чтобы когда-нибудь потом, когда по три колокола на каждой колокольне станут возносить хвалу Господу или бранить его за град, их опять, все до единого, сняли на пушки. Чтобы ни одного не осталось — даже возвестить о пожаре или понудить население к бегству.

А когда пришел конец войнам и революциям, что-то никто не торопился пушки переплавлять снова на колокола. Да пожалуй, так оно и лучше: кто знает, не навлечет ли колокол, перелитый из пушки, беду на то место, над которым он звонит. Хотя, может быть, к далеко разносящемуся металлическому гудению колокола все же примешивались на протяжении времен отзвуки орудийного гула. Может, колокол сохраняет в себе эхо беды — для того чтобы, исторгнув его из себя, тем самым предупредить очередную беду?

Тот, третий колокол, везли от станции до колокольни на большой ломовой телеге. Телега была массивная, низкая, сплошь окованная железом; может, ее-то и надо считать вершиной городенского мастерства. Эта телега — не телега, а прямо героический эпос, сотворенный колесниками и кузнецами, — была такой древней, что, возможно, во времена освободительной войны именно на ней увозили предков нынешнего колокола. И все же настоящее испытание ей предстояло теперь, когда в городенскую идиллию прибыл третий колокол: говорят, он, третий, во все времена был самый большой.

Ломовую телегу со двора ратуши вывозили нечасто. Бывало, всего лишь раз в год, по случаю праздника урожая винограда. В такой день на телегу вкатывали огромную винную бочку, на нее взбирался служка из ратуши, маленький мужичонка с большими усами, вокруг бочки рассаживались девки в ярких жилетиках, полевые сторожа в широких портах, в задке теснились цыгане со скрипками, с цимбалами, в телегу впрягали десять-двенадцать пар волов, и, под истошные крики погонщиков и щелканье кнутов, ездила она туда-сюда по городу. Рядом скакали парни с топориками; если в городе не набиралось достаточно верховых лошадей, в местном гарнизоне, у артиллеристов, одалживали еще несколько. В былые годы какой-нибудь цех, избрав нового старшего или главного мастера, тоже брал эту телегу у города, чтобы с должным почетом доставить новым хранителям цеховую казну. Но времена цеховых и прочих старейшин миновали уже к той поре, когда Илька была ребенком; ткачи-суконщики стали забывать латынь — в прежние времена они, собираясь на ярмарку, виды на прибыль и рыночные возможности обсуждали меж собой на латыни, чтобы хитрованы-сапожники не понимали, о чем они говорят. Все это было когда-то, в стародавние времена, когда в Городе виноградный сок еще давили ногами. А большая ломовая телега уже тогда стояла за ратушей.

Колокол прибыл. Весь Горедон, от мала до велика, встречал его на станции. Остроносый, до блеска надраенный паровоз втащил поезд на станцию; машинист по такому торжественному случаю даже нацепил галстук и надел перчатки. Выстроившийся за водокачкой хор, во главе с кантором, грянул величальную; впереди, на перроне, у рельсов, стояли члены церковного совета и два священника. Над одним из рельсовых путей вознеслась ввысь пирамида из четырех дубовых балок, под самой вершиной ее — лебедка с крюком. Железнодорожную платформу, на которой величаво покоился колокол, подогнали под пирамиду, колокол подняли, затем благород-

ный груз бережно опустили на подведенную туда же ломовую телегу. После того как волы вытянули телегу из рельсовой путаницы, Ильку вместе с другими девочками в белых платьях, недавно прошедшими конфирмацию, поставили вокруг колокола. На площади перед станцией толпа встречающих выстроилась в процессию. Впереди, перед воловьей упряжкой, шли священники и церковный совет. Кругом туда-сюда носились мальчишки, а за телегой шагал весь цвет городенского общества: учителя, чиновники под руку со своими толстыми супругами, старые мастера с двойными подбородками и серебряными цепочками поверх жилета. Дальше поспешали подмастерья, школяры, прислуга; замыкали шествие, поотстав, беднота и нищие.

Никогда — ни до, ни после — не видела Илька все население городка вот так, скопом. Несколько долгих часов полз колокол от станции до главной площади Городен. И все-таки это не походило на похоронную процессию: народ вел себя, особенно поначалу, шумно, хотя той раскованности, которая царит в праздники, здесь не было. Люди, шагавшие за телегой, походили на темную, медленно ползущую тучу, — только лица у них были не хмурыми, а торжественными, даже благоговейными. Они же, девочки в белых платьях, симметрично стояли вокруг колокола. В необычной этой процессии Городен словно нес своих белоснежных дочерей на черных суконных плечах. Может, так он хотел сберечь их чистоту: подняв ввысь, отдалив даже от себя самого.

В подобных редчайших — ведь бывает, в жизни иного поколения ничего подобного не происходит — случаях людское сообщество, где каждый живет своими бедами и заботами, в кои-то веки собравшись вместе, наверное, пытается уверить себя, что существуют на свете такие вещи, как провидение, красота, Бог, чистота и еще многие-многие недостижимые чудеса. Все это где-то есть; пускай далеко, пускай за пределами этой долины, пускай в немыслимой высоте, но — существует. И пускай эти чудесные вещи человек лишь представляет себе — они становятся едва ли не осязаемыми именно в такие моменты, моменты, напоенные неслышимым колокольным звоном. Эти вещи ненавязчиво, но реально и убедительно дают знать о себе: ведь не может же благоговение, переполняющее душу, питаться само из себя... Конечно, мимолетное это чудо скоро развеется, исчезнет, почти не оставив следа; хотя церемония тянется нескончаемо — ведь темп ее определяется медлительным шагом воловьих ног. Девочки в белом, несколько часов простояв на телеге под палящим солнцем, чувствуют, что у них кружится голова. Но и это пройдет, телега

подъедет в конце концов к колокольне. А событие станет воспоминанием, о нем и десятилетия спустя будут говорить в Гоpедоне: ведь немного таких дней было здесь в межвоенные времена.

Веревочники будут обсуждать, кто и когда — известно даже, со скольких хольдов конопли — сплел такие веревки, чтобы длина была дважды до окна колокольни. Да что длина! Это были всем веревкам веревки, если выдержали вес колокола, больше которого и не бывает, поди. Подмастерье кузнеца будет внукам рассказывать, как они с мастером изготавливали подъемный механизм. А люди всех чинов и сословий, пока живы, будут вспоминать, как тянули веревку, пока колокол величаво поднимался на колокольню. К великому этому дню, с двенадцатью парами неторопливых волов, с общим радостным усилием множества рук, ухвативших веревку, с множеством глаз, устремленных на колокольню, в равной степени будут причастны и разинувшие рот ребятишки, и солидно кивающие члены церковного совета.

И разве ж могла в этот день Илька ойкнуть, когда кнут в руке одного из погонщиков, взлетев и щелкнув в воздухе, случайно коснулся ее плеча? Ильке на миг показалось, что шелковая ткань на месте удара лопнула и расползлась. Она покосилась туда, но кнут не оставил следа на платье. Тогда она с испугом подумала, что кнут, может быть, рассек кожу на плече и кровь из раны вот-вот проступит на белом шелке... Господи, что же это будет? Но даже если нет крови, то боль наверняка исказила ее лицо... Наверное, многие это заметили. А ведь они тут, возле колокола, должны сиять улыбками. К счастью, ей и в голову не пришло, что, пока они доберутся до церкви, кнут еще не раз может задеть ее руки, грудь, даже лицо. Не подумала она и о том — хотя после, спустя много времени, память ее снова прожег острым воспоминанием тот момент, — что кончик кнута мог в щелчке задеть и других девочек. Может, в усердии своем погонщики всех ухитрились поранить, кто знает. Может, для того их, девчонок, туда и поставили... Но Илька Сенди тогда еще не думала о том, чтобы делиться с кем-либо чем бы то ни было; а тем более — болью! Смутно, не осознавая этого, почувствовала она: хотя обжигающий удар кнута не просто причинил ей боль, но, можно сказать, задел ее честь, она, по какой-то неясной причине, не должна выдавать это другим. И конечно, когда они наконец спустились с телеги и хор снова загремел величальную, она, держась за материну руку, вместе с другими гоpедонскими детьми, изумленно таращившими глаза, молча смотрела, как, покачиваясь, плывет вверх многотонное чугунное тело колокола.

В те дни, когда ободья колес старинной ломовой подводы высекают искры из гранитных булыжников на главной площади Горедона, трудно поверить, что в базарные дни по тем же булыжникам катят телеги всякого приезжего люда. На скрипучих, с деревянными осями, средствах передвижения сидят люди, кто в сапогах, кто в лаптях, в тулупах, в меховых шапках, с лицами, темными, как земля, и руками, узловатыми. словно ветвь платана, и на щеках у них — не то что у шагавших за колоколом цеховых мастеров с цепочками поверх жилетов — не играет красноватый отсвет стеклянных кувшинов с вином. Но ведь для дребезжащих этих телег, влекомых мелкими крестьянскими лошаденками, Горедон — всего лишь временный пункт назначения, место купли-продажи, тогда как ломовая подвода, окованная железом, никогда не видела мир за пределами Горедона. Кто бы осмелился выехать с нею из города: она тут же увязла бы в пыли, в грязи, застряла бы в хворосте или в болоте. Но хозяева тряских телег в один прекрасный день, вдруг набравшись духу, направляли свои ветхие средства передвижения аж в морские бескрайние дали.

Крестьянство чуть ли не половины комитата вдруг засобиралось в шахтную, заводскую Америку: накопить состояние, затеряться там, а может, однажды вернуться с деньгами на целый хольд земли. Горедонцы сначала лишь головами качали, но после, со временем, даже тайно завидовали бесшабашной смелости бывших своих поденщиков; завидовали тому, как этот сермяжный люд верит, что может добиться в своей жизни лучшего удела. Верит в силу своих узловатых рук, в своих жен, в своих детей, и в это невиданное путешествие отправляется так просто, оставляет землю отцов так спокойно, будто всего лишь лошадь отводит в ночное. *Какого рожна им не хватает? Разве не наливали мы им виноградной палинки, не отрезали ломоть хлеба на рассвете базарного дня? Может, фиакр им нанять, чтобы мешки на станцию вывезти? А что в дом к себе мы их дальше кухни не пускали... Так налогового сборщика не пускали и до кухни. В горницу, кроме своих, к нам только доктор может войти да священник с последним причастием.*

Невозможно было горедонским умом постичь, что заставляет деревню голодать месяцами ради того, чтобы скопить денег на пароход. Илька Сенди однажды, спустя годы после встречи колокола, подумала — эмиграция тогда как раз была на пике, — что в процессии той невозможно было даже представить тех, из деревни.

Полуденный колокольный звон не разбудил ее. Швейная машинка в тот день стояла без дела. Время шло к вечеру. В ко-

жевенных мастерских за рекой учеников заставлял работать только страх перед подмастерьями, а подмастерьев — предвкушение вечера, когда они будут прогуливаться по главной улице от угла до угла. И от одной кружки пива до другой. Сумерки, однако, еще не спешили спускаться; зато поднялся ветер, нагнал тучи. С гор опять клочьями слезает туман; порывы ветра несутся вдоль долины; нескладный подросток-март шляется где-то далеко. Кто сейчас выглянет из окна, порадуется, что не поторопился — если в самом деле не поторопился — открыть после зимы кусты роз. Из туч начинает идти снег, ветер крутит его, несет метелью. Вроде и не прощалась зима с Гоpедоном несколько недель назад.

Илька Сенди открывает глаза; в окне — синевато-коричневый вечер. В задней горнице бьют часы; она не считает натужных ударов: все равно не смогла бы понять, утро сейчас или вечер, какой день начинается или заканчивается. Бывают моменты, когда вообще все равно, светает или темнеет, грядут тягучие будни или глухая, угрюмая ночь.

В горнице холодно; Илька до подбородка натягивает на себя одеяло, не видя, но чувствуя, что дыхание изо рта у нее выходит облачком пара. Странное желание снедает ее: она замирает, прислушиваясь — может быть, в самом деле не знает, — не шелестит ли рядом другое дыхание. За окнами ветер расшатывает доски крыльца, стреху, забор. Больше — никаких звуков. Илька медленно поворачивается к тому, кто лежит рядом и, подсунув руку ему под плечо, пытается приподнять его, притянуть к себе. Денеш Гёнци лежит тяжело, не поддается усилиям. Несмятая холстина мягко похрустывает на неподвижном теле. Илька приподымается на локте, обращается к нему вслух:

— Тогда зачем ты здесь? Как ты сюда попал? — Снег за окном наполняет горницу слепой серой мглой; белая холстина не добавляет в горнице света. Илька проводит ладонью по голове Денеша — и, ухватив горстью волосы, встряхивает ее; у Денеша Гёнци вздрагивают плечи. Потом она, отстранившись, смотрит на его лицо, которое в темноте покоится на подушке почти в торжественной неподвижности.

Илька встала с постели, оделась в темноте; не зажигая в кухне огня, открыла наружную дверь. Ветер нанес на веранду слой снега. Небо — как черная пашня; в бороздах туч нигде не блеснет лемех ветра.

Оставив дверь распахнутой, Илька побежала назад в дом. В задней горнице взяла черную гарусную шаль, накинула на плечи. Мать надо было бы накрыть этой шалью, когда минув-

шей осенью, в ноябре, над ней забивали крышку гроба. Вернувшись в горницу к мертвому Денешу Гёнци, она подняла его, потянула, поволокла наружу. Тяжелое мужское тело подчинялось неловко; иногда из груди его вырывался едва слышный, сипящий звук. Илька дотащила Денеша в конец галереи, у заднего угла дома прислонила плечами к стене. расправив холстину, обернула ее вокруг тела, сама передохнула чуть-чуть. Потом, собравшись с силами, подняла его на руки и не то понесла, не то поволокла через заснеженный двор. Холстина снова сползла с него; Илька, наступая на край, свисающий на снег, с подгибающимися коленями тащит его дальше, пока наконец перед ней не возникает зияющая тьма колодца, над которым уже нет сруба.

Илька отпускает мертвого Денеша Гёнци и, отпрянув. прислушивается к шуму падения, а сама смотрит, как конец холстины, дергаясь, ползет к черному зеву. Денеш уже внизу. бьется о выступы каменных стенок, и белый холст неслышно падает на него.

Илька, пошатываясь от усталости, бредет назад, к веранде и. прислонившись к столбу, стоит неподвижно, будто чего-то ждет. Еще, наверное, не совсем поздно; хотя и собачьего лая нигде не слышно. Ветер крошит и уносит куда-то вечерние звуки Горедона. В тучах выглянул хрупкий месяц — осколок стекла в бороздах пашни. За ним — две-три звездочки, будто лемехом ветра отколотые от месяца. Звездочки чуть-чуть помаячили в борозде, потом темный облачный вал накрыл их и похоронил под собой.

Илька входит в кухню с таким ощущением, будто вернулась откуда-то издалека. Она зажигает керосиновую лампу. поправляет на ней фарфоровый абажур. Разводит огонь в печи, ставит воду на чай. Заходит в кладовку, смотрит, чего бы съесть. Берет кусок сала, выносит в кухню, отрезает большой ломоть хлеба — и принимается за еду с таким аппетитом, как в детстве, после катания на санках. Поднимает кувшин с вином, — таким движением, будто собирается угостить кого-то, — на дне кувшина вина чуть-чуть; поколебавшись с минуту. прерывает еду, приносит из кладовки фонарь, зажигает его и отправляется в погреб.

Снег уже не идет. За домом Илька спускается по ступенькам к двери погреба, отпирает замок, распахивает гремучую дверь; свет фонаря пляшет по стенам, волна теплого затхлого воздуха бьет в лицо. Взгляд Ильки падает на ведерко с известью, стоящее за дверью. Она наклоняется, ставит кувшин на пол и светит в ведерко: над известью — стеклянистый слой

воды. Повесив фонарь на гвоздь, Илька находит палку, перемешивает известь, затем, с внезапной решимостью — *ага, это тоже надо сделать* — берет ведерко и выставляет его за дверь, на ступени. Да, эта мысль у нее сразу мелькнула: в войну и во время эпидемий так поступали с трупами, прежде чем их зарыть. Она несет ведерко к колодцу, выливает известь в глубину, пустое ведерко бросает в сарай и возвращается к погребу. Шаги ее, движения — словно бы механические, она как будто выполняет давно полученную команду, не думая, что делает. Пока она ходила к колодцу, дверь погреба оставалась открытой, и стены погреба, железные обручи на бочках успели запотеть. Илька идет между бочками, выбивает пробку на небольшом бочонке, опускает туда сифон. Сифон похож на клюв какой-то хищной птицы; Илька берет в рот верхний конец, тянет вино, так, что у нее ноет за ушами; наконец прохладная жидкость орошает язык, она делает глоток, отнимает сифон от губ и закрывает отверстие пальцем. Вынув сифон из бочонка, наполняет кувшин.

С громким стуком закрывается за ней дверь погреба, скрежещет замок, пляшет на ступеньках пятно света от фонаря. Подхватив подол юбки, Илька возвращается в кухню. Кухня успела прогреться. Вылив кипящую воду из чайника, Илька наливает туда вино, ставит чайник на плиту, бросает в вино приправу. Доев остатки сала с хлебом, отпивает горячего вина. Скоро эмалированный чайник пустеет. У Ильки слегка кружится голова. Стекло в окне покрыто густым слоем пара...

Илька, не зная, за что приняться, ходит по кухне туда-сюда; подбрасывает дров в печку, усаживается на деревянную лежанку. Она не думает о том, что делала в минувшие полчаса; сейчас ее мысли заняты одним: не приходил ли кто-нибудь к ней сегодня? Кажется, никого не было; а если кто и был, придет еще, если нужно. Налог она заплатила. Вино увезли, сразу большую партию. Виноторговец, если объявится, то теперь только летом, наверно. Может, из корчмарей кто захочет вина купить. Если нет, то для нового снова не хватит бочек. Возчики с верхнего конца по литру уносят, с них толку мало. Когда на свадьбу берут бочонок-другой, еще куда ни шло. Если так пойдет дело, придется выдержанное вино поденщикам спаивать. Шитье не закончено, да это пока не горит, если не набежит новый заказ. *А, чепуха! Кому она может понадобиться?* Работы у нее мало: дорого она берет за шитье. Просит столько же, сколько мадама с главной площади, у которой Илька в свое время училась шить нижнее белье. И все-таки есть несколько комитатских и банковских жен, которые

за ее работу не жалеют денег; попадаются иногда и настоящие барыни, пускай и отцветшие. У нее они шьют для своих конопатых да кособоких дочек: в салоне насмешницы-белошвейки вечно перехихикиваются, мадама как ни ругает их, все бесполезно, а тут, у Ильки Сенди, за задернутыми занавесками, барышни не так стесняются своих тощих или, наоборот, буйных форм. Так что пускай платят. Если надо, она и корону вышьет на пододеяльнике. Ее работу клиентки спокойно могут выдавать за коложварскую, а то даже и венскую. То, что шито белье здесь, в Горедоне, на Илькиной машинке, все равно никогда не узнается. А когда из таких заработков да из цены проданного вина, сверх повседневных расходов, выплат поденщикам, возчикам, набирается стопка банкнот, Илька несет их в сберкассу. Конечно, можно было бы купить земли на каком-нибудь ближнем склоне — тут все для этого копят деньги, если копят, — или еще виноградник, скажем, на Сануте. Там у нее еще нет виноградника. Или на Стражевой горе. Там нету тоже. Да зачем ей еще-то? Дом купить? И дом есть. На Мостовой вон недавно был продан. Давать деньги в рост? Пускай лучше в сберкассе копятся.

Денежные заботы никогда ее не терзали. Были деньги — и ладно. Потому что тратила она только на самое необходимое. Вот если бы продавался какой-нибудь из чугунных ангелов у артезианского колодца на главной площади. Все равно их там четверо. Стоят, чуть склонив головы, словно вслушиваясь, как бурлит струя, наливаясь в кувшины горедонских обывателей. Одного из этих ангелов она бы купила. Если из колодца у нее во дворе ушла вода, то ничего страшного, если останется без воды и ангел. А она бы и дальше ходила за водой на артезианский источник. Воду Илька носит не с главной площади: ходит она в другую сторону, вверх по улице Дяла, туда, где Мостовая выворачивает на большую дорогу. Там, у Воловьего квартала, тоже есть артезианская скважина. Туда Ильке ближе, чем на главную площадь.

В самом деле, так славно было бы видеть у себя во дворе какого-нибудь чугунного ангелочка. *Жаль, колодцы городские не продаются. Мало их, все равно приходится ждать, пока дойдет очередь до твоего кувшина. На тысячу человек хорошо если одна труба приходится. Нет воды – вино пейте.*

Богата ли она, Илька Сенди? Господское сословие здесь — совсем другой мир, отдельный от них, от Сенди, от Шимонфи. А что такое это господское сословие? В основном служилый люд, чиновники с тощими кошельками — и все-таки: господа. Уплывшие состояньица, разоренные усадебки. Горедон как вынужденное прибежище... И все же в церкви

они сидят в отдельных рядах; впереди — немногие настоящие, уцелевшие, и священник, произнося проповедь, часто именно к ним обращается взглядом и словом.

Если бы эти надменные господа продавали бы, скажем, свою осанку, посадку головы на плечах — она, Илька Сенди, пожалуй, согласилась бы купить сколько-нибудь. Ну, и еще взгляд их, перед которым словно некий туман постоянно клубится. *Хоть и обращается к ним преподобный, они даже его ухитряются не видеть, насквозь смотрят.* Однажды Ильке пришло в голову: вот бы на приданом этих гордых барышень, на пододеяльниках да наволочках, вышить вместо монограммы рояль. Когда-то завидовала она этим девочкам потому, что у них рояль есть. А ведь Эндре Сенди тоже мог бы купить рояль дочке. Да где там! Швейную машинку — это да. "Зингер" — это для нас. Пускай на швейной машинке девка играет. Она еще ходить не умела, когда ей швейную машинку купили. А как шить научилась — чтобы в случае чего на хлеб заработать, — так пускай шьет и пускай за деньги, это само собой. Эндре Сенди никогда не тратил время на то, чтобы обсуждать вопрос: а не купить ли дочери еще и рояль? Что из того, что хватило бы денег? Это еще не причина, чтобы обезьянничать, подражая тем, кто живет по-другому.

Не очень-то Илька любила бар. Хотя девочкой часто и подолгу заглядывалась на играющих в карты господ, у которых лица были невозмутимые и чистые, как из пергамента.

Но не очень-то терпела она и окраинный народец, тех, кто к ней за вином ходил, будто на службу.

Ремесленники, торговцы, даже господа учителя — все они пили собственное вино. А бедноте говорили: "Виноград ваш — с Терновой горы". Потому что на Терновой горе только терновник и был хороший, и тот, у кого виноградник был на той злосчастной горе, покупал вино у Ильки — если, разнообразия ради, собирался пить дома, а не в корчме. За литром-другим вина присылали обычно жену или кого-нибудь из детишек. Больше брали редко; зато поздним вечером по два-три раза стучались в калитку со своими глиняными кувшинами: "Нам бы винца немножко"; причем чаще в долг. Физиономия грустная, голос жалобный — но чтобы вина в кувшин вошло больше литра. Илька в таких случаях не мелочилась, наполняла кувшин доверху, пускай радуются, думают, что облапошили ее; ее даже не раздражало, что из-за этого люди, поминая ее, может, перемигиваются и вертят пальцем у виска. *Лишь бы не были у них такие скорбные физиономии, когда они за вином приходят. Пусть продают свою скорбь, зачем она им. Пусть продают за вино; вино унесут, а гроши свои сохранят. За*

скорбь свою получат крепкое, выдержанное вино: пускай напиваются до потери сознания. Чтобы сошла с лица скорбь. Да, хорошо было бы, если бы скорбь свою они оставили здесь: Ильке Сенди она пригодилась бы. *Если не за вино, то пускай бы за деньги отдали.* Вот только ни гордая посадка головы у господ, ни скорбный взгляд бедноты — эти вещи в Горедоне не продаются. Одни скорбят по тому, чего не получили и не получат, другие гордятся тем, что спустили, разбазарили.

Илька Сенди перебирала в уме, кто мог прийти к ней днем из горедонцев; только про крыжовничан не думала. Скажем, Петер Демьян, шурин Денеша, а то даже Мари, Денешева жена, вполне могли оказаться в Горедоне и тогда, конечно, зашли бы к ней, просто так, по привычке. Или чтобы сказать, вроде между делом: "Денеш-то вчера, бедолага, уехал, с двумя парнями". И Ильке на такую "случайную" информацию следовало бы откликнуться как-нибудь так: "И куда же их понесло?" — "Да в Америку отправились. Вы что, не знаете? Ну-ну. Денеш, хорош гусь, даже попрощаться не заглянул".

Размышляя насчет того, что и скорбь бедняков, и гордость богатых — все это нечто такое, что не продается, Илька Сенди совсем позабыла про крестьян, жителей Крыжовничьего. Словно в жизни их не было ничего, что она могла бы пожелать для себя. А может, и в самом деле не было. Что верно, то верно: их она знала намного лучше, чем горедонцев, стоящих ниже или выше нее.

Она поднялась с лежанки, подбросила в печку дров, пошла в горницу, сняла постельное белье после Денеша, отнесла его в заднюю горницу. Потом притащила голый соломенный матрац к печке, разорвала на нем шов, подняла на плите металлические круги и принялась горстями бросать солому в огонь. Пламя взметнулось, норовя лизнуть ей руки, плечи: сноп огня временами метался из стороны в сторону и рассыпался искрами: в такие моменты порыв ветра задувал в трубу. Лицо Ильки, как сердце, лихорадочно пульсировало в красных сполохах. Глаза были сощурены в щелки, жар воспалил губы, но все это была не настоящая мука. Терзай ее сейчас какое-нибудь подлинное страдание, она, пожалуй, запела бы. Грубое полотно тюфяка обмякло, сморщилось, Илька все глубже запускала туда руку; наконец, смяв его в комок, целиком затолкала в печку и бросила сверху круги. Пламя билось и клокотало, печь, давясь, извергала дым; потом все улеглось, утихомирилось, на решете остался лишь подрагивающий слой пепла.

Потом, проветрив кухню от дыма, она разобрала в комнате кровать, доски по одной отнесла на чердак. Другую кровать, свою, передвинула к стене.

В полночь, когда мимо ворот шел фонарщик, Илька стояла в конце галереи. Она слышала, как стукнула лесенка, прислоненная к последнему столбу, свет заморгал, замерцал, и ветер помог ему погаснуть совсем.

Фонарщик прошаркал обратно, и с ним замерли последние гоpедонские ночные звуки. Тишина густела, подергиваясь морщинистой пленкой, как остывшее молоко; и тут, в углу горницы, обозначились вещи Денеша Гёнци. *Все еще что-то остается! Когда я наконец от тебя избавлюсь?* Илька схватила стоящие в углу, сморщившиеся в щиколотке сапоги, под другую руку взяла черные холщовые штаны, свитку и тоже унесла, швырнула вслед Денешу: дескать, если холодно там, на дне колодца, так надень, грейся.

Туго набитый переметный мешок тоже стоял в горнице, прислоненный к шкафу. *А этот что тут делает? Не мог найти себе какой-нибудь паршивый деревянный чемодан. Уж так торопился, так торопился. И чем он его так набил?*

Илька попыталась развязать туго стянутый шнурок, но пальцы не справились с ним, и она бросила это дело. *Трудно, что ли, угадать, что там внутри. Одежка, барахло всякое. Еще? Ну, кусок сала, несколько луковиц, хлеб. Тот, что жуют в поезде, глотая слезы. А потом в море все выблюют. В газетах пишут, что на пароходе все маются тошнотой, как бабы на сносях. Плачутся, скулят – и газета скулит вместе с ними, – а все равно едут. Конечно, газета не для них пишется... Парни, с которыми он отправился, сейчас, поди, уже в порту. Где Денеш Гёнци? Где-то отстал. Ничего, к отплытию появится. А не появится – будет другой пароход. А то, может, передумал он, вернулся к юбке своей Мари. Ну да, они знают, что он в Гоpедоне не сел на поезд. Пускай, это их забота. Все равно бы он сюда никогда не вернулся. А вернулся бы – к кому? И каким бы стал Денеш Гёнци, вернувшись?*

По-городскому одетый, с большими чемоданами сходит он с поезда, везет доллары. На станции нанимает подводу до Крыжовничьего. Глядя перед собой, выдвинув подбородок, едет по улице Дяла, сюда даже не повернется, только уголком глаза следит, смотрит ли из окна Илька. В воскресенье, придя в церковь, садится в первый ряд, и никто не смеет ему напомнить, что такие, как он, в Крыжовничьем всегда сидели где-нибудь позади. Никто не смеет ему ничего сказать, потому что ему принадлежит мельница, он нанимает поденщиков к своей молотилке, а земли у него столько, что теперь он сам может сдавать кукурузное поле в долю.

Или высмотрит себе продающийся дом в Горедоне, усадьбу, выставленную на аукцион, вселится туда с чадами и домочадцами, отдаст сыновей в учебу. Собственное вино станет делать на Стражевой горе или на Сануте. И будет хмуриться, если ему напомнят, что когда-то батрачил он на чужих виноградниках.

Но напрасно пытается Илька представить парня-крыжовничанина американцем, напрасно старается представить, как он приезжает домой — пускай он и вернется понурый, сломленный, не привезя из-за океана даже горстку земли, чтобы здесь у него уродилось хоть на пару снопов пшеницы больше, чем до того. Напрасно злится Илька, напрасно пытается обмануть себя: стоит ей подумать о живом Денеше Гёнци, и она тут же понимает, что никак нельзя представить его как американца.

Собака и от сытой жизни взбеситься может? В какой еще горедонский дом, тем более в горницу, позволят мужику внести такую суму? Как вообще попал сюда этот мешок? Денеш ведь, когда пришел, в кухне его оставил, за дверью. Другому бы на крыльце разрешили оставить – и он бы спасибо сказал...

Денеш не только за богатством отправился в Америку, не только за место в первом ряду в церкви. Денеш — сбежать хотел, увезти с собой то, что, может быть, всего раз случилось в этих краях: украсть и увезти то, что пережил с ней. *Но почему он скрывал до последнего вечера, что собрался уехать?..* Позже Илька часто ломала голову: не встреть она его в тот день у колодца, зашел бы он к ней вообще? *Может, все-таки не исчез бы он, не сказав хотя бы, мол, прощайте, барышня, и храни вас Господь. Может быть... Кто его знает?.. И откуда они собрали, так вдруг, столько денег на пароход? И хватит ли у Мари сил продержаться, пока Денеш пришлет ей денег? И что будет теперь, когда Денеш не пришлет из Америки ничего? Вообще не вернется домой, ни богачом, ни побитой собакой?*

Она подхватила тяжелый мешок и понесла его наружу, следом за Денешем. Может, надеялась, что вместе с мешком окончательно исчезнут из дома и ее тягостные раздумья. Опустила мешок на снег возле колодца, потом столкнула его в черноту.

— Этого тебе хватит, пока до Америки доберешься, — сказала она, не слушая, как рушится вниз тяжелая сума.

Может, как раз потому, что внимание ее в тот момент отвлеклось, позже ей стало казаться, что мешок не долетел до дна, повис где-то, зацепившись за камни... или просто так повис. Денеш Гёнци тянется к нему, пытаясь достать, но, когда он касается его пальцами, мешок взлетает выше, как надутый свиной пузырь. Денеш прыгает на дне колодца, чтобы пой-

мать, вернуть его. Илька сейчас не может представить, что Денеша нет в живых. Спроси ее кто-нибудь сейчас, она бы не сумела ответить, как он попал туда, в колодец. Она смотрела в черное зияющее отверстие, словно ожидая, что Денеш позовет ее, или надеясь услышать, как он бранится, пытаясь достать парящий мешок. Но не позвал ее Денеш; не донеслось из колодца и брани. Напрасно Илька ждала, напрасно прислушивалась. Вместо этого в сознание вернулась реальность: заснеженный двор, темная ограда, черное безмолвие ночи. Ветер утих. Снег превращался в кашицу: скоро ему уходить. Мартовский снег — гость недолгий. Илька выпрямилась, попятилась от колодца, набрала горсть снега, принялась тереть им лицо. *Надо оставаться красивой, и не спрашивать, для кого. И для чего. Люди говорят, не заслужила я своей красоты. Если я и в самом деле красивая...*

Она медленно добрела до крыльца, возле ступенек обила снег с обуви, вошла в дом и легла. *Потому он сбежал, несчастный, что не мог понять что к чему. Непонимание и погнало его в Америку. А зачем надо все понимать? Видно, этим важнее, чем нам, уяснить, что с ними происходит. Да, времени прошло много, и нельзя уже считать хмельным сном то, что между нами случилось. А поверить в это он тоже не смел, потому и решил сбежать, несчастный. Думал, уедет за тридевять земель, за тридевять морей – и забудет Солнечный верх, забудет гоpедонские рассветы. И те несколько ночей. Вот так он хотел вернуться к Мари? Да ведь он ее никогда не бросал. Через Америку – обратно в Крыжовничье? Не слишком ли большой крюк? И все-таки он на это решился.*

Только ведь даром туда не возят таких Денешей Гёнци. В Аргентине, говорят, землю дают бесплатно, но далеко туда плыть, большие это деньги. Наверно, он все же в шахтеры хотел податься. Вот шахта его и похоронила. Какие-то деньги все-таки должны были у него быть. Теперь они там, с ним. Поди, в подкладку зашиты.

Странно было Ильке, что у нее они не попросили ни крейцера. Прежде, как прижмет, всегда к ней бежали просить взаймы. Она подумала: если бы к ней обратились за помощью — а она бы дала с радостью, — то Денеш Гёнци наверняка бы знал, на какой пароход он сядет. Где же был тот момент, который определил его судьбу? Ильке казалось: Денеш и избавиться от нее попробует не иначе, как только с ее помощью. Она снова увидела его растерянным и смущенным, таким, каким встретила у колодца.

Тихий рокот донесся снаружи. Илька приподнялась на локте, прислушалась: шестерик. Странный, вялый, но все-таки слышимый издали: в Гоpедоне этот ветер хорошо знали. Он

не носился между домами, не хлестал по стенам, шумел вверху, в ущельях, и, когда приходил, прогонял ту погоду, которая как раз стояла в долине. Сейчас он съест снег, подумала Илька; стало быть, конец зиме. Для того, может, и возвратилась сегодня поздняя метель, чтобы у шестерика причина была настоящей весне проторить дорогу.

Правда, позавчера уже и дорога высохла, стала пыльной, а зимний снег, серый, осевший, держался только в горных щелях. Дорога была пыльной, и Денеш Гёнци с двумя другими кандидатами в американцы пришли в город босыми, но в воскресной одежде и в шляпах. Шагали они молча, упрямо опустив головы, тащили мешки с домашней провизией: в расчете на долгое путешествие. Сапоги несли на локте, чтобы чистыми были, когда войдут в Горедон. За трубой, из которой текла артезианская вода, остановились, сложили поклажу на проволочную сетку над бассейном, немного перевели дух и, беря ладонями воду из желоба, аккуратно вымыли ноги. Потом с усилием натянули тесные сапоги.

Выглядели они торжественно; каждое движение было как бы частью строгого ритуала. Илька, забыв обо всем, смотрела на их одинаково наклонившиеся фигуры в черной одежде: она даже не заметила, что вода в ее кувшине переливается через край. Они, все трое, поднялись, а она подставила под струю второй кувшин; тут-то Денеш Гёнци, отстав немного от остальных, глянул на нее из-под края холщовой шляпы и обронил, что зайдет потом, только сначала в комитатской управе уладят кое-какие дела.

Голос у него был охрипший. Илька забеспокоилась, не случилось ли чего, но потом только махнула, идите, мол, идите, потом все расскажете. И Денеш двинулся следом за теми двумя; двинулся, вспоминается сейчас Ильке, как-то поспешно, словно с ними себя чувствовал в большей безопасности.

Когда она в те минуты смотрела вслед уходящему Денешу, он показался ей как-то больше, сильнее, чем до сих пор: такой высокий, ладный мужчина, любо-дорого смотреть. Хотя Денеш — может, потому, что чувствовал на себе ее взгляд, — шел как раз слегка кособочась, будто старался быть меньше, чем на самом деле. Будто хотел стать похожим на того, кого Илька знала прежде: на крестьянина с мотыгой; на возчика, ведущего под уздцы упряжку. Как меняется человек, если на нем темный парадный пиджак, сапоги, шляпа и если он расправит плечи.

В эту ночь, вспоминая ту краткую встречу у артезианского источника, Илька подумала, что Мари-то, она всегда видела своего мужа именно таким. Даже наверняка и в те дни, когда

Денеш накидывал на плечи старую, латаную-перелатаную шубу, чтобы ехать на базар, или когда, промокший до нитки, добирался с Солнечного верха домой. Да, жена всегда будет вспоминать его молодцеватым, свежевыбритым. Когда она увидела его, молодого, с цветком на шляпе, в какое-то давнее майское воскресенье — а увидев, сразу влюбилась, — он, должно быть, был точь-в-точь таким, каким рисовали в городских газетах селянина-землепашца. А для нее, Ильки, он теперь навечно останется поденщиком с мотыгой, горбатящимся меж виноградных лоз; ведь в праздничной одежде он явился перед ее глазами куда позже.

Пока там, у колодца, вода лилась во второй кувшин, а она провожала взглядом троих удаляющихся крыжовничан, она лишь догадывалась, что они тут по какому-то серьезному, важному делу: они не разговаривали между собой, не переглядывались, а целеустремленно шагали к комитатской управе. Она задумалась, почему Денеш не оставил свой мешок у нее, почему не захотел расстаться с ним даже на короткое время, пока будет ходить по казенным местам.

Потом, дожидаясь Денеша, Илька впервые подумала о том, что в жизни этих крестьян, батрачащих на чужих виноградниках, есть много такого, чего она не знает, о чем даже не догадывается. Что из того, что они постоянно копошатся около ее дома и на винограднике, и что из того, что с Денешем Гёнци они, как ей казалось, стали такими близкими, ближе некуда? Ему все-таки удалось утаить от нее половину своей жизни, своих забот. Еще ей подумалось, что Денеш Гёнци, наверное, лучше знает ее, больше увидел из ее жизни, чем она позволяла себе ему открыть. Денеш, например, знает, как в Гоpедоне хоронят. Он ведь с начала до конца присутствовал на похоронах "доброй славной барыни" Кристины Сенди, царствие ей небесное; пожалуй, его и на погребение господина Эндре в свое время приводили. На материных похоронах Илька видела Денеша мельком: сначала тут, в конце галереи, потом на кладбище, между могилами. Наверняка на нем была та же праздничная одежда, что и теперь, когда он направился в управу; но ей тогда не до того было, чтобы его разглядывать. Да, Денеш, наверно, и в тех гоpедонских похоронах увидел больше, чем она. Он был здесь в ту ночь, когда вдова Сенди отдала Богу душу; его Илька послала утром, чтобы известил родню. С каким выражением восприняли скорбную весть Сенди-Бирюки или материн брат, господин Бела Шимонфи, об этом тоже мог бы сказать что-нибудь только Денеш.

Илька, впрочем, об этом никогда Денеша не расспрашивала. Этой ночью, когда она заново переживала последнюю

встречу с Денешем, ей вдруг пришло в голову: а как хоронили бы Денеша, умри он в Крыжовничьем, до того, как отправился в Америку? Правда, с чего бы мог вдруг помереть такой молодой, крепкий мужик?

Скажем, при расчистке леса зашибет его упавшее дерево.

Покусает бешеная собака.

Бык затопчет.

Застанет в поле гроза: он встанет под дерево, а в дерево ударит молния.

Другой смерти не могла Илька придумать для Денеша Гёнци. А насчет того, как оплакивают, как прощаются в Крыжовничьем с покойником, она и представить себе не могла. Наверно, и там, как везде, проводят над гробом ночь. Всю ночь горит в горнице свет, вроде бы для того, чтобы не подпускать к нему нечистую силу. То ли к нему, то ли к тем, кто его оплакивает. Потому что если потом, после долгого бодрствования. ты наконец заснешь, сон уже не даст мыслям о смерти терзать твою душу. Так что ночное бодрствование над гробом — вроде голодания: душа изнывает без сна, и потом ей легче... Люди едят не спеша, долго пережевывают кусок, пьют вино, а потрескивание керосиновой лампы воспринимают острее, чем слова друг друга. Что в жизни Денеша Гёнци вспомнили бы, скорбя по нему, близкие?

Много чего передумала Илька; но если что-то представляла не так, то только сам Денеш мог бы, сидя на краю барышниной постели, поправить ее ошибки. *Пареньком рос он послушным, работящим; тот мешок пшеницы и мешок кукурузы, что надо было священнику заплатить за конфирмацию, он сам себе заработал. Парнем не буянил, не задирался, не был драчуном. После женитьбы трудился от темна до темна, в субботу ездил на базар, в воскресенье шел в церковь. С женой обращался по-хорошему, жил, можно сказать, для семьи.*

— Ну нет, в деревне бы так не сказали, верно, Денеш? — произнесла она вслух, словно Денеш в самом деле сидел на краю постели. — Что значит: "жил для семьи?" Вы там не говорите такого. Вы бы там сказали: "Ни бабу не обижал, ни детишек". А вот "от темна до темна" — это и по-вашему так. Надеюсь, не забыли бы и о том, как старался Денеш Гёнци попасть в Горедон, на виноградники к Сенди. И о том, как семья Сенди ценила Денеша Гёнци. "И чего ради его потянуло в Америку, чего ради? Чтобы от нужды избавиться? Сколько людей живут куда хуже, чем Гёнци, а не думают про Америку". Вот что, наверно, говорили бы, Денеш, люди, сидя ночью над твоим гробом...

Если деревне решение кого-то из ее сыновей встает поперек горла, если деревня не понимает этого решения, дело не

может кончиться хорошо. Денешу Гёнци на роду было написано погонять лошадей да мотыжить виноградники в Гоpедоне, чтобы добавить к своему еще немного; он не из бродяг, не из той породы, что мечтает земли домой из Америки привезти. Вырезать, скажем, в Аргентине солидный — какой именно? — кусок, свернуть его, как ковер, красивый такой, зеленый, и еще желтый, и еще черный, погрузить на пароход, как какой-нибудь багаж, потом, дома, развернуть, разложить у подножья Грабельной горы... Нет, на такое дело не готовила деревня этого миролюбивого парня. А ведь к мнению, к приговору деревни прислушиваются, каким-то таинственным образом, боги. Этот народ, что живет в холмах, возможно, и скрежещет зубами, когда его притесняют; но, когда они приходят к священнику, в душе у них разливается благодать, и чувствуют они, что Бог простит им все бранные слова. В такие моменты деревня тихо, со стариковской покорностью, примиряется с Богом.

Гоpедонцы же, считает Илька, всю жизнь убегают от Бога.

Принеся домой два кувшина с водой, Илька стала ждать, когда придет Денеш Гёнци и поделится с ней своими заботами. Прошел полдень, вечер близился, а она все стояла у швейной машинки, прислушивалась, когда же простучат его сапоги под окном. *Может, беда какая случилась? Но что могло быть? Неужели угнали скотину у кого-то? Может, те двое что-то натворили, а Денеш у них – свидетелем? Тогда бы, правда, их жандармы вели. И вряд ли был бы у них такой торжественный вид.*

И еще думала она, что вряд ли он сегодня придет. *Рад, поди, бедолага, что засветло домой сможет вернуться.*

До самого вечера она так ничем и не смогла заняться, все валилось из рук. Она пошла на кухню зажечь лампу: может, кто придет за вином. И вдруг обнаружила: на веранде перед дверью стоит Денеш Гёнци. В тот момент, когда Илька увидела его темный силуэт, она сначала испытала даже какое-то разочарование: вроде бы он обманул ее, не дал ей услышать ни стук калитки, ни звук шагов во дворе.

Он стоял неподвижно; не пошевелился, даже увидев ее за стеклянной дверью, словно все не мог решить: входить, не входить, что вообще делать? Она открыла дверь, Денеш переступил порог, опустил мешок на пол. Потом снял шляпу, но держал ее двумя руками перед собой. Не поздоровался, вообще ничего не сказал; голову держал упрямо и отстраненно, как чужой. Илька подошла ближе, так, что чувствовала его дыхание.

– Что случилось, Денеш? Я никогда вас таким не видала, – сказала Илька, потом обняла его за шею и поцеловала.

– Теперь вот увидели, барышня. – Он все вертел в руках шляпу, которая смялась от объятий, пробовал вернуть ей прежнюю форму.

– Денеш, да что с вами?

– А то, барышня, что уезжаем мы, – ответил он спустя долго время, и Илька поняла: не обратно, в Крыжовничье. они уезжают.

– Куда к чертям уезжаете? В солдатах вы уже были.

– Были.

– Или война опять?

– Нет, нету войны.

– А куда тогда? Что случилось?

– В Америку мы едем.

– Вот и хорошо. Там арапов увидите, настоящих.

Она пыталась скрыть потрясение. Потом почувствовала. что это ей удалось даже лучше, чем требовалось. А ведь знала: Денеш ждал, что она удивится; может, надеялся на сочувствие. Или, может, готов был к тому, что она рассердится.

– А я-то тут целый день беспокоюсь, не случилось ли с вами беды.

– Америка – куда уж больше беда.

– Насколько я знаю, в Крыжовничьем никого еще силой не заставляли в Америку ехать.

– Не в том дело, что силой.

– Не силой, это уж точно. Силой за стол пировать не сажают. Когда едете?

– Сегодня, ночным поездом.

– О, время пока есть. Снимайте свитку, тепло здесь.

Денеш снял свитку и вместе со шляпой положил ее на мешок. Льняная сорочка его забелела в густеющих сумерках. Илька зажгла лампу. Сапоги и суконные, солдатского покроя, штаны сообщали его фигуре какую-то непривычную собранность; уверенность, которой веяло от ладно сидящей на нем белой рубахи, была явно наигранной, но в тоже время была неотделима сейчас от того, что его в этот момент переполняло.

– Садитесь... Коли уж решили зайти напоследок.

Денеш сел к столу. Но не сказал, мол, не думаете же вы, барышня, что я уеду не попрощавшись. Он не сказал ничего.

– А ведь наверняка была мысль, – продолжала Илька, – дескать, коли все равно уезжать, так ни чему и прощаться. Дескать, не буду барышне сердце зря надрывать всякими там прощаниями-переживаниями.

— Вы же видите, барышня, я пришел.

— Вижу, Денеш. И вижу, что вы без большой радости говорите об этом. Расскажите хоть, как вы решились уехать.

— Даже не знаю... Другая там жизнь.

— Другая. И может, лучше.

— Вот и мы так подумали.

— А как вы там разговаривать будете?

— Венгров там уже достаточно. Ну, и... если прижмет, научишься по-тамошнему. Да и не разговаривать мы туда едем. Работать, а работать, даже если говорить не умеешь, все равно можно. Да и не в этом главная беда. А в том, что тут мы родились, тут выросли, а теперь вот отправляемся неведомо куда. Работы мы никогда не боялись. А вот неизвестность...

— Трудно отправляться в неизвестность, верю. Труднее вам, Денеш, только остаться...

Она впервые почувствовала в своем голосе что-то вроде укора или горечи. А этого она хотела избежать: к чему усугублять и без того трудное расставание. Но и слова, и поведение обоих казались ей такими фальшивыми, словно они забрели случайно в храм какой-то чужой, незнакомой веры — и там захотели превзойти в набожности всех, для кого эта неведомая вера и ритуалы ее — свои.

В самом деле, что это за стремление пощадить чувства другого? Что это за тактичные фразы: "Америка — куда уж больше беда"? Или: "Как вы решились на это?" И какое имеет значение, намеревался он зайти или нет? Не все ли теперь равно? Хорошо еще, что они не говорят, вытирая слезы: "Правда же, Денеш, вы там все-таки будете вспоминать меня?" Господи, тошно подумать даже... А он в ответ: *Не забывайте и вы меня, барышня...*

— Долго я над этим голову ломал, — заговорил Денеш. — Ведь вот посмотреть: что такое моя жизнь? Чей я, к чему отношусь? — Илька вдруг напряженно прислушалась. — И где я живу: ни в воде, ни на суше. Понимаете меня, барышня?

— Я — да. Кто-кто, а я...

— Не знаю даже, есть ли смысл об этом говорить.

— Не знаю. До сих пор мы с вами об этом не говорили. Скажи кто, что когда-нибудь будем, я бы не поверила. Наверно, необходимости не было. Или, если и была, мы все же скорее в себе держали. Потому что не говорить о себе — до сих пор всегда легче было, чем говорить.

— Мы настолько разные с вами, настолько разная жизнь у нас, что боялись и сказать, и услышать, что мы друг о дружке думаем.

— Если вообще думали друг о дружке.

— Это вы меня имеете в виду, барышня? Я потому не заговаривал никогда, что чувствовал: вы, барышня, этого от меня не ждете. И сам знал: такого и я не могу от вас ждать, чтобы вы о нас думали. Так мы и жили — каждый своей жизнью.

Илька смотрела на Денеша, словно на странного пришельца, которого видит впервые в жизни. Смущение, раздражение, сгущавшие атмосферу меж ними, словно бы начали рассеиваться.

— Я никогда не смела додумать до конца, зачем вы мне, Денеш, были нужны.

— Но, я так думаю, всегда знали, что барышня Сенди не может принадлежать Денешу Гёнци из Крыжовничьего. И не только потому, что у меня там Мари и детишки. А потому, что просто быть такого не может.

— Даже если она все-таки принадлежит ему? И даже в такие моменты, когда принадлежит до конца?

— Я это не могу так сказать. Я одно могу сказать: раз вы, барышня, есть... не для меня есть, а... не знаю, какие слова найти... просто раз вы есть, то я уже потерял то, что мое. Лишился и того, что Бог мне предназначил.

— Что же мне, Денеш, исчезнуть? Рассеяться как туман? Или что сделать?

Денеш резко повернулся на стуле, посмотрел на Ильку, потом прикрыл глаза. Он немного утратил уверенность, но все же попытался продолжить: вдруг Илька уловит в его словах то, что сам он сказать не способен.

— Ничто не мое: ни жена, ни детишки, ни дом, ни то маленькое хозяйство... ничто, что вообще-то должно было бы быть моим. Потому что есть Гоpедон, есть Солнечный верх, а там, наверху, та веранда, и есть этот дом, и барышня, и все, что я себе бы даже и пожелать не мог, а оно все-таки есть, и для меня есть. Но в расплату за все за это моя жизнь — не моя...

— Стало быть, для того, чтобы здесь, в Горедоне, и в Крыжовничьем все стало на свое место, вам, Денеш, надо уехать в Америку... Бедный Денеш. Понимаю я, Денеш, как не понять. Только я все равно есть, Денеш, хоть вы и уезжаете.

Денеш сощурил глаза, словно не хотел, чтобы Илька, если посмотрит на него, уловила его взгляд. Черты же его лица ис-

казились, смешались, как будто на него вот-вот должна была обрушиться какая-то длительная боль; или страх.

— Вижу, вы догадываетесь, о чем я думаю, — сказала девушка. — Ладно, сегодня вечером сядете вы на поезд, потом на пароход. Америка вас примет: жилье даст, работу, то есть все пойдет как по маслу. А потом — вспомните, что осталось дома.

Денеш встал от стола, попятился к своему мешку, сплетя руки на груди; льняная рубашка туго натянулась на плечах. Голова была упрямо поднята и повернута вбок, поэтому он смотрел на девушку немного искоса. Он словно прикидывал, не сбежать ли ему. Может быть, от себя самого.

— Все равно вспомните, — продолжала Илька. — Во всяком случае, попытаетесь. В мыслях переберете дом, семью, деревню, все то, что дома не могло вам принадлежать, Денеш, потому что тут была я, и Горедон, и так далее. То есть вы, Денеш, так представляете: все то, чего вас тут, дома, лишила барышня Сенди, "уже тем, что она есть", вам удастся вернуть, вспоминая родину. Так-то оно так, Денеш, только мы не можем себе приказать, что вспоминать и что нет. А ведь я все равно есть. Просто есть, и все. И вы это тоже знаете. Значит, легко может случиться, что я тоже вам вспомнюсь. Даже если вам этого не захочется. Кто знает, вдруг вы обо мне будете думать не меньше, чем о других. А может, только обо мне и будете думать. Что тогда, Денеш?

Он подошел к столу, потом снова вернулся к мешку, нагнулся за свиткой.

— Полно, не торопитесь. Восемь часов всего. До полуночи далеко. Сядьте, я приготовлю поесть что-нибудь.

— Не тратьте время, барышня. — Он нагнулся к свитке, достал из кармана сигареты. Хмурое лицо его немного смягчилось.

— Дорога долгая перед вами, не спешите раньше времени тратить припасы.

— На то они и припасы, чтобы тратить.

Илька раздула огонь, накрыла на стол, принесла сало, отрезала кусок, бросила его в сковороду, разбила несколько яиц.

Вернулась было в кладовку за вином, но передумала: не угощать же Денеша на прощанье тем вином, которое она продает возчикам с верхнего конца улицы. Взяв небольшой стеклянный кувшинчик, побежала в погреб. Два года назад Денеш по ее просьбе собрал виноград с нескольких кустов фурминта, с тех пор это вино отдельно выдерживалось в тридцатилитровом бочонке. Фонарь она взять забыла, нашла

спички; на одной из бочек стоял огарок свечи. Открыв бочонок и наполнив кувшин, она так заторопилась обратно, что забыла погасить свечу. Сало в сковородке шипело, становилось прозрачным, яичный белок, наоборот, побелел. Она сняла сковородку с огня, разделила яичницу на две части.

— Полно, есть тут нож, не развязывайте из-за него мешок.

Денеш остановился в нерешительности: доставать нож, не доставать; потом смущенно сел к столу. Оттого что разговор этот, такой необычный, странный, на некоторое время прервался, оба испытали какое-то глубокое облегчение; так они и принялись за еду, чувствуя почти благодарность друг к другу за молчание. Илька налила обоим вина, чокнулась с ним стаканом, но не смогла даже произнести ни "ваше здоровье", ни "храни вас Бог". Денеш тоже пил вино молча. Илька снова наполнила стаканы, потом убрала со стола. Видя, что Денеш по-прежнему молчит, глядя в пространство, она пошла в горницу, расстелила постель. Потом опять села к кухонному столу и попыталась с помощью вина разговорить Денеша.

— Пейте, Денеш. Такого вы не скоро теперь попробуете.

— Если вообще попробую когда-нибудь. Такого я и здесь до сих пор не пивал... Не сердитесь на меня, барышня, за мои слова. Мне иной раз самому кажется, что я — уже не я.

— Не сержусь я, Денеш. Чего мне сердиться? Но все-таки вы от меня не ждите, чтобы я вас жалела.

— Когда я у вас, барышня... и так уже давно продолжается, то мне часто кажется, нет больше ничего, нет Крыжовничьего, нет глинобитного пола, нет коровьего мычания, нет жены, которая все на что-нибудь жалуется, нет детей, которые ревут... Есть только вы, барышня. А потом, в следующий момент, я готов вскочить и бегом бежать, чтобы немедленно увидеть, потрогать то, что оставил в Крыжовничьем, у Грабельной горы. Бывает, спешу домой — и даже на дорогу не гляжу, только вижу вершину холма, потом другого, и бегу, словно за мной на коне кто гонится. Потом, как увижу внизу нашу колокольню, и хаты, и свою среди них, и трубу, что дымится, и что ничего не случилось с деревней, — переведу дух и успокоюсь. С детских лет прихожу в Горедон, вы ведь знаете, но никогда раньше не было у меня такой тревоги. Только с тех пор.

— С тех пор как не только виноградник наш мотыжите на Солнечном верхе...

— Можно и так сказать. Я ведь простой землероб, мне труднее по имени называть, что во мне живет. Даже если и нахожу слова, все равно не смею выговорить.

— Но сегодня все же собрались с духом и назвали по имени то, что можно назвать. Это как у католиков исповедь перед смертью. Подготовились вы основательно, только не уверены были, будет ли у вас случай, то есть будете ли вы его искать, чтобы рассказать мне, как бегали между Крыжовничьим и Горедоном. И обо всех своих тревогах.

— Иной раз я как лунатик был. И в самом деле боялся. Чего-то такого боялся, чего и в сказке не бывает. Скажем, пока я здесь, в Горедоне, Крыжовничье вдруг исчезнет. Просто денутся куда-то дома — и все. Поля с кукурузой, с пшеницей останутся, а деревни — как не бывало. Может, перенесло куда-то в другие края. И я должен бежать до тех пор, пока не найду ее там, где она оказалась. И я все думаю: а найду ли? И в самом ли деле я рано утром пришел из Крыжовничьего — я уж и в этом сомневаюсь — или, может быть, всегда был в Горедоне? Здесь, возле вас, барышня. А тогда — куда я бегу, какую ищу деревню?.. Или я потому бегу из Горедона, от вас, что прогоняют меня здешние прочь, я же знаю, есть один деревенский дом, где могу затаиться, спрятаться? В конце концов мне уже и деревня, ее окрестности стали казаться чужими, хотя я там каждый камешек, каждую кротовину знаю. А теперь... тропка, борозды — все чужое... А то еще думаю: если в следующей впадине не будет деревни и мне придется идти и идти, пока ее не найду, то ведь так я все дальше буду уходить от Горедона, от Солнечного верха, от барышни. А оттуда, с края света, попаду я потом обратно? Или за это время и Горедона не станет тут, под горой, и, хоть я и вернусь, для меня барышни больше не будет... Потом, как увижу наконец Крыжовничье, снова готов бежать: не приключилось ли чего с детишками? Если успеваю прийти засветло, то вся команда там копошится, под шелковицей. Ну, тогда я начинаю успокаиваться и думаю только о том, чтобы жена, когда выйдет навстречу, не заметила, что со мной не все в порядке. А тут и вечер наступает. Дома — всегда вечер. Печка — белая, одеяло на кровати — коричневое, тюльпан, что на сундуке намалеван, треснул. Мари детишек моет в корыте, груди ее раскачиваются над ними, как кувшин с водой над головами у жнецов. Я иду к скотине, даю ей корм, мы тоже что-нибудь едим, гасим лампу, тишина... Дом будто становится меньше, обнимает нас, окружает. Я боюсь шевельнуться, боюсь руку вытянуть, боюсь сесть на кровати, чтобы не стукнуться о стену или о потолочную балку...

Илька поднялась от стола. Она почувствовала, что зябнет, и прислонилась к краю плиты. Так она и стояла, не сводя с Денеша глаз.

– Если, Денеш, вы состаритесь в Крыжовничьем, то станете деревенским сказочником, вокруг вас будет собираться детвора, или молодежь в прядильне, послушать ваши истории, – сказала она – и вдруг замолчала. *Неправда, не будет этого, не будет Денеш рассказывать им про свои американские приключения. Ни единой истории не расскажет Денеш своим односельчанам, которые любят слушать всякие чудеса, радоваться, и ужасаться, и качать головой: ишь ты, мол, и чего только не бывает на свете.*

Илька тогда уже знала: пространство, где Денеш Гёнци так неожиданно раскрыл себя, ограничено этими несколькими часами, часами прощания. А потом? Потом Денеш встанет и уйдет, даря себя пустоте, неизвестности.

В то же время она не могла понять, откуда эта дурацкая строгость, которую Денеш вывесил на лицо: он словно старался запретить своим чертам, чтобы они полнее отражали его слова, не давая ему переживать их... Но то, что Денеш Гёнци сегодня вечером так раскрыл себя, тем ли объясняется лишь, что он уезжает в Америку? Может быть, он, даже вне всякой связи со своим отъездом, искореняет ее сейчас в своем сердце. Она же, слушая его, может быть, как раз помогает ему истребить, убить ее в себе. *А потом он просто возьмет шляпу, мешок – и отправится на станцию? Сядет на пароход, со всякими бродягами и проходимцами? Но ведь они, его спутники, понятия не будут иметь о том, что этот человек был когда-то таким богатым, что ему пришлось сжечь половину своего богатства, чтобы увидеть и оценить вторую половину... Нет, все-таки как себе представляет этот Денеш Гёнци: вот встанет, наденет шляпу – и заберет с собой все, что вообще-то оставляет под Грабельной горой?..*

Куда, в какую пустыню унесет он Крыжовничье? Зачем нужно ему спрятать его в какой-нибудь шахте, бросить в зубья какого-нибудь станка?

Зачем он хочет лишить этот край себя?

– Хорошо еще, что в это время тебе ни до чего нет дела, – снова заговорил Денеш. – Вечером, наработавшись. Счастье еще, что так. Редко со мной случается, что заснуть не могу, да и тогда мне начинает казаться, что и дом, и деревня вместе со мной куда-то проваливаются. Холмы надвигаются, наваливаются, хоронят нас под собой, к утру даже верхушки на колокольне не будет видно. Как-то, давно уж, рассказывали, где-то, за третьей горой от нас, в сторону равнины, целая деревня провалилась под землю, и до сих пор в бурю слыхать колокол на ее колокольне... Ну и, потом, барышня же меня ждет. Если тут было какое-нибудь дело, я еле дожидался рассвета, чтобы к Солнечному верху отправиться. А если дома

оставался, на хозяйстве, то к полудню уже прислушивался, не принесет ли ветер отсюда колокольный звон. И если в самом деле звон доносился, заступ падал у меня из рук, и охватывала меня какая-то невыносимая тоска. И это — так странно — всегда меня успокаивало. Ведь куда достает колокольный звон, туда и человек доберется с рассвета до утра. Но в Горедон я все же не так приходил, как спешил домой, в Крыжовничье. Потому что, если есть Крыжовничье, значит, есть Мари. Сюда, в эту сторону, с барышней, так не выходило. Потому что я в барышню никогда до конца не верил. То, что Горедон есть, доказывал колокол. И в виноградник я верил, в нем я вырос; и в базар, и в дом ваш. Только в барышне сомневался. Я, когда представлял себе этот дом, всегда видел веранду и старую хозяйку, царствие ей небесное, как она сидит в плетеном кресле, с корзиной на коленях, фасоль чистит...

— Мать оставьте в покое, пусть она спит себе, — сказала Илька. Денеш умолк.

— Ладно, оставлю... — произнес он спустя некоторое время. — Словом, как-то не мог я поверить, что вы, барышня, и для меня существуете, — продолжил он. — Я знал, что должен прийти, и чуть не бегом бежал по росе, но пока бежал, все над собой насмехался: "И что ты, Денеш Гёнци, о себе воображаешь? Городская барышня — и ты? Свихнулся ты, Денеш Гёнци. Не в своем ты уме, видать, если тебе в голову такое приходит. Может, какой-нибудь дед или прадед твой мечтал, эх, как оно сладко, должно быть, девку Сенди обнять, и эти их завихрения теперь в тебе отдаются". И пробую я над собой посмеяться. И начинаю думать, что нет никакой барышни Ильки... Но ведь за каждой мыслью тут же появляется другая, вроде как тень ее, и иной раз эта, другая, и есть настоящая. И ты гоняешься потом за этой тенью, и напрасно здравый смысл не хочет, чтобы ты за ней гонялся. А по той, другой, мысли выходит, что барышня очень даже есть, тут она, вечно в заботах вокруг дома, или мелькнет меж кустов винограда. И я уже весь дрожу, мечтаю, чтобы, когда я пришел, вы на меня посмотрели как тогда, в первый раз, на Солнечном верхе... Так оно и идет, так и бегаю, то к одному холму, то к другому, то в Крыжовничье, то в Горедон, и кидает меня, как отруби на решете. Бегаю между ними и ничего не могу поделать, подчиняюсь. Вот я и почувствовал, что когда-нибудь раздавят, разорвут меня эти метания...

— Знаете, Денеш, вот слушаю я вас — и все время думаю: как же плохо мы знаем друг друга. По крайней мере, я — вас, Денеш. Конечно, это мне не сегодня пришло первый раз в го-

лову, но, думаю, люди вообще друг друга не знают. Что с того, что годами, десятилетиями живут вместе... Не будь этого нынешнего вечера, я, пока жива, считала бы, что все ваши мысли принадлежат семье, деревне. И что вы за работой себя сами не видите.

— А что, разве не так? — поднял голову Денеш. — Или я даже сам себя не понимаю?

— Нет, Денеш, не так. Правда, я не могу судить, насколько вы в себе разбираетесь. И, может, и деревне, и Мари может показаться, что Денеш только ради них, только для них и живет на свете.

— Вы только что сами сказали, что вряд ли мы знаем друг друга и что вообще люди друг друга не знают. Как здорово, что вы, барышня, все умеете вывернуть наизнанку, все умеете объяснить по-другому. — Денеш явно был раздражен, сердит, даже зол. — И теперь именно вы на меня возводите, будто я живу сам для себя. Или вы хотите меня во что бы то ни стало видеть подобным себе?

— Не обо мне сейчас речь. Но вы подумайте сами, что сегодня вечером о себе говорили. Как сами видите свою жизнь. Ведь выходит, что и Крыжовничье, и Горедон существуют только для Денеша. Для Денеша — и Грабельная гора, и Солнечный верх, и холмы, которые бросают вас туда-сюда. Для Денеша — и Мари с детишками, да и я — только для Денеша. Никого и ничего не было бы, не будь тут человека по имени Денеш Гёнци, ради которого и мир-то был сотворен. И как только Денеш Гёнци уедет, за его спиной весь этот мир провалится и исчезнет. Умрет этот край, потому что Денеш Гёнци больше его не созерцает. Рухнут холмы, потому что некого будет им больше бросать от Крыжовничьего до Горедона. И нас не станет. Вот откуда этот страдальческий тон, вот откуда эта жалость к себе.

— Вы, барышня, умничаете слишком. Вроде как мои слова объясняете, а имеете в виду себя, то, что сами думаете. Ведь если бы было так, как вы тут изобразили, это меня как раз и успокоило бы, разве не так? Если бы я думал, что за моей спиной ничего не останется... Вы, барышня, куда умнее, чтобы только меня хотеть понять. А для чего это вам надо? Я ведь просто попробовал рассказать, что чувствую. И, поверите, я вот себя слушал — и не мог поверить, что это я говорю то, что говорю. Голос — вроде мой. А слова вроде бы барышня мне подсказывает, та барышня, что во мне, и подсказывает наперекор той, другой, что напротив сидит. Потом вроде преподобный наш вместо меня говорит, или кто-то такой, у кого могут найтись слова для того, что я думаю. Но все равно, пус-

кай я чувствовал, что этот разговор — больше, чем то, на что меня хватит, и больше, и не то... все-таки не могу я не понимать, как это мало, как скудно по отношению к тому, что во мне живет и что я однажды хотел бы высказать. Но мы не учились столько, сколько вы, чтобы выразить то, что хотим.

— Ну да, сколько мы учились...

— Все равно, барышня, другое это. — Денеш немного оттаял; взгляд его не был уже таким враждебным, чужим.

— Полно, Денеш. Женское училище в Гоpедоне... Очень мало мы оттуда вынесли. Недостаточно даже, чтобы понять, какое дурачье наши учителя. Правда, достаточно для того, чтобы убедить нас, что мы даже их, учителей наших, никогда не догоним. Полно, Денеш, я, сколько живу, ничего умного не совершила. Или вообще ничего, или глупости всякие.

— Нас господин учитель научил читать и писать, священник — катехизису, на гоpедонском базаре мы считать научились. Наша самая главная нищета — в невежестве. И в наследство мы можем оставить только то, что у нас есть, что приобрели. Трудимся в поте лица, лезем из кожи вон, землю копаем, пока нас самих не закопают, когда мотыга из рук выпадет. А выпадет — чего нас жалеть?

— И все-таки лучше было, когда вы рассказывали, как шли в Гоpедон по росе.

— Лучше, правда? — На лице Денеша мелькнула горькая улыбка, как птица раненая. Илька подумала, с какой насмешкой прозвучали бы эти слова, произнеси их не он, а она. В голосе Денеша не было и тени насмешки.

— Не уезжайте, Денеш! Оставайтесь здесь, в Гоpедоне. — Слова эти и для нее самой прозвучали неожиданно. Денеш поднял взгляд на нее, потом сильной, грубой своей рукой так смял морщины на лбу, словно к нему обратились на каком-то чужом языке, которого он не понимает: может, его как-нибудь обозвали, оскорбили, а он лишен возможности достойно ответить. — Если нет, тогда уходите сразу. Сию же минуту... Забирайте свой мешок, и...

— Успею, — ответил Денеш, очень тихо и беспощадно.

Пожалуй, впервые в жизни Илька ощутила испуг перед другим человеком. Откуда она взяла, что Денеш Гёнци такой уж беззащитный? Почему она считала этих людей такими уж смиренными? Как у нее хватило смелости прижимать к себе этого сильного, с мощными, словно литыми, плечами мужчину? В это мгновение ей казалось совершенно невероятным, что взгляд Денеша Гёнци, по-прежнему устремленный на нее, раньше, встречаясь с ее взглядом, неизменно становился покорным.

И сейчас ей особенно захотелось еще раз увидеть его радостно-послушным.

И, может быть, поэтому она позже, когда вечер уже переходил в ночь, еще раз обвила руки вокруг его крепкой шеи. Или она неосознанно хотела испытать силу Денеша, ощутить скрытую в ней угрозу, направленную против нее, барышни, хозяйки? Посмотреть, способен ли он быть иным, не только неуклюже нежным, как всегда до сих пор? Или, пока она сжимает его в объятиях, он уже окончательно стал иным, жестоким человеком, не самим собой, человеком, которого она не на шутку испугалась, когда хотела прогнать его, а он ей не подчинился.

В тот момент ей всерьез захотелось закричать, позвать на помощь соседей. Она почти ждала, чтобы во дворе стукнула калитка и кто-нибудь пришел бы за вином.

— Когда я во двор к вам входил... — снова заговорил Денеш. — Вы ведь, барышня, сами хотели, чтобы я рассказал, как приходил к вам... Словом, когда я оказывался здесь, у меня одно было в голове: вдруг вы не пожелаете вспомнить, что между нами было раньше. Вдруг посмотрите на меня как на чужого. Расплатитесь за работу, скажете, когда приходить снова. Как будто всегда так и было... И вы, барышня, вполне ведь могли так и сделать. В любой момент. А я бы и виду не имел права показать, что мне это не нравится. Потому я боялся сюда приходить, потому старался уверить себя, что все это мне привиделось, что неправда все это. Но когда все-таки приходил, то стоял перед порогом с ожиданием: вдруг я опять для барышни буду не просто Денеш Гёнци, поденщик из деревни...

— А ведь так оно, Денеш, и есть. То, что было между нами, и то, что я в вас видела, — это во мне было, Денеш. Мне в такие моменты на самом деле хотелось в вас видеть не просто поденщика с мотыгой. И это тоже — для себя самой... Бывало, что мне это удавалось. Но тогда ведь с завтрашнего дня вы бы стали не просто крестьянином из Крыжовничьего, с которым я иногда спала. Хочу я или не хочу видеть в вас другое, вы ведь другим от этого не станете... Может, и хорошо, что вы уезжаете. Может, и хорошо, что не будет такого завтрашнего дня. Потому что после того, как вы сегодня пришли, как сели за этот стол, как раскрыли себя, Денеш, вы больше не можете оставаться для меня ни поденщиком из Крыжовничьего, ни любовником-крестьянином. То, что вы сегодня показали в себе, — это уже совсем не то, что я в вас видела, что меня устраивало. И таким вас не я сделала, а подготовка к дороге, то, как вы подвели итоги своей здешней жизни. Если бы даже я стала причиной вашего отъезда, все равно не я сделала вас таким.

Денеш сидел, опустив взгляд на стол, словно красные квадраты считал на скатерти. На Ильку он не смотрел.

— Мне кажется, полчаса назад были моменты, когда вам хотелось, чтобы эта встреча осталась в прошлом. Когда вам хотелось навсегда закрыть за собой калитку. Но слишком вы долго готовились выложить передо мной свою жизнь. Чтобы я увидела, сколько вам пришлось страдать из-за меня. Только потому, что я есть, верно? Так долго и всерьез готовились, что, я думаю, про себя уже все это со мной обсудили. Верно, Денеш? И, поди, не один раз? Вы столько размышляли над тем, что и как мне скажете, что в конце концов для вас уже и неважным казалось со мной об этом говорить. Хотя сами сгорали от любопытства: так ли все будет, как вы представляли? Думаю, все вышло именно так, верно, Денеш?

— Откуда вам это так хорошо известно? Если мы друг друга совсем не знаем, как вы сами сказали.

— Потому что ведьма я, Денеш. Ну и, потом, сегодня вечером вы много сделали, чтобы я вас узнала... Полно, Денеш, вы думаете, так уж трудно — в чужую душу влезть? Ведь и вы, Денеш, прежде чем начать, тоже пробовали представить, что и как я приму. И я думаю, вам это довольно хорошо удалось.

Денеш сидел, глядя куда-то на дверь горницы.

— Вот в этом, наверно, вы не совсем были уверены. То есть что будет у нас еще один раз... Верно, Денеш? Вы видели, что я расстелила постель. Не бойтесь, на поезд не опоздаете. Не уедут ваши приятели без вас. Не приди вы ко мне, сейчас бы пили в какой-нибудь корчме, как новобранцы перед призывом.

Она налила вина; они чокнулись.

— Хорошее вино, — сказал Денеш Гёнци. — Такого я еще не пил.

— Не только вы. Никто не пил, Денеш.

— Не жалко было распечатывать?

— Сказать, что не жалко? Или — что жалко? Не все ли равно, Денеш? — Она чувствовала, горе мало-помалу насыщает ее голос обидой, делает его глуше. Она снова наполнила стаканы: *тому бочонку какая разница, сегодня его распечатают или будут хранить дальше.*

— Бедный мой Денеш.

— Раньше, барышня, вы мне никогда так не говорили: мой Денеш.

— Я тоже не все, что хотела, смела делать, пускай вы и считали, что это не так... Хорошо, что вы зашли: хоть потому, что я вас у колодца увидела, хоть и сами собирались прийти попрощаться.

Денеш молча смотрел на нее, погруженный в свои мысли.

— И все-таки хорошо вам, Денеш, — сказала Илька, чтобы вывести его из задумчивости.

— Э-э-эх.

— Представляю, сколько всего вы передумали сегодня, пока шли через Грабельную гору. Что будет с сыновьями? Что будет с Мари? Что будет с домом, с хозяйством, которое хоть и малое, а заботы требует. Но по-настоящему сомнения вас одолевали только из-за самого себя. Из-за того неведомого. как вы сами сказали, что вас ожидает. Как оно там будет, в Америке-то?

— И поэтому, вы думаете, мне хорошо?

Илька даже удивилась, когда он заговорил: какое-то время ей казалось, что он лишь смотрит на нее, но не слышит, что она говорит.

— О, я знаю, с тех пор, как вы это задумали, вы сто раз готовы были передумать. Да и сегодня с радостью повернули бы с Грабельной назад, домой. Но не повернули.

— А почему? Вы, барышня, и на это ответ наверняка знаете.

— Конечно, знаю. В этом тоже нет никакой загадки. Потому что Денеш Гёнци, если уж он что задумал, доведет до конца. Чтобы не показаться перед деревней растерянным, нерешительным. Так ведь?

— Коли уж вы, барышня, так хорошо знаете, что со мной было на Грабельной горе, и дома, в деревне... еще бы, вы ведь — ведьма, ну и, положим, могли на лице у меня увидеть, в словах услышать все это, — словом, коли вы умная такая, скажите мне, что будет потом? Что будет завтра, что — через час? На это у вас ведьмовства хватит? Про будущее у меня на лице ничего не написано? Потому что будущее мне, сами понимаете, очень хочется знать. — В голосе Денеша опять зазвучала какая-то беспощадная требовательность; казалось даже, Денеш рад, что опять обрел этот мрачно бесстрастный тон. Илька не понимала, почему для Денеша Гёнци так важно, смеет она или не смеет представить, предвидеть предстоящие дни.

— Ну что? — торжествовал Денеш Гёнци. — А хотя бы что с вами, барышня, будет, можете сказать?

— Нет, Денеш, даже этого не могу. — Она смотрела на него и не могла уловить его взгляд.

— И даже — что через час будет с вами?

Ильке в этот момент казалось совершенно невероятным, что они с Денешем еще окажутся вместе в постели.

— Через час — наверно, могу, — все же сказала она.

— Вот как? — И тут угроза в голосе Денеша странно и резко сменилась неуверенностью.

— А вообще-то... нет, Денеш. Не могу даже на час вперед.

— Хотелось бы мне знать, барышня, что вы имели в виду, когда сказали, что, мол, все-таки — хорошо мне.

Но вопрос этот Денеш задал уже скорее по инерции, как бы продолжая словесный поединок. Словно бы испугался вдруг, что придется в разгаре наступления сдаться.

— Что имела в виду? Ну, если вы затоскуете вдруг по одной из своих жизней, когда будете дом вспоминать, то утешитесь, думая про другую. Или — не утешитесь, а загрустите. Будете там, на чужбине, одной грустью заглушать другую... Хотя, кажется мне, вам, Денеш, и одной хватит.

— Ох как хватит! Даже много будет.

— Зато будете вытаскивать ту, к которой больше потянет. То Мари, то меня. Или сразу обеих. Ляжете между нами и станете сравнивать.

— Бросьте это, барышня! Чего вы от меня хотите?

— В конце концов окажется, что я же еще и должна утешать вас, Денеш. Не подвергайте меня такому тяжкому испытанию. И не сердитесь, что испортила вам настроение: вы только-только разговорились... Конечно, если бы вы увидели, что я убиваюсь, что почернела от горя, у вас на душе легче было бы. Да что легче: праздник был бы у вас на душе. Конечно, внутри. Потому что наружу надо было бы показывать большое-большое несчастье. Потому что так полагается. В конце концов, вы ведь люди совестливые.

— Хватит вам, барышня!

— О, вы сейчас в самом деле загрустили, Денеш. Полно вам, не надо, не валяйте дурака, а то я расплачусь... — Хотя произнесла это Илька еще с улыбкой, еще поддразнивая Денеша, она снова почувствовала, что состояние насмешливого превосходства быстро покидает ее. В голосе Денеша тоже не было уже и намека на угрозу. Но ведь перед этим-то угроза была, а откуда она взялась, Илька долго не могла найти объяснения.

Они молча сидели друг против друга; на столе между ними — кувшин и два стакана. Они смотрели друг другу в лицо, и ни один не смог бы сейчас сказать, каким он видит другого. Илька разлила остаток вина по стаканам; каждый взял свой.

— Скажите, Денеш, когда вам первый раз пришла в голову эта мысль: уехать? Теперь все равно уже все позади...

— Если бы все было позади...

Денеш вздрогнул, едва заметно; так тяжелые глыбы скал вздрагивают от подземного толчка.

— Давно. — Виски его заблестели от пота, он неловко, мучительно наклонил голову набок и вытер лоб о льняное полотно рубашки, не пошевелив рукой.

— Давайте попробую угадать?

— Не надо...

— Будем считать, что угадала? Ладно, Денеш, тогда — знаю. Первый такой случай был в тот день, когда я пришла к вам, верно? Чтобы, пока лошади съедят корм, мы с вами в конюшне... Лошади, на которых вы на базар приезжали.

— Хорошие были лошади.

— Я не говорю, что они были плохие. О, Денеш, не хочу я вас сейчас обижать. — Она произнесла это таким тоном, каким умоляют убитого горем человека, чтобы он поделился своей кручиной. — Пришлось вам их продать.

— Пришлось продать, бедняжек.

— Тогда вы в первый раз были у меня в горнице.

— Я на пороге остановился.

— Да, Денеш. А я взяла вас за руку и потянула, чтобы вы наконец вошли. И не понимала, чего вы боитесь.

— Здесь, рядом, старая хозяйка лежала при смерти.

— Вы же тогда не знали этого, Денеш. Что при смерти.

— Ну да, не знал... А к утру она померла.

— И меня не было с ней рядом, когда она умирала. Вас, Денеш, это очень потом удивило.

— Удивило? Я до сих пор не могу понять.

— Ну вот, видите.

— А потом я себя стал винить. Поздний вечер уже был, и если бы я не вошел, устроился бы на сеновале, как всегда, то барышня бы при ней осталась. И, может, не умерла бы старая хозяйка в ту ночь. Потом еще... не мог я избавиться от мысли, что, может, она слышала, что я вошел, и голос мой узнала.

— Нет, Денеш, она уже, когда темнело, не была в сознании.

— Но я-то откуда мог это знать? А если б и знал!

— Она тогда уже находилась в агонии, доктор сказал. Он еще перед тем ушел, как вы постучались в калитку. Теперь вы уже понимаете: умирала она.

— Как я могу это понять, барышня? Даже если сто раз понимаю.

— Теперь уже все равно. Да и тогда было все равно. Не стоит мучиться из-за этого, тем более теперь. Представляю, Денеш, что вы подумали обо мне. Но из-за этого еще не стоило убегать сломя голову за тридевять земель. Я думаю, случались тут и пострашней этой истории, не побежали же из-за этого люди в Америку.

— О, как вы об этом сейчас говорите...

— Ладно, Денеш, думайте о чем-нибудь другом.

— Я только почувствовал, что для вас, барышня, нет ничего святого. Уж коли вы в чем находите удовольствие, то для вас хоть трава не расти. Вы и себя ради этого не пожалеете. Вы, барышня, и себя-то не любите.

— Знаете, до сих пор я об этом так не думала никогда. И не знаю даже, хорошо это или плохо, если человек себя любит. Обо мне, думаю, говорят, что я сама для себя живу. Вы, Денеш, тоже что-то такое говорили сегодня вечером.

— И не боитесь вы себя, — продолжал Денеш. — А если мы самих себя не боимся, то мы на все способны. — Тут его рука чуть вздрогнула; позже Илька неоднократно вспоминала его слова, прозвучавшие после этого. — Я иной раз боюсь себя, барышня. Вот и сейчас боюсь. — И замолчал, словно ему воздуха не хватало в горле.

— О, Денеш, сколько всякого вы на меня наговорили! Неужто я причинила вам все эти муки? Не знаю, не знаю. Но вспоминайте и Солнечный верх. Ведь то тоже была я.

Она открыла дверь; наружная тьма ворвалась в кухонное тепло серым холодным облаком.

— Принесу вина, — сказала она, не оборачиваясь. — Сегодня уже, видно, не придут. Никто не был сегодня. А этого мы им все равно не дадим. — Она говорила словно бы для себя, словно Денеша давно уже там не было. — Но я все-таки принесу. Да, заодно и калитку закрою.

Денеш стоял перед дверью в горницу, прислонившись к косяку, сложив руки на груди. Илька, вернувшись из погреба, отнесла кувшин сразу в горницу, потом забрала с кухонного стола два стакана.

Ей хотелось остановиться перед Денешем; но она не посмела. Не смела и прямо посмотреть на него — сама не понимая почему. Она заперла наружную дверь; но он не сдвинулся с места даже после того, как она погасила свет в кухне. В горнице она задернула занавески, убавила свет в керосиновой лампе. Взглянула на пламя: оно было узким и ярким, как лезвие топора.

Налила вино в два стакана. Денеш оказался наконец на пороге. Илька сделала шаг к нему, и руки Денеша Гёнци взметнулись ей навстречу. В эти моменты она уже не думала о том, что у нее есть причины бояться его саженных плеч.

Позже, вспоминая тот вечер, последний вечер Денеша, она каждый раз пыталась сообразить, как мешок Денеша попал в горницу. Она хорошо помнила, что он, придя, оставил его за ку-

хонной дверью. И ясно помнила, как он шагнул к ней с порога. Но — когда он принес мешок и поставил его между кроватью и шифоньером? И — зачем? Чтобы положить на него снятую одежду? До этого он каждый раз даже башмаки выносил в кухню.

Потом она думала о том, как необычно появился в тот вечер Денеш, о сомнениях, про которые он говорил. *Что я всегда могла его обнять? А он никогда не был уверен, можно ли ему на это надеяться? Но куда ж это мы придем, если уже и слуги будут с уверенностью знать, что ты сделаешь в следующую минуту? Ведь тогда ему и в голову бы не приходило ловить мой взгляд. А так он любил меня, потому что по-другому было нельзя. Но... в самом деле Денеш Гёнци был слугой мне?*

Может, князю? Слугой — выцветшей, темной картине? Ведь к нынешнему дню только и осталось от великого человека: потускневшее изображение...

Она утратила ощущение времени, не знала, долго ли еще до утра. Зажечь лампу? Нет, ни к чему. Она не посмеет смотреть на князя в темной рамке. На князя, который — она уже знала это — не оживет больше никогда. *Если он был всего лишь слугой, то как могло быть, что от него зависело, останется бумажный портрет под стеклом картинкой – или вырастет в настоящего могучего вельможу?*

Неужто крестьянская любовная страсть способна воскрешать князей?

Когда и как утихло ее смятение, когда и как жизнь дома вокруг нее вошла в обычную ночную колею, она никак не могла вспомнить утром. Разбудила ее, стуком в окно, Мари. Была суббота перед вербным воскресеньем, базарный день. Пока Мари сходила на рынок, откуда принесла, поставив на голову, корзину с известью, Илька сняла занавески, затопила плиту и приготовила завтрак.

— Как там люди живут, Мари? — Она помогла Мари снять с головы корзину.

— С ума все посходили, барышня.

— Ну да?

— Не знаешь, что и делать-то.

Илька пока не могла решить, стоит ли прислушиваться к словам женщины. И вообще, как лучше: дать ей выговориться или оставить одну по возможности.

— Сон дурной, что ли, видела, или что?

— То ли сон, то ли явь.

— Шея поди занемела под корзиной-то?

— Не знаю... Опять на рынке был человек, что судьбу предсказывает.

— И ты что, тоже судьбу тянула?

— Нет, но еле удержалась. Он со своим попугаем тут, прямо перед шатрами, стоял.

— Не дают нам покоя всякие суеверия.

— Вот и преподобный то же говорит. А все ж поди ж ты. Я еще туда шла — и так на меня та птица посмотрела. Аж голову вывернула за мной.

— Да она за каждым голову поворачивает. Не замечала?

— Я к цыганкам никогда не ходила гадать, ни по ладони, ни на картах, но это другое, должно быть, дело. Потому как тут на бумажке написано, что нас ожидает. Ну, и птица, она ведь не умеет обманывать, не умеет врать. Она судьбу вытаскивает из ящика, и это твоя судьба.

— Она ведь что другое не вытащит. Только то, что в ящичке есть.

— В этом и дело, барышня.

— Ты же понимаешь: записки эти туда хозяин кладет. Напишет на них все, что ему взбредет в голову — и кладет.

— Может, и так. Только всем, кого я знаю, записки правду сказали.

— Мари, ты сегодня тоже счастье тянула!

Откуда в голосе Ильки столько требовательности, столько отчаяния? — Да нет, барышня.

— Не ври.

— Ей-богу. Не посмела я, барышня, — ответила Мари плаксивым голосом. — Прошлой осенью попробовала, только не у этого предсказателя. У другого, с белой мышью. А теперь побоялась. Хоть сильно хотелось. Так посмотрела на меня та птица!.. Потому и захотела, и потому потом не посмела. Попугай тот ко мне повернулся, будто удивился, откуда я тут взялась.

— А белая мышь тебе что вытащила?

— Что вытащила? Что Денеш уедет. На другой берег большой воды. Это стояло на записке, а вытащила я ее в День святого Михаила, тогда тоже базарный день был.

— На каждой записке что-нибудь этакое стоит.

— Сама не знаю, что мне тогда в голову вдруг вступило.

— Надо думать, мышь на тебя взглянула как-то по-особому.

— Можете надо мной смеяться, барышня Илька, но вы сами видите: так и стало. И пусть кто-нибудь скажет, что неправда была на записке. А ведь я тогда тоже в это не верила. И даже Денешу не сказала. Пока он к вам лошадей отводил, меня любопытство одолело. Говорю, я тоже глупостью это считала тогда... Потом-то я про ту записку забыла. А где-то на Крещенье Денеш мне и говорит, мол, надо и мне счастье попытать в Америке. Тут мне записка и вспомнилась. Смотрю

на него и слова вымолвить не могу. И еще тогда я поняла, что давно он это задумал, только не знал, как мне сказать.

— Отговорить-то его не пробовала, Мари?

— Нет, барышня, не пробовала. Даже в голову не пришло. Денеш, если уж решил что, значит, сто раз это обдумал. И тут мне не очень-то есть что сказать. Только с тех пор часто мне та записка со счастьем вспоминается. Не будь я тогда, на святого Михаила, такой любопытной, может, Денеш и не уехал бы.

— Не понимаю.

— Ну, как бы сказать? Не вытащи белая мышь, что кто-то из ваших близких, так было в той записке написано, уедет за большую воду, то Денеш, может, и не решился бы уехать.

— Но ты ведь сама сказала, он про записку не знал!

— Вот в этом-то и дело.

— Мари, ты сумасшедшая.

— Потому он и надумал ехать в Америку, чтобы в записке правда была. Это я его туда послала, барышня, любопытство мое его послало, пока я на базаре ждала в День святого Михаила.

— Нет, Мари, такого не может быть.

— И если ему там повезет, это тоже из-за меня. Точно, барышня.

— Пойдем-ка лучше известь гасить, — сказала Илька. Она пошла вперед и принесла из погреба ведерко.

— Жаль, что высохли колодцы на вашей улице.

— Ну, что поделаешь? Дождевая вода есть.

— Дождевую жалко на это, барышня. Еще талая, может, есть?

— Не беспокойся об этом, воды хватит.

Они гасили известь за домом. Мари перемешивала длинной палкой булькающую, фырчащую белую жидкость, Илька подливала воды из бочки.

— А с колодцем-то вашим что стало? — спросила Мари.

Вопрос вызвал у Ильки скорее досаду, чем испуг, но все-таки ей пришлось взять себя в руки, чтобы голос звучал естественно.

— Засыпала я его, Мари.

— Засыпали? Когда? — не унималась женщина. — В прошлый раз вроде был еще.

— Давно уже, Мари.

Смотри, не теряй терпение, — одернула ее другая Илька, которая помочь не могла, только переживала за первую.

— Да нет, вряд ли давно. Когда мы в последний раз тут были, сруб еще стоял.

— Плохо помнишь, Мари.

— Может, и так. Только Денеш никогда мне не говорил, что вы собираетесь засыпать колодец. Камни из него тоже вынули?

— Не стоило оно того. Тебе Денеш всегда все рассказывал?

— Мне-то все. Там он где-то был, колодец, где сейчас хлев, верно?

— Верно... Хороших я поросят купила у твоего брата, Петера.

— Да, он рассказывал. И что магарыч вы с ним выпили после этого.

— Не очень-то он радовался, что Денеш уехал.

— Не очень. Я думаю, он еще и завидует ему. Как узнал, что Денеш собирается, долго его отговаривал. Да ничего у него не вышло.

— А он-то почему с ним не поехал? Они ведь всегда вместе были.

— Не такой он человек, Петер-то, далеко ему до Денеша. — Мари произнесла это с некоторой тихой гордостью. — Да и жена бы его не отпустила. Петер Денеша все пугал этими ребятами, Шайги, ну, те двое, которые из Крыжовничьего вместе с ним поехали. Лихие парни, это верно, ну да ничего, на чужбине прижмут хвосты. Денеш с ними всегда ладил...

Илька и Мари вместе двигали мебель в доме, выносили все, что можно вынести.

— Слушай, Мари... По-твоему, почему Денеш мне не сказал, что уезжать собирается?

— Боялся он вас, барышня, очень, — сказала Мари. — Вы ведь столько хорошего нам сделали, посчитали бы неблагодарностью...

— То, что не сказал, тоже неблагодарность. Если уж о неблагодарности говорить. Но при чем тут — благодарность, неблагодарность? Если вы даже так считали, все равно... Вы ведь мне ничего не должны. Вы работали, я платила.

— И все-таки, барышня, должны. Не все равно, кто как платит.

— Ну, ладно. Положим, я к вам по-другому относилась. Но зато и на вас могла рассчитывать в любое время.

— Вот-вот. Потому у нас совесть и была нечиста.

— Но почему? Если перед ним открывается лучшая жизнь, почему вы считали, что я этого не пойму? Что вы, собственно, за люди такие, Мари? Я думала, что хорошо вас знаю. Ведь знаю я вас, можно сказать, с рождения.

— Трудно нам говорить о таком. Когда надо душу открыть, мы слов не находим... Но все-таки, может, зашел попрощаться?

— Попрощаться — попрощался. Я у колодца как раз была. И увидела, то есть подумала тогда, что не заметь я его, он, наверно, так бы и уехал, не сказав ни слова.

— Как вы можете думать такое, барышня?

— И еще была у меня мысль: может, обидела я вас как-нибудь? Чтобы вот так, будто мы чужие совсем! Чтобы скрывать надо было!..

Мари опустила голову и только вздыхала горестно.

— Ведь если человек хочет уехать, это его дело. — Сейчас свои же слова звучали для Ильки странно, словно чужие, далекие. — На пути у него я бы не встала, кто я ему, чтобы на пути встать?

— Боялись мы, что вы не поймете. Или рассердитесь.

— Полно. Если б сказали, я, может, даже помогла бы вам. И не говори мне, что вы так легко собрали эти двести-триста крон.

— Да уж какое там, барышня! Деньги, они нелегко нам даются. Да вы сами, барышня, знаете.

— Столько вы и за лошадей, поди, не выручили.

— Ох, не выручили, барышня, — вздохнула Мари, но две слезинки в углах глаз сейчас были не по Денешу, а по отданным ни за что ни про что лошадкам. — Не смел он к вам, барышня, прийти с просьбой. Что делать. Хотя мы и об этом думали.

— Отдали бы потом, когда у вас дела поправятся. Или что, боялись, я под проценты ссужу?

— Да мы и отработали бы.

— Ну, видишь...

— Все равно уж теперь. Да ведь барышня всегда с нами будет, если мы, не дай бог, в беде окажемся. Не серчайте, но я говорю, как было: думали мы и об этом. Ну и... не хотели мы больше жить в нищете, — сказала Мари немного неожиданно после всех своих вздохов. И это словно придало ей сил. — Денеш — человек крепкий, везде сумеет зацепиться. Писать-читать умеет, здоров, слава Богу, потому что Америка теперь только таких принимает. Мы подумали: то, что он здесь зарабатывает, он всегда заработать сможет, даже если там не пойдет у него. А вдруг пойдет. Тогда и жизнь сразу по-другому к нам обернется.

— Не в такой уж нищете жили вы с Денешем, Мари.

— Нет, не в такой... Да только мы с ним знаем, чего нам это стоило. С протянутой рукой не стояли, верно. Но насколько это другая жизнь, когда у тебя есть земля какая-никакая. Опять же, трое сыновей... Чтобы и они не видели в жизни ничего, кроме мотыги?

— Да я понимаю. Состоятельными мечтаете быть.

— Да, барышня. Почему бы и нам не стать когда-нибудь богатыми?

— Богатству — одна искра, красоте — один прыщик, — козырнула Илька старинной пословицей, слышанной от матери.

— Легко вам, барышня, так говорить, — вспыхнула Мари.

— Ну-ну, ладно тебе.

— Нам что, всегда жить только с поденщины? Пускай и мы когда-нибудь будем искры бояться. Пускай и нам когда-нибудь надо будет, барышня, гумно, сеновал, мельницу беречь от искры. Прыщика-то нам бояться нечего, наша красота все равно не попадет никогда на картину к фотографу.

— Ну, зеркало-то и у вас в доме висит, Мари.

— Зеркало, оно тоже показывает только то, что есть.

— А что ему еще показывать? Ты ведь смотрелась в зеркало, с тех пор как Денеш уехал?

Мари глянула на Ильку искоса, испуганно, как ребенок, которого застали, когда он полез в сахарницу; потом еще и покраснела.

— Откуда вы знаете, что смотрелась?

— Ничего в этом плохого нет, Мари. Плохо было бы, если бы не смотрелась.

— Вы так думаете, барышня?

Они двигали мебель в первой горнице — как раз навалились на комод, чтобы отодвинуть его от стены.

— Тебе сколько лет, Мари? — *Зачем ты, Илька Сенди, задала этот вопрос? Интересует тебя вообще возраст этой крыжовнической бабы?*

— Двадцать восемь скоро будет.

— Снится он тебе, Мари?

— Не то чтобы снился, барышня. Не очень-то я сны вижу.

— Но ночью, когда не можешь заснуть, все-таки думаешь о нем?

— В том-то и беда. Раньше не бывало со мной, чтобы я заснуть не могла. А ведь когда он собрался ехать, я даже думала, ну, хоть ненадолго оставит меня в покое, не надо будет все время бояться, как бы не залететь опять. Но все равно — не то. Всего-то несколько дней, как его нету, а я уже покоя себе не найду.

— Ничего, привыкнешь.

— Черта с два. Пока это море времени пройдет, у меня, ейбогу, никаких сил не останется. Да и он — как он будет без меня? Я-то ладно, я как-нибудь, а он! Об этом мы тогда не очень-то думали.

— Найдется какая-нибудь молоденькая вдовушка...

— Да я, может, и не против бы, — сказала Мари. — Потому что ему, сколько я его знаю, и двух дней без этого не прожить. Только не из тех он, кому все равно кто. Подкатывались к нему и дома бабы, думаете, я не знаю, барышня? И бабы, и девки. А он — нет, ему только я. Не будь другого чего, он бы с первым же пароходом вернулся, такой дурной.

— Ну да ведь и ты можешь сбегать к какому-нибудь парню на гумно.

— Пускай черти бегают, а не я. Я лучше умру.

— Поклялась ему в верности?

— Я — да. Перед священником, когда венчали нас.

— А ему, перед отъездом?

— Говорю же, мы об этом не думали. Помучаемся друг без друга, но хоть будем знать, какое это большое дело. Тем дороже станет то, что он домой привезет.

— За ним поехать не думала?

— Как не думать? Если и он так захочет... Поеду я за ним хоть на тот свет.

— Ну, сейчас он как раз там, Мари...

Послесловие

Всем нам, наверное, присущ своего рода рефлекс: встречая некое новое, незнакомое явление, искать ему аналогию среди того, что знакомо и привычно. Когда я прочитал роман Иштвана Силади "Камень в сухом колодце", память тут же подсказала мне аналогию: Николай Лесков "Леди Макбет Мценского уезда". Но чаще всего аналогии помогают лишь в первый момент: помогают ухватиться, более или менее сориентироваться. А затем восприятие сосредоточивается на том, чтобы увидеть, понять: все — другое, все — по-другому.

Да и может ли быть иначе, если книга Силади написана на сто с лишним лет позже, чем повесть Лескова, и действие происходит в другой стране, совсем в другой обстановке? Ну да, нечто общее все же есть: это — утверждение приоритета чувства над условностями, правилами, законами, которыми живет данное общество, да и человеческое общество вообще, с исконных, библейских времен. Но если повесть Лескова, при всей жути происходящего в ней, пронизана откровенным восхищением перед отчаянной смелостью женщины, которая ради любви преступает все запреты и заповеди, то книга Силади насыщена трагическим ощущением безысходности. Героиня "Камня..." — Илька Сенди, — натура сильная, но бесконечно одинокая; в косном бытии городка Горедона, затерянного среди трансильванских гор, ей нечего ждать, не к чему стремиться. Удел жены

какого-нибудь местного ремесленника — кожевника или сапожника — ее не прельщает, а выломиться за пределы этих возможностей не удается из-за жестких сословных рамок. Добролюбовская формула "луч света в темном царстве" — это ведь тоже XIX век, когда литература, даже реалистическая, все еще не освободилась до конца от романтического прекраснодушия. Писатель нашего времени исходит скорее из того, что в "темном царстве" полукрестьянских, сонных городков вроде Горедона, Окурова и подобных, даже луч света отравлен тем ядом, теми миазмами, которые выделяет застойная, анахроническая реальность провинции.

На рубеже XIX и XX веков из стран Центральной и Восточной Европы масса простых людей, желающих для себя какой-то лучшей, содержательной жизни, хлынула за океан, в Америку. Это были люди, наделенные предприимчивостью и целеустремленностью, помогающей им одолевать в себе инерцию многовековых традиций. Одним из таких людей оказался и Денеш Гёнци, молодой крестьянин, один из тех, кто всю жизнь батрачил на состоятельных горедонцев, обрабатывая их виноградники. Но Денеш — не просто поденщик: он — тайная любовь Ильки, которая ведь в конце концов тоже женщина... И день, когда она узнает, что Денеш отправляется в поисках лучшей доли в Америку, становится для него последним днем...

В сущности, весь роман — это история того, как Илька постепенно сходит с ума. Таково наказание, на которое обрекает ее собственная душа, которая, при всей силе воли и природном уме Ильки, вполне человеческая, уязвимая. Мне кажется, профессиональный психолог, психиатр, читая эту книгу, мог бы составить точную историю болезни Ильки, найдя в ее поведении признаки и раздвоения личности, и навязчивой потребности к совершению некой процедуры: Илька упорно собирает камни (благо в гористой местности камней хватает) и, принося их на свой двор, высыпает в сухой колодец, куда она бросила тело убитого ею Денеша. Даже та нечеловеческая хитрость, с которой она маскирует эту свою страшную деятельность, тоже ведь, кажется, свойственна безумцам.

И в конце концов эта метаморфоза личности заканчивается гибелью самой Ильки — смертью от руки другого человека. Смертью, в которой есть что-то от самоубийства.

Но роман Иштвана Силади чисто психологическим не назовешь. Он — в такой же мере и социальный, и исторический роман, поскольку изображает состояние общественной жизни в начале XX века, ломку уклада, сопротивляющегося вторжению нового, и те трещины, вызванные этими тектоническими сдвигами, которые рвут и уродуют людские души и жизни. То, что материалом тут служит провинциальная, еще во многом патриархальная, сохраняющая черты крестьянского уклада жизнь, — лишь усугубляет тяжесть разыгрывающихся здесь, часто скрытых за стенами домов, глухих, не видимых миру конфликтов и трагедий.

Мне не дает покоя еще одна аналогия: мне кажется, напиши Иштван Силади свой роман на каком-нибудь из основных мировых языков (а не на

таком, все еще "закрытом" для мира языке, как венгерский), его "Камень..." стал бы не менее знаменитым и знаковым, чем "Сто лет одиночества" Маркеса. Что-то есть в них общее: там — вымышленный городок Макондо, здесь — такой же вымышленный Горедон. И там, и здесь — историческое время, которое почти осязаемым потоком льется в повествовании, таща не камни, а человеческие судьбы, сталкивая и калеча их. И там, и здесь — иррациональный, хотя и далекий от всякой эзотерики, элемент в изображении метаморфоз души. Ну и, наверное, и у Маркеса, и у Силади — насыщенный, напряженный стиль повествования, совершенно чуждый пустоговорению и украшательству, бесконечно емкий и многозначный в каждой фразе, в каждом слове.

"Камень в сухом колодце" стал одним из главных событий в венгерской прозе второй половины XX века, это признают все больше критиков и читателей. Красноречив и тот факт, что Иштван Силади с момента выхода "Камня..." получил немало венгерских и международных премий (общее число их приближается к десятку), в том числе самую престижную венгерскую премию имени Лайоша Кошута.

Джон Макгахерн

Два рассказа

Перевод с английского А. Гениной

Эдди Мак

То лето, когда Энни Мэй Моран нанялась на работу к миссис Кирквуд, было особенно успешным для футбольного клуба "Сент Майкл". Команда второй раз подряд вышла в финал кубка высшей лиги. Эдди Мак был звездой клуба, лучшим форвардом. Он работал у Кирквудов и жил в дальнем углу двора, в трехкомнатном коттедже, отведенном пастухам. Оцинкованная крыша дома была выкрашена той же зеленой краской, что и крыша конюшни. Оба Кирквуда, отец и сын, старый и молодой Уильямы, поехали в Роскоммон смотреть финал. Они не очень разбирались в правилах, и футбольная лихорадка, опустошившая окрестности, их не коснулась: "Мы поехали из-за Эдди. Если бы его отец был жив, он бы порадовался".

Пока шел матч, Энни Мэй помогала миссис Кирквуд накрывать к ужину стол в парадной столовой. Миссис Кирквуд достала лучшую скатерть, столовое серебро и сервиз из тончайшего фарфора. На ужин была приглашена семья Натли из

© John McGahern 1992
© А. Генина. Перевод, 2010

Оукпорта, ее давние друзья и единственные, кто еще не уехал. Убедившись, что с сервировкой и угощением все в порядке, хозяйка, взяв книгу, уселась в кресло-качалку в библиотеке и, глядя на лужайку, белеющий штакетник и извилистую аллею медных и зеленых буков, как всегда в этот час, постепенно погрузилась в сон.

Проснулась она раньше обычного от взрывов жестянок с карбидом, победных криков и свиста, раздававшихся со всех сторон, на вершинах холмов и у каждого придорожного креста пылали костры. "Сент Майкл" впервые выиграл кубок высшей лиги. Она спустилась на кухню к Энни Мэй

– Совершенный кошмар, – пожаловалась она служанке. – В прошлом году тоже бог знает что творилось, а ведь тогда они проиграли. Что же будет сейчас, когда они выиграли?

– Эдди стал героем дня, – сообщил Уильям Киркву, когда они вернулись из Роскоммона. – Два гола, что он забил во втором тайме, решили исход игры – противники растерялись. После матча его пронесли вокруг поля с кубком в руках.

Энни Мэй, слушая его слова, зарделась. Она была влюблена в молодого пастуха, который даже не замечал ее присутствия в доме.

Неделю спустя большой серебряный кубок с длинными красно-зелеными лентами, совершая победный тур по приходу, прибыл в имение Киркводов. И вновь Эдди Мака с кубком в руках водрузили на плечи и пронесли до дверей его домика. Там кубок до краев наполнили виски, и под приветственный гул каждый из присутствующих сделал глоток. В центре двора развели огромный костер. Зазвучал мелодион.

– Что за ребячество, – ворчала в большом доме миссис Киркуд. – Про сон сегодня можно забыть.

– Они заслужили право на этот вечер, – возразил ее муж. – Жаль, что здесь нет отца Эдди. Он бы порадовался. Это была великая победа.

– Теперь они напьются. Разве это достойный способ праздновать победу? Ты только послушай, как они шумят во дворе.

– По-моему, ты к ним слишком строга, Элизабет, – мягко попенял ей Уильям Киркуд.

В то время Энни Мэй была еще слишком молода, чтобы ходить на танцы, а Эдди Мак еще не заслужил репутации бабника. У него была девушка, Кэтрин Динанс. Она была высокой и темноволосой, и они выглядели как брат и сестра. Поскольку Динансы владели землей, а Маки нет, Динансы занимали более высокое место на социальной лестнице, и. когда Кэтрин Динанс на Рождество уехала в Англию, все ре-

шили, что она его бросила. Больше ни с одной девушкой у него продолжительных отношений не было.

Несколько месяцев спустя он повредил колено на тренировке, и его футбольной славе пришел конец. Отборочные игры команда с трудом преодолела без него, а когда он вернулся, то из рук вон плохо сыграл в полуфинале. При ходьбе травма его не беспокоила, но давала о себе знать, стоило ему сделать рывок или подпрыгнуть. Вся его игра основывалась на скорости и интуиции. У него не было ни умения, ни желания вести жесткую силовую борьбу. Без стремительных бросков и точных ударов его манера держаться до последнего момента на заднем плане выглядела трусостью. Как только стало ясно, что кубок будет потерян, те же самые люди, которые в прошлом году на своих плечах пронесли Эдди по футбольному полю, теперь глумились над ним при каждом промахе. Внешне он казался спокойным и покинул поле с каменным лицом, но в ближайшую среду — день, когда он по вечерам ходил в деревню забрать свой номер "Геральда" и сделать покупки в бакалейной лавке, — он сложил в красно-зеленый свитер футбольные бутсы, носки, форму, бинты, обернул рукава вокруг свертка и крепко завязал; на пути в деревню он бросил сверток с моста в самом глубоком месте; услышав всплеск, постоял недолго, чтобы убедиться, что тот утонул.

В сентябре свою финальную игру отыграла миссис Кирквуд. Она отошла в мир иной, сидя в кресле-качалке у окна библиотеки с книгой на коленях, в "тот единственный час в день, который я эгоистично посвящаю себе". Когда она в привычное время не спустилась на кухню, Энни Мэй, подождав полчаса, поднялась наверх. Кресло у окна еще слегка покачивалось, но книга валялась на полу, и когда Энни Мэй окликнула хозяйку, то не услышала ответа. В комнате царила напряженная тишина. Казалось, даже буковая аллея внизу всматривается куда-то в пустоту, и Энни Мэй сбежала во двор с криком о помощи.

Привычный распорядок, а быть может, само сердце дома умерли вместе с миссис Кирквуд. Уильям Кирквуд и его сын, похоже, были только рады, что больше не должны ужинать в гостях, и гости к ним больше не приходят. Теперь они ели в просторной кухне и не переодевались к обеду даже по воскресеньям. На протяжении многих лет старого Уильяма интересовали только его пчелы — теперь он мог посвятить им все свое время. Его сын, который потерял деньги, попытавшись разводить на ферме новую породу шевиотов в соответствии с полученными в сельскохозяйственном колледже зна-

ниями, передал все дела Эдди Маку, который стал хозяйствовать по старинке, как когда-то его отец, не зарабатывая, но и не теряя денег. Все свое время молодой Уильям посвящал своему детскому увлечению — астрономии; он относился к звездам с той же особой деликатной преданностью, которую дарил пчелам его отец; заказывал книги и приборы, переписывался с другими астрономами-любителями. Большинство ясных ночей он проводил в поле, разглядывая звезды в большой телескоп, установленный на штативе.

Миссис Кирквуд больше не высказывала неодобрения по поводу всего, что происходило в деревне, и Энни Мэй теперь могла ходить на танцы. Она была крупная и не отличалась красотой, но поклонники у нее были — молодые люди с ферм и те, кто был уже не очень молод, но не замечал своего возраста, те, кто оценивал скотину с тыла, предпочитая солидные формы блеску глаз или линии скул и шеи. Она по-прежнему видела лишь Эдди Мака, но он ни разу не улыбнулся и даже не кивнул ей на танцах. Она наблюдала, как он стоял среди других мужчин в глубине зала, лениво покуривая и скользя глазами по танцующим девушкам. Иногда он мог простоять весь вечер, так никого и не пригласив, но уж если приглашал, девушка почти всегда уходила с ним. Если девушка ему отказывала, он, в отличие от других мужчин, никогда не старался приударить за другой, а спокойно возвращался в дальний угол зала и вскоре уходил в одиночестве. В те годы вопрос "С кем Эдди Мак уйдет сегодня?" был одним из главных развлечений танцзала. Он редко уходил с одной девушкой дважды.

Позже, когда стало очевидно, что Энни Мэй предстоит еще долго вести хозяйство в большом георгианском доме, он стал приглашать ее на танец из политических соображений. "Как старый филин со своей соседкой-совой", — бывало, шутил он; ведь она готовила ему обед, который он съедал вместе с Кирквудами на кухне. Он знал, что может взять ее, когда захочет, но ее пышный, здоровый вид не привлекал его, к тому же они жили и работали слишком близко друг от друга.

Но вот кануло в небытие то время, когда Эдди Мак мог потанцевать с девушкой и ожидать, что она уйдет с ним. Теперь он приглашал на танец одну девушку за другой, и ни одна не хотела его. И отнюдь не потому, что его внешность утратила былую привлекательность, — просто с годами он стал слишком хорошо известен в округе. И настал час, когда они танцевали с Энни Мэй не как соседи, а как мужчина и женщина. В воздухе висела густая пыль от принесенной на башмаках грязи, взбитой танцующими в мелкую пудру; тусклый желтый

свет парафиновых ламп отражался в оловянных рефлекторах. Монетки уже были посчитаны и лежали в аккуратных синих бумажных пакетах на карточном столе.

— Наверное, не стоит спрашивать, могу ли я проводить тебя домой, мы ведь все равно идем в одно и то же место, — это было сказано без особой радости, но она зарделась. Все эти годы она не верила, что когда-нибудь услышит эти слова.

Они вместе прошли по деревне, и музыка из танцзала провожала их; потом национальный гимн взрезал ночной воздух, и наступила тишина. Лишь из укромных уголков доносился шепот влюбленных. Почти вся деревня погрузилась в сон. Единственная, выбивавшаяся из-за ставен полоска света означала, что у Чарли продолжают выпивать, хотя по закону заведение должно было уже закрыться. У кузницы Шивнана человек, которого поставили смотреть, не идет ли патруль, предупредительно кашлянул, заметив их, но они молча прошли мимо. Когда они пересекали каменный мост, в темноте мелькнули фары велосипедов. Под мостом, меж поросших осокой берегов, река бесшумно скользила вдаль, в полноводный Шэннон.

— Точно последние глупцы простояли навытяжку под звуки Солдатской песни[1] и теперь могут спокойно разъехаться по домам, — заметил Эдди Мак.

Пройдя около мили, они свернули с дороги на тропинку, ведущую через поля к дому. Ночь была темная и безветренная, ни луны, ни звезд на небе, но они могли бы пройти по этой дороге даже во сне.

— У такой ночи есть одно преимущество — мы вряд ли натолкнемся на мастера Уильяма и его телескоп, — усмехнулся Эдди Мак.

— Он ученый человек, — отважилась возразить Энни.

— Он дурак. Они оба дураки.

— Может, они просто слишком ученые для деревни, — она неловко защищалась, но он не снизошел до ответа. Даже теперь, когда они свернули в поле, он все еще держался от нее в стороне, не желая принять жестокий удар, нанесенный его тщеславию, — после всех этих лет он вынужден был снизойти до такой простушки, как Энни Мэй.

— Когда-то все было по-другому, — сказал он внезапно. — Это было задолго до тебя. Я был еще мальчишкой, когда миссис Киркуд впервые появилась в доме. Тогда она звалась мисс Дарби, дочь старого полковника Дарби. Это был брак

1. Солдатская песня — гимн ирландских повстанцев с 1916 г.; национальный гимн Республики Ирландия с 1926 г. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

по расчету. Кирквуды тогда почти разорились — от них никогда не было толку, а у нее водились деньги. К ее приезду дом привели в порядок. Это было одним из условий брачного договора. Ограду покрасили, повесили новые занавески, все начистили до блеска.

Как только они поженились, начались приемы — бридж. чай в саду. Каждый год устраивали большую вечеринку, когда созревала клубника. По воскресеньям они или принимали гостей, или сами отправлялись на званый ужин. Мой отец говорил, что больше всего на свете старый Уильям ненавидел эти ужины и приемы. "Хочется от этого сбежать и жить в пещере или под могильной плитой", — жаловался он моему отцу. — Эдди Мак расхохотался. — Единственное, чего он хотел, это заниматься своими пчелами. Протестанты всегда с ума сходили по пчелам, в то время существовали даже общества пчеловодов. Он там с лекциями выступал. Говорят, это была идея миссис Кирквуд. Она ездила с ним на все заседания. Выкуривала его таким образом из дома. Старый Уильям никогда не любил бывать на людях, но миссис Кирквуд без этого жить не могла. "Она ходит в церковь только для того, чтобы повидать соседей", — говорил он моему отцу.

— Так или иначе, у него по-прежнему есть пчелы, — мягко заметила Энни Мэй.

— Всегда были, и всегда будут, и у сына такие же привычки, только у него вместо пчел звезды. Одно точно, чем бы он ни занялся, это будет что-то совершенно бесполезное.

— Когда я пришла, приемы уже закончились, — сказала Энни Мэй. — Миссис Кирквуд по четвергам ездила в отель "Ройял" встречаться с друзьями.

— К тому времени здесь осталось не так много протестантов, чтобы устраивать приемы. Когда закрылась церковь в Ардкарне, это было началом конца. Деньги, которые принесла в приданое миссис Кирквуд, тоже таяли. Если бы их поля принадлежали мне, через несколько лет я бы купался в деньгах, а они даже концы с концами свести не могут. Даже кошки над ними смеются.

— Они всегда были добры ко мне, — сказала Энни Мэй.

— И что им это дало? Что хорошего? — огрызнулся он. — Они беднее церковной крысы. Никакой пользы ни себе, ни людям. Они скоро по миру пойдут, помяни мое слово, и мы с ними, если сами о себе не позаботимся.

Они подошли к массивным железным воротам. Ворота были заперты, и они перелезли через низенькую ограду. Слева виднелся огромный дом, а по всей окружности двора из темноты выступали старые каменные постройки. Дом пасту-

ха стоял в глубине двора за сараем с сеном, рядом с полями. Какой-то момент они стояли во дворе порознь. Врожденная осторожность и тщеславие все еще удерживали его: слишком опасно, она жила рядом, это могло изменить его жизнь — но природа взяла свое.

После той ночи каждый вечер часов в девять, когда она управлялась с делами, а старый Уильям ложился спать и мастер Уильям читал в библиотеке или отправлялся в поля со своим телескопом, Энни Мэй шла в дом пастуха. Будучи робкой, она никогда не стучала и тихонько скребла по двери, а иногда окликала его. Первые недели они оставались в его доме, но вскоре стало ясно, что он не хочет ее там видеть. В хорошую погоду он уводил ее в поля.

— У нас свой телескоп!

И даже когда шел дождь, он все равно предпочитал уйти из дома, хотя ей хотелось сидеть рядом с ним в темноте и слушать, как дождь барабанит по железу. Он приводил ее в каменный амбар, где хранились фрукты и воздух был липкосладким, с ароматом забродивших яблок.

— Звуки дождя лучше слушать здесь, тут крыша тоньше.

Он хранил старое, тяжелое одеяло над полками с яблоками и мог закончить вечер когда угодно. Выставить ее из дома он бы не смог. Старинные законы гостеприимства даже ему было бы не так-то легко нарушить. Избавиться от нее в ничейном амбаре было просто — достаточно довести ее до угла двора, напротив большого дома, и все. Иногда ей казалось, что вечера теперь заканчивались, не успев начаться, но она была почти больна от желания и боялась жаловаться. В одно жаркое воскресенье в середине июня она сделала слабую попытку попросить об открытости или хотя бы благопристойности.

— В такой день хорошо бы покататься в лодке по реке. — Она сама изумилась собственной наглости, как только произнесла эти слова. У Кирквудов был лодочный сарай у реки и хорошая лодка, которую содержали в порядке, хотя редко использовали. Появиться вместе на реке — словно слегка приоткрыть завесу тайны. Это означало бы, что он ее не стыдится. Парочки всегда отправлялись к реке в такую погоду. Те, кто не мог раздобыть лодку, прогуливались вдоль берега до леса. Ее прежние поклонники были рады пройтись с ней. В лесу под деревьями росли нежные колокольчики, а в укромном месте бил родник с такой холодной водой, что зубы стучали даже в жару, и она смеялась и пила воду через соломинку.

— Нет, не сегодня, — протянул он, глядя под ноги. Во дворе меж камней рос желтый одуванчик. Он покачал башмаком, туда-сюда.

— Хотя бы для разнообразия?

— Не сегодня. — Он искал приемлемое оправдание. — Телка заболела. Не хочу, чтобы меня обнаружили так далеко от дома, если что случится. И потом, разве нам плохо здесь, за домом? Может, попозже удастся побродить по саду. Там так же прохладно, как на реке.

В полдень она приготовила еду, которая пользовалась особенным успехом в такую погоду — копченая пикша в сливочном соусе с цветной капустой, зеленым горошком и молодым картофелем. Прошло ровно четырнадцать лет с тех пор, как миссис Киркуд учила ее правильно готовить соус, чтобы он получился нежным, с ароматом петрушки и зеленого лука. Если бы в это жаркое воскресенье миссис Киркуд была здесь, Уильям и ее сын не обедали бы с Эдди Маком на кухне. В столовой был бы накрыт стол с льняной скатертью и серебряными приборами, дверь в дом распахнута, на лужайке под ореховым деревом поставили бы шезлонги для послеобеденного кофе и газет.

Правда, в огромной кухне тоже было неплохо — свежая прохлада от коричневой плитки, которую она протирала утром, из открытой выходящей во двор двери видно мерцающий от жары воздух над железными крышами и темную зелень деревьев вдали. Дом был для них слишком велик. За едой мужчины не разговаривали, и она вздрагивала всякий раз, когда нож или вилка скребли по фарфору.

— Должен сказать, это был превосходный обед, Энни, — произнес Уильям, когда они встали из-за стола.

— Искренне присоединяюсь, — добавил его сын.

— Я буду поблизости, — обратился Эдди Мак к молодому Уильяму, приподняв кепку. — Мне не нравится, как выглядит та телка.

— Если понадобится моя помощь, я в библиотеке.

Она не обедала со всеми, но даже после того, как она убрала со стола и управилась с посудой, есть ей не хотелось. Она выпила кружку кофе и съела кусок фруктового торта, глядя на пустой двор. Было уже далеко за полдень, когда она встала, вымыла кружку, закрыла дверь и медленно спустилась по ступенькам в оглушающую жару двора.

Она нашла его за углом конюшни, через руку перекинуто синее суконное пальто, которое он иногда надевал на ярмарку. Он встретил ее с непривычным в последние недели пылом. Они молча прошли в сад, выбирая в высокой траве ме-

сто подальше от протоптанной тропинки, что вела от ворот к выцветшим ульям, выстроившимся в ряд у дальней южной стены, увитой плющом. Заросли дикой малины, дотянувшиеся до яблоневых ветвей, служили дополнительным укрытием, и никто в мире не смог бы отыскать их там в этот благословенный день.

— Посмотри, оно постиранное. — Он предложил ей взглянуть на синее пальто, перед тем как постелить его на землю, со всей нежностью, какую вообще был способен проявить. — Здесь так же прохладно, как на реке, — шепнул он, обнимая ее. — Прохладно, как на реке. Пусть у них будут поля и все, что они хотят. Счастье — вот оно, — бормотал он хрипло, ритмично двигаясь над ней. — Это центр, центр всего, а у них пусть будет все остальное, все, что пожелают.

— Тогда я должна быть частью этого центра, — сказала она едва слышно, не очень вникая в смысл слов, которые произносила, движимая тоскливым чувством поражения, которое овладело ею, когда она сидела одна в большой кухне.

Он был так изумлен, что замер. Наверное, если бы сама земля разверзлась перед ним, он не выглядел бы более потрясенным. На секунду ей показалось, что он собирается ее ударить, но он лишь оправил одежду и повернулся к ней спиной. Тягостное молчание было нарушено звуком открывающейся и закрывающейся калитки. Старый Уильям медленно шел по тропинке между деревьями. Он направлялся к ульям, в белом с ног до головы, седая борода упрятана под одежду, по краям старой соломенной шляпы уложена сетка, длинные перчатки дважды перетянуты шнурком у локтей. Он нес инструменты и дымарь, то и дело останавливаясь, чтобы помахать им.

Из своего укрытия в траве меж диких побегов они смотрели, как он идет вдоль ульев. Его медленные движения каким-то чудом уменьшили напряжение. Каждый раз, когда он приподнимал крышку улья, тонкий пчелиный ручеек устремлялся к нему. Он не обращал на пчел никакого внимания, методично продвигаясь от улья к улью, иногда используя инструменты, чтобы разделить рамы, то и дело поворачиваясь к солнцу, чтобы рассмотреть их на свету. Когда он обошел все ульи и пчелы вернулись к своей размеренной работе, он вытащил из травы старый деревянный стул и сел на краешек, неотрывно глядя на леток, в точности как стоящие на мосту люди, склонившись к воде, смотрят вниз, на течение.

— Что он делает? — спросила она.

— Ничего. Просто смотрит. Он может так сидеть часами. Однажды я спросил его, что они делают. "Сегодня, Эдуард,

они убивают трутней", – ответил он. – Можно было подумать, что он говорит о погоде.

– Но все-таки он продает часть меда Слоунам, – сказала она. – Они каждый год у него покупают.

– Ага, за гроши. И большую часть этих денег он тратит на чертовых пчел. Или раздает. Одно можно сказать про Кирквудов: все, к чему они прикладывают руку, абсолютно бесполезно.

Они наблюдали, как старый Уильям встáл со стула, снял шляпу и сетку и своими длинными изящными пальцами освободил несколько пчел, запутавшихся в ячейках. Перевернул стул вверх ногами и оставил его в траве, затем медленно пошел к саду. Солнце уже скрылось за стеной. Они тоже встали, стряхнули пыль и травинки с одежды и разошлись в разные стороны. Энни Мэй сильно изменилась с той ночи, когда она вернулась с танцев с Эдди Маком, но все же тупо лелеяла надежду. А еще она начала опасаться, что ждет ребенка.

Скоро она знала это наверняка, но все тянула и не говорила Эдди. Для сбора урожая наняли четверых помощников. Теперь все ее время, казалось, уходило на приготовление еды. Бывало, Эдди заигрывал с ней на глазах у работников, но теперь он ел в угрюмом молчании.

Как-то она шла через двор с пакетом наспех собранных зеленых яблок, чтобы приготовить работникам десерт, и услышала одобрительные восклицания со стороны загона для скота. Эдди Мак стоял в центре загона; одной рукой он держал за шею черного бычка, другой сжимал его ноздри, зажав нежную мембрану между большим и указательным пальцами. Он постепенно заставлял сопротивляющегося бычка опуститься на колени, а мужчины в загоне громко подбадривали его. Неожиданно – то ли Эдди Мак потерял равновесие, то ли напуганное животное собрало все силы для последней отчаянной попытки – он оказался отброшен на стальные прутья ограды, а бычок обрел свободу. Эдди Мак не пострадал. Он бросился к бычку и обрушил на него град ударов; загнанное животное мычанием взывало к стаду, мотало головой и пыталось увернуться от ударов.

Ее затрясло – так она была напугана. Страх не отпускал ее весь день, пока она готовила, подавала еду, убирала. Вечером, когда стало совсем невыносимо, она сказала ему то, что откладывала неделями.

Пока она говорила, он не смотрел на нее. С той первой ночи, когда он взял ее, он знал, что рано или поздно ему придется уехать. Он ждал этого с самого начала. Он только не ожидал, что это протянется так долго.

— Сколько уже? — спросил он.

— Четыре месяца. Может, чуть больше. — Какое облегчение, что он выслушал ее так спокойно. Ей так хотелось простого, обыденного счастья. — Мы можем привести в порядок маленький дом. В нем и раньше жили семьи с детьми. Там и менять-то мало что надо. Я могла бы по-прежнему работать в большом доме. Они, наверное, только рады будут. Ведь это будет означать, что мы тут останемся.

— Не волнуйся. Все как-нибудь образуется, — сказал он, и она расплакалась. — Нам надо все обдумать. На это нужно время, — продолжил он.

— Время?

— Надо поговорить со священником, если мы хотим пожениться. Надо зачитать оглашение, получить разрешение, да мало ли что еще. Сбор урожая закончится через несколько дней. В конце недели работников рассчитают. Тогда мы все обдумаем.

— Значит, все будет хорошо. — Она не могла поверить в свое счастье.

— Ни о чем не беспокойся. К концу недели мы все уладим.

— Я боялась, — сказала она. — Даже не верится, что все так хорошо обернулось.

Он через это уже проходил. Разница была только в том, что раньше девушки уезжали в Англию, а теперь он сам должен будет там раствориться.

Той ночью, после того как она ушла, он долго лежал, не раздеваясь, на железной кровати в пустом трехкомнатном доме, смотрел в потолок и курил сигарету за сигаретой, хотя обычно курил мало. Мальчишкой он часто пытался посчитать потолочные балки, особенно зимней ночью при мерцающем свете очага, но ему ни разу не удавалось довести дело до конца, он всегда сбивался со счета в лабиринте балок в центре. Но этой ночью он не собьется со счета. Сегодня был понедельник, второе число. Завтра вторник, послезавтра среда. Ярмарка в Бойле всегда проходила в первый четверг каждого месяца. До нее оставалось три дня.

Вечером накануне ярмарки он отобрал шесть самых лучших двухлеток черной масти, гордость фермы, и запер их в небольшом загоне у дороги; это неуклюжее строение он вместе с отцом смастерил из старых железнодорожных вагонов. Закрыв загон, он бросил в угол охапку сена, чтобы ночью животные не подняли шума. Все эти годы ему доверяли самостоятельно управлять фермой, так что никто и не подумал спросить его о скотине. Когда он вернулся домой, было уже темно, пошел дождь. Энни Мэй пришла раньше него. Она не зажигала света,

но развела огонь в очаге и вскипятила воду в чайнике. Маленький столик у стены был разложен, на нем стояли чашки и тарелки. Она принесла еду из хозяйского дома.

— Я стучала, но никто не ответил, и я решила войти, — извинилась она.

— И правильно сделала, — ответил он.

Когда она сказала ему той ночью: "Ты можешь найти себе более красивых женщин, но никто не будет любить тебя так, как я", — он знал, что так оно и есть, что это истина в каком-то высшем смысле; но это было не для него. Он представил себе, как она кормит ребенка грудью, как тоскливо тянутся годы на службе у Кирквудов, и выбросил все это из головы.

Было еще темно и по-прежнему шел дождь, когда он выгнал скотину на дорогу. Он ничего не взял с собой, кроме палки и небольшого узелка. Первые мили были самыми тяжелыми. Несколько раз ему приходилось гоняться за животными по полям, когда стена вдоль дороги была сломана; их копыта скользили, когда они бежали и останавливались. Потом они устали, к тому же рассвело, и стало полегче. Перекупщики, желающие купить скотину по дешевке до того, как она попадет на ярмарку, постарались задержать его на окраине города, но он с проклятьями выбрался из окружившего его кольца. Улица, что вела на ярмарку, была с обеих сторон заставлена столами и лестницами, чтобы защитить окна и двери. Он нашел себе место у стены в самом конце площади. Теперь ему оставалось только ждать. Его одежда, промокшая от пота и дождя, прилипла к спине. Животные, копыта которых после длинного, трудного пути сбились и кровоточили, начали потихоньку приходить в себя и потянулись к увитой плющом стене, стремясь ухватить листочки.

Чтобы получить хорошую цену, пришлось ждать до полудня. Хотя попытки сбить цену и привлекали внимание покупателей, продать быстро и дешево было опасно, да и не в его привычках.

— Там, откуда ты их пригнал, есть еще такие? — спросил его торговец с севера, отсчитывая купюры в баре рядом с ярмаркой.

— Нет, такие не часто появляются, — ответил Эдди, вытягивая купюру из плотной пачки и протягивая ее покупателю на удачу, по местной примете. Он быстро опрокинул стаканчик виски, который скрепил сделку. Поезд отходил в три.

Впоследствии никто не мог припомнить, что видел его на станции. Он ждал на парковке и, как только поезд подошел,

быстро прошел к вагону. Каждый раз, когда проверяли билеты, он шел в туалет; но, если бы у него попросили билет, он заплатил бы без возражений. В его внутреннем кармане лежало больше денег, чем он имел за всю свою жизнь.

Сойдя с поезда, он отправился в порт и купил билет до Ливерпуля за несколько минут до отплытия корабля. Когда судно вышло в открытое море, он почувствовал озноб от накопившейся за день усталости и пошел в бар, где заказал виски. Согревшись, он обдумал прошлое и будущее.

Вся округа будет об этом говорить, как только узнают про скотину. И только Кирквуды отнесутся к этому спокойно. "Его отец работал у нас. Мальчик здесь вырос. Как он мог уйти и сделать то, что он сделал?" — скажет старый Уильям. Он ничего не имел против Кирквудов, просто они были глупцы. Только у старой хозяйки был железный стержень. Когда Энни Мэй вынуждена будет признаться им во всем, они даже и не подумают выставить ее за дверь, они даже собаку или кошку не смогли бы выгнать. Он прямо-таки видел, как они начнут привязываться к ребенку, когда тот станет ходить по большому дому, и старый Уильям будет водить его за руку в сад, показывать пчел.

— Заливаешь проблемы? — спросил сосед у барной стойки.

— Угу, — он не хотел втягиваться в разговор, — заливаю.

Корабль придет в Ливерпуль утром. Хотя они не сразу поймут, что произошло, он все же сразу уедет в Манчестер, где сменит прическу и одежду. От Манчестера рукой подать до полных жизни городов на севере — Лидс, Ньюкасл, Глазго. Он найдет работу. Вообще-то он мог бы долго прожить без работы, но все же он сразу начнет работать. Те, кому работа не очень нужна, всегда находят ее быстрее, чем те, кому она позарез необходима. Так уж устроен этот глупый мир.

Сержант и рядовой Дизи навестят большой дом. Они запишут даты и другие сведения в свои блокноты и обыщут дом пастуха. Распространят листок с его фотографией и информацией. Все фотографии, которые они смогут найти, были сделаны в дни его футбольной карьеры. Его никогда не поймают. Разве удавалось найти кого-то в Англии?! Все их попытки будут так же бессмысленны, как надежда в аду.

Манчестер, Лидс, Ньюкасл, Глазго — они были точно карты на зеленом игровом столе. Он жалел лишь об одном — что не уехал раньше. Тосковать он не будет. Если чего-то и будет ему не хватать, так это так и не сосчитанных потолочных балок. В больших городах человеку легко затеряться навеки, его победа все еще впереди.

Дождь водоворотом кружился по двору, барабанил по черепице и стучал в окна, а кухня, казалось, вобрала в себя всю жизнь большого дома. На полу у задней двери были свалены мокрые куртки. Дубовая дверь со сломанной ручкой, ведущая в дом, была заперта, тяжелый ключ торчал из замочной скважины. Сквозь приоткрытую дверцу огромной старой плиты мерцал огонь. Конфорки недавно заново покрыли графитом, медные детали были начищены до блеска. У плиты сидела Энни Мэй Моран, служившая у Кирквудов с четырнадцати лет, и вязала дочери коричневую фуфайку. Время от времени она наклонялась, брала несколько поленьев из стоящей рядом камышовой корзины и подбрасывала их в огонь. С краю длинного дощатого стола, поближе к огню, Уильям Кирквуд и дочь Энни, Люси, трудились над домашним заданием. Они скорее сражались друг с другом, чем с алгеброй; девочка ни за что не желала хотя бы попытаться понять значение символов, мужчина проявлял безграничное терпение. Он разложил на столе монетки, потом насыпал пригоршню свежих грецких орехов и, наконец, достал из корзинки зеленые яблоки. Каждый раз, когда он передвигал монетки, орехи, яблоки в отдельные кучки, Люси наблюдала за ним с нескрываемым подозрением, и каждый раз вынуждена была давать правильный ответ на простую операцию вычитания, подсчитывая предметы; но как только он заменял монетки и фрукты на икс и игрек, никакие демонстрации не могли подсказать правильный ответ, и она, не желая разобраться, называла первое попавшееся число.

— Ты просто упрямишься, Люси. Уперлась, как обычно, — в конце концов его терпению пришел конец.

— Вам легко говорить, а у меня нет способностей к математике, — отвечала она сердито.

— Неправда, что у тебя нет способностей. Ты просто не хочешь подумать. Не знаю, что с тобой случилось. Ты как будто назло.

— Я не понимаю.

— Послушай, Люси. Ты не должна так разговаривать с мастером Уильямом, — вмешалась Энни Мэй. Она все еще звала его мастером Уильямом, хотя ему уже стукнуло 45, и он был единственным Кирквудом.

— Ничего, Энни Мэй, я не против, только бы она поняла. Но она не хочет подумать.

— Ничего, мастер Уильям, я не против, что вы так говорите, — рассмеялась Люси.

— Ладно, что дальше, — поторопил он ее. — Английский и церковная история?

— Английский и катехизис, — поправила она.

Английский ей нравился, и они быстро сделали упражнения. Для своих тринадцати Люси была высокой и крепкой и походила на симпатичного мальчика. Когда дошли до комментариев к догматам веры, стало ясно, что ему это интереснее, чем его ученице. Помогая по вечерам Люси с домашними заданиями, он впервые заинтересовался католичеством. В каком-то смысле, это стало первым шагом к его грядущему обращению. С неподдельной любовью смотрел он, улыбаясь, как она складывает книжки в кожаный портфель. После того как они втроем выпили чай с хлебом и маслом, Люси подошла поцеловать его на ночь, как делала каждый вечер с тех пор, как была совсем маленькой и он читал ей сказки. Когда Энни Мэй открыла дубовую дверь, на них повеяло холодом большого дома, и она, взяв кувшин с горячей водой и свечку в голубом оловянном подсвечнике, поспешила проводить дочь наверх в ее комнату.

После того как Эдди Мак, сын пастуха и сам в прошлом пастух Кирквудов, продал их лучших коров на ярмарке в Бойле и растворился в Англии, бросив беременную Энни Мэй, старый Уильям, отец Уильяма Кирквуда, уговорил Энни Мэй остаться и родить ребенка.

— Почему ты должна ехать в Англию, где ты никого не знаешь? Ты не сделала ничего дурного. Оставайся, рожай здесь. Нам все равно, что подумают другие. Мы будем рады ребенку.

Энни Мэй и в голову не пришло самой давать имя дочери, и ее назвали Люси в честь любимой тетушки Кирквудов. Девочка росла сильной и здоровой, волосы у нее были черные — в отца. Ей нравилось кричать в огромных пустынных комнатах каменного дома и смеяться, подбоченясь, когда ее голос отзывался эхом, и смех тоже отзывался глуховатым эхом; голос и смех больше напоминали четкую командную речь Кирквудов, чем мягкий невнятный говор ее матери, где гласные словно перетекали одна в другую. Старик и дитя были неразлучны. В хорошую погоду их можно было увидеть в саду, куда они шли посмотреть на пчел. Она, вереща, словно испуганная птичка, старалась держаться за его руку и одновременно прыгать на одной ножке; он медленно брел рядом с ней, непостижимая тайна за сеткой пчеловода. Именно Люси он послал за Уильямом в тот последний день, когда не смог сам поднять

крышки ульев и решил, что пчелы их приклеили. Стоял ясный весенний день. Пчелы кружили вокруг ульев.

— Я не понимаю, в чем дело, Уильям, — сказал он сыну, когда Люси привела того на пасеку.

— Отец, если пчелы приклеили крышки, нам может понадобиться стамеска. Я постараюсь слегка развернуть их и постепенно освободить, — ответил Уильям, но, к своему удивлению, обнаружил, что крышка легко поддалась и уже была у него в руках.

— Да они вовсе не приклеены. Они совершенно свободны. — Он начал было смеяться, но замолчал, осознав, что отец так ослаб, что не смог поднять несколько полосок крашеной сосны. Уильям бережно отвел старика и ничего не понимающего ребенка обратно в дом.

— Ты, верно, что-то подхватил, отец. Пара дней в постели, и снова будешь в порядке.

Той безветренной весенней ночью, когда легкий дождь точно вуалью окутал большой дом и сад, старый пчеловод постепенно угас и под утро ушел из жизни так же тихо, как жил.

Энни Мэй горько оплакивала его, а Люси, слишком маленькая, чтобы горевать, естественно потянулась к Уильяму. Она стала везде ходить за ним, и на скотный двор, и в поля, не хуже мальчишек управляясь с овцами и коровами. Энни Мэй попыталась было как-то ограничивать эти походы, но Люси была своевольна и ненавидела домашнюю работу. Кроме того, Уильяму нравилось работать в поле в компании Люси, а ее помощь зачастую была весьма полезной. В качестве своеобразной компенсации Энни Мэй за те часы, что девочка проводила в поле, — а также потому, что он был прирожденным педагогом, — зимними вечерами Уильям стал помогать Люси с домашними заданиями.

Не считая того, что он жил затворником в каменном доме с Энни Мэй и Люси, к началу войны положение Уильяма Киркуда было немногим лучше, чем у его соседей католиков; пожалуй, он был даже беднее некоторых, чьи дела пошли в гору. Да, у него были гостиная и библиотека, газон и сад, и обширные поля за каменными оградами, но газон зарос сорняками, а книги на верхних полках покрылись плесенью от сырости. Сад одичал, отцовские ульи сгнили, их остовы были скрыты густой травой. Земля была истощена многолетним использованием и наполовину заброшена, в каменной ограде зияли дыры. Почти все протестанты-землевладельцы, друзья его родителей, которых он знал в юности, видя, как рушится их привычный мир, эмигрировали в Канаду, Австралию или перебрались на Север. Уильям Киркуд остался, пребывая в

счастливом неведении, что был объектом насмешек с юности, поскольку наблюдал за звездами вместо того, чтобы развлекаться с золотой молодежью или прогуливаться с горделивыми протестантскими дамами на ярмарках среди призовых цветочных композиций, крупного рогатого скота, лошадей и ячменных снопов. Он и сейчас был посмешищем, ведь, имея столько гектаров плодородных земель, с трудом мог прокормить себя, старую служанку и ее незаконнорожденную дочь. Но смех рождался от непонимания. Он основывался на поверхностных наблюдениях, самодовольном невежестве, да и просто на предубеждении; ведь походя осудить куда проще, чем проявить сочувствие. Смех прекратился, когда началась война в Европе. В нейтральной Ирландии было объявлено чрезвычайное положение. Для защиты страны формировались отряды ополчения. Уильям Кирквуд не задумывался о том, на чьей стороне он должен быть, и записался одним из первых. Его произвели в офицеры, и отношение к нему — насмешливое, снисходительное, покровительственное — полностью изменилось. Он оказался метким стрелком. Он с легкостью читал полевые карты.

Его дедом по материнской линии был старый полковник Дарби — тугой на ухо любитель джина с негнущейся ногой. В каменном доме его не жаловали, поскольку он никогда не упускал возможности излить саркастические оскорбления на своего мягкосердечного трезвенника-зятя, отца Уильяма. Дарби с незапамятных времен были офицерами британской армии, и, как только Уильям Кирквуд надел военную форму, все они точно ожили в нем. Мужчины, которые записались в ополчение ради бесплатных армейских сапог, формы и трех недель летних военных сборов у моря на полном довольствии, были жестоко обмануты в своих ожиданиях. Четкие команды требовалось немедленно выполнять. Холодный глаз находил малейший беспорядок в одежде, позе, движении. Кое-кто ворчал: "Стоит этим сесть в седло — кажется, они никогда его не покидали. Загоняют тебя, как собаку", — но все признавали, что Кирквуд был справедлив, а когда команда под его началом выиграла соревнования по стрельбе из винтовки и его произвели в капитаны и поставили над всеми отрядами на севере графства, им стали гордиться и мало-помалу заговорили о нем с похвалой: "Он не так плох, как может показаться поначалу".

Сняв военную форму, он снова становился замкнутым, и в сельском хозяйстве от него по-прежнему не было никакого проку. Люси сопровождала его повсюду. Хотя школа и церковь смягчили ее речь, характерные приметы лающего про-

тестантского говора все еще безошибочно выдавали ее. Люси очень гордилась военной формой и чином Уильяма, и ради его защиты учинила беспорядок в школе: когда мальчишки стали насмехаться над протестантизмом Уильяма – дескать, он не ходит даже в собственную церковь, – она схватила палку и накинулась на обидчиков со словами: "Он не ходит в церковь, потому что ее закрыли".

Энни Мэй полностью утратила всякую власть над дочерью, и Уильяму частенько приходилось быть посредником и вставать на защиту Энни Мэй. Впрочем, Люси обычно слушалась его. Быть в доме с матерью было невыносимым наказанием. Быть в поле с Уильямом было радостью. Тем холодным дождливым летом она помогала ему с сеном, причем управлялась с конными граблями проворнее, чем он. Помимо работы, которую она выполняла – а делала она много, – само ее присутствие в поле было живительно. Его бросало в дрожь от мысли, что он окажется один перед этими бескрайними полями, тянущимися вдаль, как сердечная боль, под этим надломленным небом; один, и не будет подле него ее беззаботной болтовни, ее буйной энергии.

Разумеется, она была рядом с ним и тем утром, когда привычная уединенная жизнь Кирквудов закончилась.

Сено на большом горном лугу было скошено, но к вечеру обещали дождь. То, что им предстояло – даже если они используют конные грабли, – приводило в уныние. Они постараются спасти как можно больше сена, а то, что к вечеру останется лежать на земле, будет ждать, пока погода исправится. Другого выбора у них не было.

Внезапно раздался шум, и на лугу с важным видом появился Фрэнсис Хэр, который доставил Уильяму немало хлопот в первые дни военных сборов. Фрэнсис не смог отказать себе в удовольствии пошутить.

– У меня опять что-то не так с одеждой, капитан? – прокричал он, подходя поближе. Двигался он неуклюже, потому что за спиной у него были спрятаны вилы.

– Да нет, Фрэнси. Мы же сегодня не в форме, – ответил Уильям Кирквуд, не зная, как отнестись к его появлению. И тут из-за придорожной изгороди раздался веселый говор, и толпа мужчин заполонила луг. Кто-то уже открывал ворота, чтобы впустить еще одни конные грабли. Копны сена вырастали на поле там, где прокатилась волна галдящих мужчин, которые перебрасывались шуточками и крепкими словечками, то и дело подпихивая друг друга. Люси верхом на лошади отправилась домой, чтобы Энни Мэй приготовила сэндвичи. Сам Уильям отправился в паб Чарли за бочкой портера. За-

долго до наступления темноты сено было убрано. Когда мужчины ушли, Уильям Киркуд обошел поле и осмотрел аккуратно связанные копны.

— У нас с тобой, Люси, на это ушла бы неделя, и мы, вероятно, потеряли бы половину сена, — проговорил он задумчиво, почти униженно.

Вечером пошел обещанный дождь. Ритмичные удары капель о черепичную крышу его не беспокоили. Он безмятежно слушал, как шумит дождь, пока не заснул.

Ему точно так же помогли перевезти сено с полей, потом пришли собрать урожай зерна и картофеля. Даже в лучшие годы, когда они могли нанять сколько угодно работников, летние полевые и уборочные работы не проходили так легко. Чтобы отплатить за помощь, Уильяму Киркуду пришлось помогать на других фермах, потому что никто не соглашался взять деньги. Если он не брал с собой Люси, она впадала в ярость и потом дулась целыми днями. От него не было никакого толку в тяжелом ручном труде на ферме, его никогда не заставляли участвовать в жестоких мужских соревнованиях, но его умение разбираться в машинах и механизмах приносило больше пользы, чем руки самых сильных мужчин. Он был защищен не только своим новым военным званием, но и тем положением, которое Киркуды занимали из поколения в поколение, и никогда не подвергался оскорблениям. Его появление на полях было в новинку, и о нем бесконечно судачили, что вносило разнообразие в монотонное течение работы и времени. Его необычные, мягкие манеры сделали его весьма популярным у женщин, а дистанция, которую он всегда сохранял, словно недоступность юного священника, только усиливала привлекательность. После многих лет отчуждения он, похоже, был счастлив окунуться в эту суету; и впервые за многие годы оказалось, что земля приносит доход. На Рождество он предложил Энни Мэй значительную сумму в компенсацию за те гроши, что она получала все эти годы. Она с негодованием отвергла деньги.

— Мне достаточно того, что я тут жила все эти годы и никто мне и слова не сказал. Я бы ни за что не хотела обидеть вас, но я швырну деньги на пол, если вы будете настаивать.

— Хорошо, тогда поедем с Люси в город. Она уже не ребенок. Ей нужны новые наряды, как у других девочек.

— А разве у нее не все есть? В новом наряде она только привлечет к себе внимание. В ее положении это не нужно, только беду накличет!

Себе она ничего бы не взяла, но в конце концов уступила ради Люси. Они вместе поехали в магазин Боулсов. Энни Мэй никогда там прежде не бывала и погрузилась в благоговейное молчание, вздрагивая от страха каждый раз, когда медные чашечки, позванивая, с помощью тросов и блоков поднимались наверх к стеклянной кассе и с грохотом возвращались назад с чеками и сдачей. Люси запуталась с выбором, и Уильям выбрал наряд при помощи миссис Боулс; и все это время старый мистер Боулс обхаживал последнего из Кирквудов.

— Я был совсем маленьким, когда ваша дорогая матушка изволила посещать наш магазин. О, это была настоящая леди, — он потирал руки, а в петлице у него была вечная красная роза, на которую никак не влияла смена времен года.

— Ты прекрасно выглядишь, Люси, хотя мне бы не хотелось, чтобы ты взрослела, — сказал Уильям. Люси вспыхнула и потянулась поцеловать его. Уильям с трудом смог поднять ее на руки.

В то воскресенье, когда она впервые пришла в церковь в новом наряде, она произвела еще больший фурор, чем Уильям, когда он впервые как простой работник пришел помочь соседу в поле.

Война все продолжалась, почти не вторгаясь в их быт. Жизнь местного ополчения шла по заведенному порядку: три недели на учениях в лагере, соревнования по стрельбе из винтовки, учебная тревога в четверг вечером, стрельбы по воскресеньям после обеда — стреляли с берега в Оукпорте по мишеням, установленным на холме Маккейба. В определенные дни ополченцы в полном обмундировании собирались у ратуши и строевым шагом шли через деревню к церкви, стояли на часах у алтаря во время утренней воскресной службы и брали оружие на караул в начале и конце мессы. В эти воскресенья капитан Кирквуд вел свой отряд через деревню, но на пороге церкви передавал командование школьному учителю, лейтенанту Маклахлину, и оставался на улице ждать конца службы. Теперь, когда он стал частью сообщества, такое явное отличие вызывало легкую досаду. Это довольно неуклюже высказал в лицо Уильяму полицейский сержант Моран — случилось это у Чарли, после воскресных стрельб. Мужчины пили у стойки, что отделяла бар от магазина, но два офицера, капитан Кирквуд и лейтенант Маклахлин, вместе с полицейским сержантом сидели за большим овальным столом в передней комнате. Сержант присутствовал на учебных стрельбах, чтобы убедиться, что соблюдаются необходимые меры безопасности. После посещения церкви сержант выпил и на-

доедал всем на учениях, разгуливая без дела во время стрельбы и пытаясь найти собеседника; а поскольку он не подчинялся капитану Кирквуду, тот ничего не мог с ним поделать. Как только Чарли принес виски, сержант начал:

— До войны, Уильям, ты был сам по себе в этом большом доме, никому не помогал и ни от кого не получал помощи. Сейчас ты с нами. И если бы ты не был протестантом, ты бы не отличался от всех нас.

Лейтенант Маклахлин мучительно пытался найти какие-то слова, чтобы снять неловкость, вызванную этой речью, — она была словесным продолжением той сумятицы, которая им уже надоела за день, и тут Уильям Кирквуд сухо заметил:

— На самом деле, сержант, я серьезно размышляю о переходе в католичество, но вовсе не для того, чтобы быть как все. — Его слова вызвали молчаливое замешательство, едва ли не более сильное, чем речь сержанта.

Одно дело — проявить сентиментальную слабость и вежливо пожалеть, что между ними все еще существует столь явное различие, и совсем другое — услышать о переходе Уильяма Кирквуда в католичество, это настораживало. Нарушался закон, по которому каждый должен был оставаться там, куда попал с рождения, как ласточки там или дрозды. Переходили в другую веру только по двум-трем причинам — деньги, или положение в обществе, что, впрочем, чаще было одним и тем же; а еще *любовь*, если только можно назвать любовью инстинкт, который фокусировался на одном человеке и толкал на любое безумие, лишь бы получить желаемое. Католики становились протестантами ради денег или положения, это была давняя ноющая рана; но единственная причина, по которой протестанты когда-либо переходили в католичество, была женитьба. В местном приходе даже был живой пример, англичанин Синклэр, который женился на девушке из семейства Конвэй; его бедняжка жена говорила людям из Бойля, что он был на службе в Кутхолле, потом сообщала в Кутхолл, что он был на службе в Бойле, в то время как все вокруг знали, что он сидел дома, греясь у огня и критикуя всё и вся, что попадало в поле его зрения.

— В вашу апостольскую римско-католическую церковь меня привел вовсе не зуд веры. Это мой член заставил меня поменять вероисповедание, — говорил он с усмешкой.

— А как получилось, что *вы* заинтересовались?.. — нерешительно спросил Маклахлин Уильяма.

— Помогая Люси делать домашние задания, — с готовностью отвечал Уильям, — я заинтересовался некоторыми ответами на вопросы катехизиса, потом историей церкви. Это

ведь старейшая церковь. Я нашел книги Ньюмена и Оксфордского движения[1] в библиотеке. Должно быть, моя мать когда-то этим интересовалась.

— Все же это не шутка — повернуться спиной к своим единоверцам, будто говоря, что они заблуждались на протяжении всех этих столетий, — заметил сержант.

— Нет. Главное — верить в свою правоту, — Уильям отставил стакан и поднялся. — Они жили в соответствии со своими убеждениями. А сейчас наше время.

— Что ж, что бы вы ни сделали, мы надеемся, это будет вам во благо, — хором проговорили вслед Уильяму оба собеседника. Уильям никогда не пил больше одной порции, и это всегда относили на счет протестантской привычки к воздержанию.

— Ну и дела! Тут без выпивки не разберешься, — выдохнул сержант, когда Уильям исчез из виду, и нажал на кнопку звонка. Оба заказали по пинте.

— С чего это он? — вопросил сержант.

— Нетрудно догадаться.

— И?

— Ясно как божий день. Тут только одно объяснение.

— Сдаюсь!

— Как получилось, что он заинтересовался католицизмом?

— Из-за Люси и катехизиса, — проговорил сержант с изумлением. — Я должен был догадаться. Он же водил ее в магазин Боулсов перед Рождеством и одел, как царицу Савскую; а ведь ей еще и четырнадцати нет!

— Кирквуд, может, очень умный и командовать умеет, но в каких-то вещах он точно ребенок. Люси не слишком хорошо учится в школе, но она совсем не глупа и в каком-то смысле старше своих лет. По натуре она скорее Кирквуд, чем дочь бедной старой Энни Мэй. Разве она не ходит с ним повсюду?

— Но он не может на ней жениться.

— Три-четыре года пролетят быстро. Энни Мэй неплохо проведет остаток дней!

— Бог мой, мне бы до этого в жизни не додуматься.

Известие о предстоящем обращении было таким странным, что они держали его при себе, — поразмыслив, они стали сомневаться, боясь попасть впросак, но тут было замечено,

1. Движение за обновление англиканской церкви, которое началось в Англии в 1833 г. под руководством кардинала Джона Генри Ньюмена (1801–1890.

что каждый вторник и четверг Уильям вышагивал по липовой аллее к дому священника, и новость быстро распространилась по округе. Чудеса в подлунном мире никогда не прекратятся. Уильям Кирквуд, последний из Кирквудов, вот-вот должен был отречься от ошибок своих предков и стать католиком.

Старый священник, каноник Глинн, отлично подходил своему приходу. Он вырос на ферме, любил карты и виски, но истинной его страстью были породистые шортхорны, которые паслись на церковных угодьях. В публичных выступлениях он склонен был говорить о милосердии, а не о гневе Божьем; и верил, что чем меньше вмешиваешь Бога в земные дела, тем лучше. Вначале он воспринимал визиты этого чудака как желанную перемену в привычном однообразии вечеров, но скоро начал уставать от своего ученика с его ненасытной жаждой к теологическим дискуссиям. Уильям погружался в католицизм с тем же рвением, с каким он годами занимался астрономией; он изучал все книги по теологии и истории церкви, которые попадали к нему в руки. Вместо того чтобы подвергать скрупулезному анализу Трентский совет, старый священник с удовольствием налил бы этому взрослому ребенку полный стакан виски и поговорил бы о своих пяти шортхорнах, которых он оставил на зиму и которым в любую погоду самолично задавал корм, перед тем как отслужить ежедневную мессу.

— Послушай, Уильям. Ты уже знаешь все доктрины лучше любого моего прихожанина, и я никогда не видел особого смысла во всех этих толкованиях, — он вынужден был наконец высказаться, когда они засиделись допоздна. — Мы всего лишь люди. Мы не можем познать Бога или Истину. Они скрыты от наших глаз. Мы можем только принять все на веру. Это как материнский инстинкт, он так же слеп, но это все, что нам остается. Через две недели, когда я спрошу тебя: "Веруешь ли ты?" — я хочу услышать твой громкий и ясный ответ: "Да, верую". На этом наша часть завершится. Начнется твоя. Поверь моему опыту, если слишком долго обсуждаешь что-то и слишком из-за чего-то переживаешь, утрачивается свежесть восприятия.

Уильям Кирквуд не был тугодумом. Он понял, что утомил старого священника, к которому относился с симпатией и уважением. Как и подобает послушному сыну, которым он всегда был, в течение следующих двух недель он поддерживал разговор в том направлении, куда его вел священник; а тот после второго стаканчика виски всегда заговаривал о пяти чистопородных шортхорнах, что паслись на сочной траве

у развалин когда-то знаменитого монастыря, основанного еще в восьмом веке.

— Там до сих пор повсюду видны остатки монастыря; следы дороги или улицы, кельи, конюшни, точно план на бумаге. Да, стены главного здания еще стоят, но они построены позже, двенадцатый век. Когда-то там яростно спорили друг с другом великие умы. А сейчас их место заняли мои шортхорны. Это ведь хорошо, Уильям, — посмеивался он.

Когда период катехизации подошел к концу и священник, подмигнув заговорщицки, спросил: — Веруешь ли ты в открывшиеся тебе истины и чудеса? — Уильям Кирквуд улыбнулся, склонил голову и ответил: — Да, святой отец.

На следующее утро в Кутхолльской церкви благородная седеющая голова Уильяма Кирквуда была окроплена водой из каменной чаши. Когда струйки потекли на бурые каменные плиты, духам Кирквудов, реющим в воздухе, наверное, показалось, что из их вен выпускают последние капли бледной крови.

Его крестными стали Энни Мэй и лейтенант Маклахлин. Потом были улыбки, рукопожатия, дружеские похлопывания, а после службы в доме священника накрыли большой праздничный завтрак, на котором присутствовали все местные священники и учителя, а также именитые прихожане. Энни Мэй и Люси тоже были в числе приглашенных. Одно омрачало это безупречное утро — Люси выглядела очень бледной и напряженной и с трудом сдерживала слезы, когда ей приходилось во время завтрака отвечать на вежливые вопросы. Она очень странно вела себя с Уильямом с тех самых пор, как он начал проходить катехизацию, словно предчувствовала, что эта перемена ставит под угрозу весь безопасный уклад ее детской жизни. Едва они вернулись домой после завтрака, она разразилась бурными рыданиями и убежала к себе в комнату. К вечеру она успокоилась, но никакого объяснения своим слезам не дала и впервые за долгие годы не подошла к Уильяму за поцелуем на ночь. В следующее воскресенье все глаза были устремлены на новообращенного католика, когда он строевым маршем провел свой отряд через деревню, а затем и через всю церковь, к алтарю. У Люси голова закружилась от гордости, когда она увидела, как он входит в церковь во главе отряда. Но прежняя легкость в отношениях между ними исчезла. Она больше не желала обращаться к нему за помощью по вечерам, предпочитая пойти в школу неподготовленной, а он не настаивал, ожидая, когда у нее изменится настроение.

— Теперь, когда ты зашел так далеко и все так хорошо складывается, можно бы идти до конца, — дружелюбно намекнул сержант в один из ближайших воскресных вечеров у Чарли. В тот день учебные стрельбы завершились раньше обычного. Отскочив рикошетом с холма, пуля попала в глаз пасшемуся неподалеку быку Мерфи. Бык дико заревел и, пошатываясь, стал выписывать круги по полю. Ветеринару пришлось его прикончить. Надо было писать рапорт. В отряде Уильяма такого прежде не случалось, и он был крайне раздражен. Вероятно, кто-то из стрелявших был слишком беспечен, а может, решил позабавиться.

— Что вы имеете в виду? — спросил он резко.

— Это не имеет отношения к сегодняшнему делу, — поспешил вмешаться Маклахлин. — Мне кажется, сержант пытается высказать то, что у нас всех на уме. Все так хорошо прошло, и для полноты картины мы бы хотели видеть вас женатым, — и тут оба собеседника увидели, что Уильям Киркуд покраснел до корней волос.

— Я слишком стар, — вымолвил он.

— Да, вы подзадержались, но еще не все упущено.

Этот разговор так всех смутил, что продолжать не стали. Уильям, как обычно, ушел после первой порции виски.

— Боюсь, ты наступил на его больную мозоль, — высказался Маклахлин, как только они остались одни.

— То есть?

— Ты высказал вслух то, что явно у него на уме.

— Не похоже, что это Люси.

— Люси пока ни при чем, хотя в школе она выглядит очень расстроенной, уж не знаю почему, — заметил учитель.

— И что нам теперь делать? Мы же не можем привести первую попавшуюся старушенцию последнему из рода Киркудов. Она должна быть еще в соку.

— Полагаю, теперь вы перейдете на эль, — в дверном проеме появился Чарли и, не дожидаясь ответа, подошел к столу и забрал стаканы для виски.

— Две пинты, Чарли, — сержанта распирало от избытка энергии. — Не подобает достойному человеку жить в одиночестве. Чарли, сколько времени прошло с тех пор, как воскресным утром мы засунули тебя в машину и нашли тебе твою добрую женушку?

— Должно быть, лет пять прошло, сержант, — неохотно засмеялся Чарли. Когда он смеялся, его маленький красный носик морщился и сворачивался колечком.

— Мы серьезно подошли к решению серьезной проблемы. После смерти матери ты чуть не пропил это заведение. Первые шесть женщин сразу дали нам от ворот поворот.

— И правильно сделали. Вряд ли я был завидным женихом.

— Мы уже готовы были отказаться от нашего плана в то воскресенье, но напоследок заехали к Малышке. Она даже не дала нам закончить и сказала: "Я его беру. Я знаю этот бар и ферму", — и мы вытащили тебя из машины и привели в дом.

— Может, она тогда совершила большую ошибку, — попытался отшутиться Чарли.

— Нет, она не сделала ошибки, — мягко возразил учитель. Он опасался, что Чарли был задет эгоизмом сержанта, который не помнил ни о чем, кроме своей роли в то воскресенье. — Она приняла лучшее решение в своей жизни. Посмотри на вашу жизнь со стороны — дети, деньги. Чего еще желать?

— Как знать, что-то другое могло быть не хуже, — все так же неохотно рассмеялся Чарли.

— Так гораздо лучше. Вся эта любовь, о которой сейчас столько говорят, гроша ломаного не стоит, — заключил учитель решительно.

— Одно ясно, — сказал сержант, когда Чарли принес им выпивку. — Мы не можем засунуть Уильяма Кирквуда в машину и возить *его* по округе все воскресенье, пока не найдем ему жены, — и от такой абсурдной картины оба собутыльника стали хохотать, пока у них не потекли слезы и им не пришлось поставить бокалы на стол. Когда они успокоились, сержант изрек: — Собака может поперхнуться не только маслом, — что вызвало новый приступ смеха.

Они и не подозревали, что Чарли все это время стоял в коридоре и слушал, застыв от гнева. "Пара сводников", — вымолвил он; его гнев утих, пока он шел к мужчинам, буянившим у стойки.

— Что же нам делать с капитаном? Ему не слишком понравилась эта идея, — продолжал между тем сержант.

— Ты правильно говоришь, мы не можем привести ему первую попавшуюся старую деву. Нам нужно будет основательно этим заняться, — сказал серьезно учитель.

Сначала они обратились к Эйлин Кэйзи, младшей учительнице Кидьюйской школы. Ей было двадцать восемь, у нее были очень светлые прямые волосы, она обожала чтение и была по-своему хорошенькой. Директор школы, друг Маклахлина, поговорил с ней, пока они во время перемены пили чай с сэндвичами. Как оказалось, ее это совсем не интересо-

вало, потому что у нее был поклонник из ее родных краев, около Киллала, и она искала школу поближе к дому, поэтому директор превратил все в шутку: "Любопытно было узнать, как наши девушки относятся к этим богатым новообращенным католикам".

После этого сержант и Маклахлин провели целый вечер за составлением списка невест. Они честно сдержали данное самим себе слово и не внесли в список ни одной старой девы. Они отобрали самых лучших и были готовы к тому, что их ждет множество отказов, поэтому действовать решили как можно осторожнее и неприметнее.

Но до начала кампании Уильям Киркуд был приглашен на ужин в скромное жилище Маклахлина. Ему было не по себе из-за низких потолков, от общей атмосферы уюта, от сладкого вина в стаканчиках из граненого хрусталя и от попыток миссис Маклахлин поддерживать вежливую беседу. За все годы своего протестантизма он никогда так остро не ощущал себя чужаком. Больше всего его поразило отсутствие книг в доме школьного учителя. И хотя он не любил пить после ужина, в тот вечер он был рад стаканчику виски, когда оказался в гостиной с глазу на глаз с Маклахлином, пока миссис Маклахлин мыла посуду. Повсюду в комнате, вперемешку с религиозными картинками и статуэтками, были фамильные реликвии и фотографии семейной жизни, которые радостно и целеустремленно воплощали желанный стереотип. Уильям находился в состоянии крайнего раздражения, и, когда Маклахлин сказал: "Мы уже начали искать", он почти рявкнул: "Что вы там ищете?"

— Мы подыскиваем вам жену, — широко улыбнувшись, ответил Маклахлин, не заметивший раздражения собеседника.

— Дорогой Питер... мне и в голову не приходило... это просто смешно, — бормотал Киркуд, вскочив из-за стола. — Это какой-то прошлый век. — Он натужно рассмеялся. — К счастью, никто за меня не пойдет. Представьте себе смущение бедняжки, которая имела глупость согласиться выйти за меня, когда она обнаружит, что мне до нее дела нет. Мне бы пришлось на ней жениться! Нельзя же поступать иначе с несчастными двуногими!

Изумленный Маклахлин выслушал эту тираду с открытым ртом.

— Мы думали, вы хотите жениться.

— Да, хочу. Это правда.

Высказанное с такой решительностью и готовностью признание запутало Маклахлина еще больше. — У вас кто-то

есть на примете? – он был рад, что смог раскрыть рот и произнести хоть какие-то слова.

– Есть, – ответ был давно готов. – Но что толку? Она никогда за меня не выйдет.

– Могу я спросить, кто она?

– Да, конечно. Я думал о мисс Кеннеди. Мэри Кеннеди.

– Вот и хорошо. Не понимаю, чего вы так разволновались, – Маклахлин перешел в наступление. – О ней-то мы в первую очередь и подумали.

Маклахлина изумил не столько выбор, сколько сам факт, что живущий в такой изоляции и одиночестве чудаковатый Кирквуд оказался таким разборчивым.

Обширное семейство Кеннеди владело холмистыми угодьями и лесом, лесопилкой и фабрикой, где изготавливались ящики и огромные деревянные барабаны для намотки электрических кабелей. Они были достаточно обеспечены, чтобы послать Мэри и ее сестер в школу при монастыре урсулинок в Слиго. Там ее прозвали Широкая Натура – не из-за ее размеров, а из-за ее бьющей через край жизнерадостности. После школы урсулинок она пошла учиться на медсестру в госпитале Пресвятой Девы в Дублине. Она была высокой, черноволосой, пожалуй, слишком угловатой, чтобы ее можно было назвать красивой, но ее живость и жизнерадостность притягивали больше, чем красота. То, как она смеялась, запрокинув голову, как уверенно стояла на земле – все это привлекало мужчин. В госпитале она влюбилась в молодого невзрачного доктора, вздорного зануду; сначала он был польщен, но постепенно стал уставать от ее повышенной эмоциональности. Когда он порвал с ней, Мэри вернулась домой и на протяжении шести месяцев уныло бродила по комнатам, лишь иногда отправляясь на долгие одинокие прогулки.

Во время одной из таких прогулок Уильям Кирквуд и встретил ее на своем поле. В тот поздний октябрьский вечер ее захватила игра света на вершине холма, и поскольку она шла безо всякой цели, то перелезла через каменную ограду, чтобы следовать за полосой света вдоль холмистой гряды. На вежливый вопрос Уильяма: "Могу ли я чем-то помочь вам, мисс Кеннеди?" – она ответила с некоторым вызовом: "Нет, спасибо, мистер Кирквуд. Я просто гуляю", – поскольку в этих краях "просто гулять" было неслыханным делом. Мэри Кеннеди была потрясена, что "молодой мистер Кирквуд", над которым они привыкли потешаться, когда она была ребенком, тот самый мистер Кирквуд, который проводил ночи в поле, наблюдая за звездами в телескоп, а дни за чте-

нием книг или в постели, превратился в пожилого человека, высокого, с прекрасными манерами, но все-таки пожилого. Они немного поболтали перед тем как разойтись. Она не придала большого значения этой встрече, но ей запомнились, помимо хороших манер, его открытость и естественность. Мэри считала, что большинству ирландских мужчин в общении с молодыми женщинами присущи зажатость и скрытность.

Она вернулась в госпиталь, но ее душевный покой был нарушен; пришлось научиться встречаться с молодым доктором в палатах или коридорах, улыбаться и быть вежливой, когда хотелось спрятаться или убежать. Она отчетливо сознавала, что социальное положение большинства женщин в Ирландии определялось одним неудачным броском игральной кости, и была, как и все Кеннеди, слишком высокого мнения о себе, чтобы ее могли заинтересовать молодые клерки, полицейские или тюремные надзиратели — обычные ухажеры медсестер. Уильям Кирквуд чувствовал, что *он сам* должен поговорить с Мэри Кеннеди, и в то же время понимал, что если он будет рассчитывать только на себя, то будет много размышлять и ничего не сделает.

— А как вы предлагаете поговорить с мисс Кеннеди? — спросил он Маклахлина.

— Мы не собирались в одно прекрасное воскресенье посадить вас на заднее сиденье машины и возить по округе, — теперь Маклахлин чувствовал себя на коне. — Я знаю одного из ее братьев. Если у нее кто-то есть или она не захочет об этом слышать, тогда на этом все и закончится. Кеннеди не любят долго разговаривать. Если же... — Маклахлин развел руки, точно хотел сказать, что в мире нет ничего невозможного.

Мэри Кеннеди внимательно отнеслась к предложению, о котором рассказал ее брат. Она страдала от неудачной любви и готова была смириться. Время страстей прошло.

Она вспомнила встречу в поле. Они еще несколько раз сталкивались на прогулках, и каждый раз он улыбался и приветствовал ее. У него был большой каменный дом среди деревьев, сад, обнесенный стеной, аллея, лужайка, просторные поля... неплохое хозяйство.

К ней точно бумерангом вернулось ее давнее беззаботное заявление, которое она сделала в кругу подруг. Она тогда сказала, что любовь не имеет значения. Она будет любить того мужчину, за которого выйдет замуж, и не важно, была ли она влюблена в него до свадьбы. Теперь она могла проверить это на практике. Она сказала брату, что встретится с Уильямом Киркудом, но не может ничего обещать.

Они встретились в отеле Уиклоу за ужином. Она надела черный плисовый костюм и простую серебряную цепочку. Формальная атмосфера ужина сковывала ее меньше, чем его.

— Я была удивлена, что вы знаете мое имя, когда мы впервые встретились в поле, — заметила она.

— Все очень просто. Вы мне нравитесь, и я узнал, кто вы. Но ведь и вы знали мое имя?

— Есть только один Киркву́д. А Кеннеди сколько угодно, — улыбнулась она в ответ.

Чуть позже она разглядывала его, пока он ждал ее в холле гостиницы, — его поношенный, но отлично сшитый синий полосатый костюм, густые, гладкие седые волосы, выступающий англо-ирландский подбородок, внешность военного, который всегда чуть начеку. Она знала, что он превосходит большинство мужчин, которые могут встретиться на ее пути в этом городе; она отметила, какими длинными и нежными были его руки, породистые руки джентльмена. По сравнению с ними даже у ее братьев руки были большими и грубыми. Они еще дважды встречались в городе, прежде чем она согласилась навестить его и осмотреть большой каменный дом и усадьбу, но к этому времени она уже приняла решение выйти замуж за Уильяма Киркву́да.

Энни Мэй впервые увидела ее в то воскресенье, когда она приехала посмотреть на дом. Мэри стояла под медным буком на въездной аллее. С плеча свисала дамская сумочка. Уильям Киркву́д улыбался ей. Приподнятое настроение последних недель, поездки в Дублин, глаженые рубашки и начищенные башмаки — все встало на свои места. Боль сдавила ее грудь, тесным кольцом сжала лоб. Винить было некого, все было в природе вещей, но от этого боль только усиливалась. Она даже не могла разозлиться.

Они прошли на кухню через главный вход, осмотрев по дороге библиотеку и гостиную, и Энни Мэй слышала, как Мэри восхищается лестницей.

— А что это за комната, отделанная мрамором? — услышала она вопрос, когда они приблизились к кухне.

Сейчас это просто кладовая. А когда-то была цветочная комната... здесь обрезали розы.

И вот они вошли, последовали улыбки и рукопожатия, но напряжение висело в воздухе. Если бы Уильям Киркву́д лучше понимал человеческую натуру, он бы почувствовал, что эти две женщины — враги.

— А где Люси? — спросил он.

— Не знаю. Она была здесь минуту назад, — ответила Энни Мэй и предложила чаю.

— С удовольствием выпью чашечку, — отозвалась Мэри. — Но вначале мне бы хотелось осмотреть комнаты наверху.

Они долго обходили верхние комнаты; пока пили чай, стемнело, но Люси так и не появилась.

— Она, верно, ушла из дому, — с тревогой заметила Энни Мэй; видимо, дочери передалось ее беспокойство.

Уильям Киркуд провел Мэри Кеннеди через поле, к дороге, что вела к ее дому. Когда они пришли туда, там уже собрались многочисленные члены семейства Кеннеди; большинство из них Уильям встретил впервые. Вечер прошел хорошо, и Мэри видела, что семья с одобрением относится к Уильяму и их союзу. Ему, в свою очередь, понравился большой обветшавший фермерский дом, толпа людей, обилие еды и виски, природная веселость этих людей, наслаждающихся жизнью, никакой формальности и смущения; это больше напоминало празднование политического события, а не семейный вечер. Когда он попрощался, Мэри вышла проводить его до аллеи и впервые поцеловала. Свадьбу она запланировала на июнь. Предстоит покрасить дом, купить новые занавески, выбрать новую мебель.

— Надо будет привести в порядок весь дом. Сейчас кухня — единственная комната, которая выглядит жилой.

Он шел рядом с ней, и ему казалось, что вечер купается в мечтах о счастье, и ему трудно было поверить, что эта высокая, элегантная, уверенная в себе женщина скоро станет его женой. А она осознавала, что ее давнее заявление оборачивается правдой. Она чувствовала, что будет любить этого странного человека, у которого слова нежности звучали, как команды. "Венера, Марс, Сатурн, Юпитер — вот там на востоке". Он пролаял все эти имена в ясное небо, и она прикусила губу, чтобы не рассмеяться. Она знала, что мужчины, не столь сведущие в небесных светилах, могли бы куда лучше использовать этот звездный час, но об этом она позаботится в свое время.

— Еще одно, — сказала она перед тем как попрощаться. — Энни Мэй надо предупредить об увольнении.

— Это невозможно, — ответил он с такой силой, что она отступила. — Она пришла работать к моей матери совсем девочкой. Люси здесь родилась и выросла. Я никогда не смогу сказать им, что они должны уйти.

Она видела, как он взволнован, и взяла его за руку.

— Не беспокойся, милый. Тебе не придется ничего делать. Сомневаюсь, что Энни Мэй захочет остаться, когда услышит, что я перееду сюда в июне.

Они молча стояли у ворот, и она, повернувшись, потянулась к нему губами, а он, отвечая движению ее тела, раскрыл ей свои объятья.

Когда он вернулся, дом был погружен в темноту. Он знал, что задняя дверь не заперта, но, не желая идти через пустую кухню, своим ключом отпер парадную дверь и долго сидел в нетопленой библиотеке. Ему многое надо было осмыслить, и не последнее место среди его раздумий занимал вопрос: можно ли что-то сделать, чтобы его женитьба не принесла страданий тем, кто занимал такое важное место в его жизни, и кто не сделал ничего дурного, и не заслужил того, чтобы их вытолкнули в мир, к жизни в котором они вряд ли были готовы.

Мухаммад-Казем Мазинани

Осень в поезде

Роман

Перевод с фарси Александра Андрюшкина

1

ГОЛУБОГЛАЗЫЙ паренек переходил из вагона в вагон поезда и, наконец, добрался до последнего, но на двери его красовалась цепь, на которой висел замок. Он хотел было повернуть обратно, когда вгляделся в глубину запертого вагона и замер. Там громоздились гробы, накрытые трехцветными флагами, а между ними были навалены куски льда, так что гробы напоминали лодки, затерянные среди полного льдин моря.

Оторвав взгляд от стекла, он с удивлением оглянулся. Проход позади него был пуст. В поисках места он прошел весь поезд, а теперь казалось, что в нем нет ни души — лишь он сам и те, кто покоится в этих гробах.

Им овладело волнение. Ему чудилось, что кто-то зовет его из вагона с гробами, он не в силах был отвести взгляд. За окнами поезда ничего не было видно: тьма, черная, текучая, сочилась из трещин в окнах и щелей, и паренек не знал, вер-

© Мухаммад-Казем Мазинани, 2005
© Александр Андрюшкин. Перевод, 2010
Редакция благодарит Мухаммада-Казема Мазинани за любезно предоставленную возможность безвозмездной публикации романа на страницах журнала.

нуться назад или остаться, а ведь в замкнутом пространстве поезда это не имело никакого значения!

Растерянный, он медлил между двумя вагонами, не зная, на что решиться. Поезд несся вперед под уклон, сцепки состава издавали странные, режущие звуки, вагоны, точно скованные вечные пленники, делали неудачные попытки побега, но локомотив с силой увлекал их за собой.

Из последнего вагона паренька кто-то окликнул. Он решил вернуться. Вскинул рюкзак на плечо, шагнул... и почувствовал пустоту под ногой, темный колодец в переходе между вагонами разверзся и увлекал его к себе. В последний миг он успел схватить железный поручень и удержаться, упершись ногами в стенки перехода.

Он ужаснулся. Лоб покрылся холодным потом. Взгляд его упал на последний вагон, и он невольно разрыдался. Под ногами зиял темный провал, и трубы, шланги, провода, болты с гайками, будто внутренности животного, выступили из тьмы, а поезд все так же, с ревом, несся вперед.

Он глубоко вздохнул; сдвинул на место металлическую крышку колодца и приник к стеклу, всматриваясь в пространство последнего вагона, глядя на гробы, тонувшие в лунном свете, плывшие по воздуху, — в вагоне стало теперь так светло, что он различал багровые надписи, мистическим образом выступавшие на гробах.

Голубоглазый паренек чувствовал, что он, пусть никогда и не видел их, знает людей, которые покоятся в гробах. Что они жили с ним бок о бок и, может быть, так же как и он, едут с самого юга страны, с полей наиболее ожесточенных сражений. Может быть, они, подобно ему, совсем юны, не старше пятнадцати-шестнадцати лет. Может быть, кто-то из них, как он сам, в первый раз едет в отпуск — в такой же защитного цвета одежде, от которой пахнет юношеским потом, с таким же маленьким рюкзаком, покрытым слоем липкой южной пыли.

Кругом замерцали огоньки. До дома уже было недалеко. Сердце паренька рвалось навстречу его коню; коню, о котором он спрашивал в каждом письме к матери. Ведь тот лучше любого из людей понимал его слова. И мать в ответ всякий раз писала о его коне, о том, как он ржет и роет землю копытом, о том, каким он стал беспокойным, и, рассказывая о состоянии коня, она на самом деле описывала свое собственное.

Внезапно свисток поезда разнесся по равнине и навсегда пропал во тьме. Затем столбы электрических фонарей испуганно пробежали, из уважения к гробам выстроились в почетный караул, и последний вагон медленно остановился как раз напротив автофургона черного цвета.

Дверь вагона открылась с сухим звуком; несколько человек, одетых в черное, вскарабкались по ступенькам; подняли два гроба из льда и пропитанного кровью жидкого месива — сейчас, в электрическом свете, все это было хорошо видно — и выгрузили их из вагона. Запах мокрой грязи и камфары ударил в нос пареньку, заставив его высунуть голову из окна, чтобы глотнуть свежего воздуха.

Полустанок был пуст. Помимо двоих в гробах, здесь никто не сошел, и в поезде стояла такая тишина, точно паренек ехал в нем один.

Поезд помедлил, словно переводя дыхание, и через силу двинулся в путь, а паренек закрыл глаза и увидел белого коня, который скакал вдоль рельс, и из-под копыт его летели искры. Потом он увидел, что белый конь запрыгнул в последний вагон, в его лед и кровавое месиво, и поезд остановился, и несколько человек в черном выгрузили из вагона несколько гробов, и поезд двинулся в путь, потом остановился, и паренек проснулся. Последний вагон стоял как раз напротив автофургона черного цвета. Дверь вагона открылась с сухим звуком. Несколько человек, одетых в черное, вскарабкались по ступенькам, подняли два гроба из льда и пропитанного кровью жидкого месива и выгрузили их из вагона.

Голубоглазый паренек закинул рюкзак за плечи, перешел в соседний вагон и сошел с поезда. Кроме заспанного солдата, на полустанке не было никого. Черный автофургон быстро уехал. Поезд, устало отдуваясь, тронулся. Последний вагон, залитый светом, с капающей с подножки кровавой водой, медленно проплыл перед глазами паренька, и тот от удивления разинул рот: последний вагон не был прицеплен к поезду, а свободно и самостоятельно плыл над рельсами.

2

Его возвращение, словно первые порывы осеннего ветра, всех застало врасплох — всех, кроме белого коня, который знал о приезде хозяина заранее и последние два дня так рыл землю копытом, что нянюшка Рабабе все поняла.

Мать паренька обняла сына и почувствовала, что теперь он в ее объятиях не помещается — так вырос за это короткое время. Затем ноздрей ее достиг запах его мужского пота, а жар его щек обжег лицо, и она почувствовала, как пылает его душа. Мать, у которой в целом мире был один только этот сын, и, чтобы он появился на свет, она молилась и давала обеты.

Двор огласило ржание белого коня, и голубоглазый паренек через плечо матери посмотрел на него, и сердце его облилось кровью. Несчастный конь превратился в настоящий скелет, он стоял у ограды конюшни, и ноздри его трепетали от страсти, и серебряная грива развевалась.

Паренек направился к белому коню. Коснулся рукой его головы и уха и прижал голову к груди. Нянюшка Рабабе, которая окуривала рутой все вокруг до самого сарая, теперь суетилась вокруг них, словно заполошная наседка, и дымила рутой, и читала равайи[1] — те самые равайи, которые читала пареньку со времен его детства.

Короткая улыбка, как капля меда, капнула с губ матери паренька, и она сказала: "Ох, и намучились мы с твоим коньком-недотрогой! Если бы ты знал, как мы ему угождали с няней Рабабе все это время! Ты посмотри, от тоски он так отощал — просто кожа да кости! Я и нянюшка ни на миг не забывали о нем, но как он о тебе изводился — я не изводилась! Правда же, няня Рабабе?"

Нянюшка Рабабе голосом столь же живым и добрым, как и ее лицо, сказала:

— Ой, мамочки мои! Никогда я не видела, чтобы животина так убивалась от разлуки с человеком. Только Господь знает, что в сердце животного делалось.

Паренек расчесал пальцами гриву коня. Поцеловал его в лоб и негромко сказал:

— Благословен этот конь, с которого я должен брать пример верности!

Вместе с матерью и няней Рабабе он поднялся на крыльцо и не успел даже расшнуровать ботинки, как появилась Азиз-Ханум собственной персоной. По привычке торопясь, как на пожар, она пришла, чтобы расспросить паренька о своем пропавшем на фронте внуке; о внуке, который, по ее собственным словам, однажды ночью вдруг исчез, и никто о нем не имел вестей, он словно стал водой и ушел в землю, стал птицей и взлетел в небо, стал рыбкой и в море нырнул.

Паренька разобрал смех. Азиз-Ханум говорила о фронте, как о каком-то обычном сельском районе, где каждый знает о каждом все от имени до привычек, поступков и пристрастий. Наверное, если бы не появился отец голубоглазого паренька, Азиз-Ханум так и сидела бы до полудня и рассуждала о своем пропавшем внуке. Между прочим, многие говорили.

1. Равайи — народные стихи, которые читаются при различных обстоятельствах. (*Прим. автора.*)

что у Азиз-Ханум вообще не было внука — а теперь он еще и пропал!

Отец и сын встретились на крыльце. Лицо отца было сухим и горячим, как всегда; однако взгляд его был полон покоя, и паренек через крепкое плечо отца видел своего коня, который вытянул шею над невысокой стеной конюшни, и взгляд его, полный тоски, лип к хозяину, будто мед, а серебряная грива, волосок за волоском, рассыпалась по саманной стене конюшни; песенка нянюшки Рабабе выпорхнула из ее комнаты стайкой разноцветных бабочек. Старушка пела, вкладывая в пение всю душу без остатка, чтобы паренек услышал ее, ведь она знала, что он очень любит эти песни.

— Где ты выучила все эти песни, нянюшка Рабабе?

— Не знаю я, милок! Знаю только, что, как помню себя, так уже и пела их.

Никто толком не знал, откуда появилась няня Рабабе и сколько ей лет. Она и сама не слишком много знала об этом, а может, не хотела говорить. Словно она жила на земном шаре с тех пор, как существовал мир, и поэтому никто ничего не помнил о временах ее детства. Всякий раз, когда кто-нибудь спрашивал о ее возрасте, она очень серьезно отвечала:

— Откуда мне знать, милые мои? Так Господь положил, что, сколько помню себя, старухой была. Наверное, и на свет-то я уже старухой родилась!

И отец паренька не слишком много знал о прошлом нянюшки Рабабе; знал только, что его собственный отец передал ему няню Рабабе по наследству, так же как и сам, в свою очередь, получил ее в наследство от своего отца.

Нянюшка Рабабе, старушка, которая, по воле Божьей, всегда была старушкой, питала удивительную привязанность к голубоглазому пареньку. Именно она-то и вырастила его. Мать ничего не смыслила в воспитании детей. Она не могла даже колыбельную спеть или сказку рассказать. И именно нянюшка Рабабе вдохнула жизнь в тело этого ребенка; и помогло ей не колдовство какое, а ее благородная душа, большое сердце, ее особый, загадочный взгляд на жизнь. Та таинственная сила, которая позволяла ей говорить с птицами, животными и даже растениями, та любовь к жизни, что способна и смерть поставить на колени.

— Миленький мой! Иди-ка, займись своим конем, он извелся весь!

Голубоглазый паренек и белый конь выехали за ворота дома. Запах осени накатывался волнами. Белый конь мягко и сноровисто миновал городскую улицу с садами и понес паренька в привычные, знакомые места; туда, где, сколько хва-

тало глаз, простирались поля без орошения и теперь был сезон желтых дынь; дынь, которые смотрели в небо, соединенные с землей тонким стеблем.

Размеренным аллюром белый конь пересек богарные поля и остановился у глиняной хижины. Паренек спешился и вошел в хижину, здесь все было по-прежнему. Выйдя наружу, он сказал себе: "Ничто не изменилось, только я сам. Ведь это те же поля, и те же солончаки, и то же небо, а вот я..."

Он всмотрелся в даль. В бесконечную солончаковую пустыню, соляной блеск которой слепил глаза. "Эти забытые всеми солончаки! — мелькнула мысль. — Точно на другой планете находишься".

Паренек тронул голову и ухо коня, и они углубились в поля. Сердце его жаждало услышать звук раскалывающихся дынь. Дынь созревших, сладких, которые в ночной прохладе пустыни трескаются медленно-медленно, так что кажется, будто это их сердце открывает свою тайну. Дыни, растущие в этой соленой земле и впитывающие в себя животворящую силу солнца, слаще сахара.

Он опустился на колени возле одной из треснувших дынь: прижался щекой к ее запыленному боку и прошептал: "Прости! Как говорит няня Рабабе, когда плод созрел, нужно быстрее срывать его с ветки, иначе он загниет".

Он неторопливо отделил дыню от ее плети и вернулся в хижину. Взял нож и разрезал дыню пополам; одну половину оставил себе, а другую положил перед конем:

— Видишь? Она столько смотрела в небо, что ее сердце наполнилось звездами. Ешь, чтобы больше не думать о дынях.

В безмолвии пустыни они ели, глядя друг на друга, и им казалось, что они слышат, как зреют дыни, а это созревали их сердца.

3

Когда Ханум услышала голос паренька, она сорвалась с места и принялась лаять, но, увидев его верхом на белом коне, замолчала и отбежала в сторону, чтобы не быть у них на пути. Раздосадована она была до крайности. Некоторое время назад она ушла из дома, и, как назло, именно в это время вернулся паренек. А ведь ей хотелось в момент его возвращения быть дома и так залаять, чтобы оповестить о его приезде весь свет, и вот этот конь опять оказался первым!

Ханум насторожила вислые уши и гноящимися глазами пожирала лицо паренька, всем существом внимая знакомому голосу:

— Откуда ты, Ханум? Вот не чаял тебя здесь встретить. Будет время, забегай домой!

Ханум, вся погрузившаяся в голос и запах паренька и в то же время исподлобья наблюдая за белым конем, плавно и грациозно приближалась к пареньку и хотела было потереться о его ноги, как тот вдруг отстранился и с улыбкой сказал:

— Нет, Ханум! Нет, я хочу...

Ханум, словно ее окатили водой, враз обмякла, поджала хвост и потрусила в сторону сада, ощущая, как нестерпимо чешется спина под насмешливым взглядом белого коня. Поэтому она один всего раз повернула голову назад и увидела, что паренек, стоя возле бассейна, закатал рукава и с удивлением смотрит на нее.

Ханум, с прижатыми ушами и неподвижным хвостом, забилась в угол сада и, лежа на первых осенних листьях, чувствовала себя самой одинокой собакой на земле. И ненавидела себя. Потому что понимала: она — собака старая и никому не нужная, а паренек еще позорит ее перед белым конем.

Пусть бы он, как прежде, не обращал на нее внимания, но проявил бы по крайней мере уважение! А он, оказывается, ничем не отличается от других. Он уже не тот, что раньше. Само выражение его глаз говорило о том, что он изменился; точно такое же выражение некоторое время назад появилось у его отца, тот несколько раз даже заговаривал о красивой молодой собаке, которую видел в доме одного из своих друзей.

"Ну, и что стряслось бы, если бы я потерлась о твои ноги?"

Ханум опустила пылающую голову на подрагивающие лапы, закрыла нагноившиеся глаза и стала раздумывать о том, что причина всех ее несчастий — этот гордец-конь. Просто жизни от него нет никакой! Паренек совсем голову от него потерял, вообразил, что без него конь умрет. Вообще с тех пор, как конь появился у них на дворе, о Ханум все забыли, на нее уже никто и не смотрит. С тех пор она становилась все безобразнее, а этот самовлюбленный конь — все красивее и любимее. Даже сейчас, когда он напоминает скелет — то ли это хитрость такая, то ли и правда из-за разлуки с пареньком, — все с ним носятся, все ему сочувствуют, и мать паренька, и няня Рабабе. Словно он человек, а не конь! А она может подохнуть, и никто этого даже не заметит. Она превратилась в помеху, словно и не прожила всю жизнь в этом доме, появившись здесь красивым и умным щенком. Об этом никчем-

ном и избалованном коне и помину тогда не было, и вот — его предпочли ей! А ведь до сих пор отец паренька в охране дома полагается на нее: от коня-то никакого толку — только ржание и изящные движения. Кроме паренька, никому не позволяет верхом на себя сесть. Зато она, хоть и стара уже, и зубов уже недостает, любого вора за ногу схватит. Да не будь ее, уже бы и коня этого белого воры увели!

Ханум с силой почесала у себя за ухом, и у нее вдруг заболела спина. Всякий раз при воспоминании о той злосчастной ночи у Ханум начинало ломить спину. Мысль о ней многие годы язвила ее душу.

Если вдуматься, все ее несчастья начались именно с той темной и ненастной ночи, когда она по ошибке укусила за ногу одного из гостей, приняв за вора. На следующий день Ханум посадили на толстую цепь, привязанную к абрикосовому дереву, а отец паренька впервые поднял на нее руку, и перед всеми окружающими она была обесчещена. С тех пор соседские мальчишки вообще перестали с ней считаться и даже порой швыряли в нее камнями.

У Ханум заболело сердце. Прежде только ломило спину, а вот теперь заболело и сердце. У нее уже несколько раз мелькала мысль уйти из этого дома, податься в горы или в пустыню, как многие другие собаки, которых она знала. Но не могла она оставить няню Рабабе, и паренька, и его мать. После той злополучной ошибки именно няня Рабабе в конце концов освободила ее от цепи и ошейника.

Запах пищи достиг ее носа, и от голода и слабости подвело живот. Она встала и встряхнулась. Лапы затекли. Уже некоторое время лапы у Ханум болели, и иногда, как сейчас, она прихрамывала.

Хромая, она добралась до конуры. В тарелке было несколько костей и горсть риса. Она схватила кость и коренными зубами начала грызть. Теперь это стало нелегко. Несколько передних зубов выпало, а верхушки коренных сточились. По этой причине она порой оставалась голодной.

Голос паренька, будто веселое благоухание, доносился из дома, наполнял нос Ханум и оживлял в ее уме память о дне расставания с ним. Никто не верил в то, что он может уехать. Даже его отец — никогда раньше Ханум не видела его таким взволнованным и печальным. А мать столько плакала, что глаза ее стали напоминать куски поднявшегося теста. И конь его несколько дней крутился на одном месте и рыл копытом землю. Только няня Рабабе еле слышно разговаривала сама с собой — так, словно ничего не произошло. Когда за пареньком закрылись ворота, Ханум заметила слезинку, скатившую-

ся из глаз белого коня. Ханум бежала за пареньком до конца улицы, а, вернувшись домой, несколько дней была не в себе. Но кто подумал о ней в той суматохе и смятении? Никто, кроме няни Рабабе, которая каждый день взглядом и улыбкой спрашивала, как она поживает.

Когда голубоглазый паренек уехал, дом вдруг стал безмолвным и пустым, и сверчки позабыли свои песни, и спелые абрикосы на ветках быстро червивели и падали на землю.

Паренек уехал, и белый конь, которому Ханум желала поскорее сдохнуть, отощал как скелет, и мать паренька искала утешения у своего большого зеркала, доставшегося ей в приданое, а ее муж пропадал в полях, и только няня Рабабе, как всегда, с кряхтением хлопотала по дому, не давая остановиться жизненному колесу.

После возвращения паренька Ханум потеряла счет времени, как теряют обглоданные кости, и сейчас, вновь увидев его во дворе с рюкзаком за плечами и в этих больших ботинках, она так удивилась, что у нее глаза на лоб полезли.

Ей-то казалось, что он только вчера вернулся. Значит, просто дни перепутались у нее в голове.

Белый конь хотел любой ценой выбраться во двор. Но конюшня была заперта, и он безнадежно вытягивал шею и задирал голову над невысокой стеной. Видно было, что пареньку не хочется затягивать прощание, поэтому он издали улыбнулся своему коню и помахал ему рукой. И все. Он двинулся прочь со двора.

Ханум была занята своей миской, но исподлобья наблюдала за пареньком и увидела, что он, как прежде, ласково взглянул на нее — на прощание.

Няня Рабабе в цветастом платье все кружила вокруг паренька и читала равайи. Мать смотрела на него глазами, полными слез и мольбы. А отец ничего и никого не видел, смотрел перед собой отсутствующим взглядом. Несколько женщин-соседок стояли у ворот двора и о чем-то шептались.

Ворота двора, скрипя, закрылись, и вот остался белый конь и конюшня, полная одиночества. Остались мать и отец паренька, и притихший дом, и они вдвоем, как пара побитых дождем птиц, укрылись внутри этого дома. Осталась няня Рабабе, и пустая миска для воды, и взгляд, излучающий покой. Осталась Ханум, и внезапный ожог осени, и куры и петухи, которые хладнокровно и беззаботно крутились во дворе и раскидывали клювами землю, точно заводные игрушки.

Голубоглазый паренек уехал, и пришла осень, внезапная и загадочная. Деревья в саду и у дома так пламенели, что няня Рабабе, подметая листья, прямо-таки чувствовала их тепло; старая женщина за всю свою долгую и непростую жизнь не помнила такого листопада, и сама она, как старое дерево, была застигнута врасплох внезапным приходом осени. Но она знала, что все это связано с пареньком — и эта мрачная осень с ее внезапным листопадом, и молчание сверчков, и куры с петухами, которые после отъезда паренька стали беспокойны, и коровы, с каждым днем дававшие все меньше молока, хотя няня Рабабе, как всегда, разговаривала с ними во время дойки. И она сама лучше других знала, почему так мало стало у коров молока.

Конца хозяйственным заботам не было. Няня Рабабе хлопотала с утра до вечера; мать паренька тоже мало-помалу вернулась в обычное состояние. И все равно хлопотам по хозяйству не было конца. После отъезда паренька от привычного распорядка и следа не осталось. Все пошло прахом. Двор был укрыт листвой, и никакая метла не помогла бы справиться с этим густым ковром. Посуда оставалась невымытой. Куры и петухи садились на насест не там, где раньше, и яйца несли где попало, и бедная старушка, чтобы найти яйцо, должна была обыскать все — от тазов, заполненных старым хламом, до выступа для мытья ног в бассейне. Она все видела, но не говорила ни слова. Потому что, полагала она, в этом мире даже лист без причины не падает.

Ханум в последнее время стала мнительной и забывчивой. По нескольку раз в день она добегала до главной улицы и, разочарованная, опустив уши, возвращалась домой. Она уже несколько раз видела во сне, как паренек возвращается из своей поездки, а она встречает его у главной улицы, однако все это был лишь сон и мечтания. Но она вообще большую часть времени теперь находилась в полусне; даже тогда, когда бежала и глаза ее были открыты.

Во сне она видела, как скулят в саду ее погибшие щенки. Те самые щенки, которые много лет назад попали на улице под машину. Ей также снился ее друг, он стоял посреди бескрайней пустыни и звал ее скорбным голосом. Неверный друг, который лишь день с ней провел, а потом неожиданно оставил ее, и после этого она ни с одним псом больше не сходилась, то есть отец паренька не разрешал Ханум сходиться с разными, как он выражался, бродяжками. По словам хозяина, она была собакой породистой, самых лучших кровей. Но

теперь, вспоминая минувшее, она задавалась вопросом: а не было ли исчезновение ее друга делом рук отца паренька? Не был ли этот молодой пес приведен в дом для того только, чтобы дать жизнь нескольким красивым щенкам? Чего ради хозяин, который других собак и на выстрел к дому не подпускает, привел его в дом и сделал ее другом?

Когда Ханум думала обо всем этом, она начинала ненавидеть не отца паренька, а себя. Ужасалась, видя собственное отражение в стекле или в зеркале. А стоило ей подумать о том, что ее жизнь прошла в этом превращенном в тюрьму доме и сколь многого она была лишена, ее сердце обливалось кровью. В такие моменты она мечтала: ах, если бы она была бродячей собакой и свободно могла бы бежать, куда захочет. И делать все, что захочет.

В конце концов, Ханум решилась и однажды утром как в море нырнула: бежала из дома и неделю не показывалась. А когда вернулась, у нее так кружилась голова и в таком расстройстве чувств она была, что сама не помнила, где провела все это время. Однако отца паренька настолько разгневал ее побег, что, увидев ее, он громким голосом, так, чтобы все слышали, крикнул:

— Нет! Эта собака мне больше не нужна.

Сказав это, он быстрым шагом пошел в сарай, и вышел оттуда с длинной цепью, и, повернувшись к няне Рабабе, которая показалась из своей комнаты, закричал:

— Собака, которая удирает из дома — собака никудышная и ни на что не годится. Кто может ручаться, что она не взбесилась, а?

Когда Ханум увидела цепь, спину у нее заломило, она ощутила тяжесть и холод вокруг шеи, однако не двинулась с места и гноящимися глазами смотрела на няню Рабабе.

— Ну, дорогой мой! Это ведь собака, живое существо. Она, как и мы, все понимает. И кто сказал, что она взбесилась?

— Няня Рабабе правильно говорит, эта собака выросла в нашем доме, она столько лет нам служила, а теперь состарилась, и ты ссылаешься на бешенство, чтобы выкинуть ее прочь, так что ли? Подумай о своем сыне, как он расстроится!

— Но я сам видел, как она с бродячими псами вожжается!

— Нет, дорогой вы мой, ничего дурного это животное не сделало. Кроме того, вон как она сама раскаивается! Посмотрите ей в глаза! Посмотрите, как она на вас глядит.

Отец паренька взглянул на Ханум, и цепь скользнула было из его руки на землю, но тут же он крепко сжал ее и заявил:

— Из дома я ее не выкину, но несколько дней она должна посидеть на цепи у этого дерева, чтобы поняла цену хорошей жизни. Но не дай Бог, если она снова удерет из дома и начнет путаться с бродячими псами!

Он шагнул вперед. Накинул кожаный ошейник на шею Ханум, а конец цепи привязал к дереву. Мать паренька и няня Рабабе отвернулись и удалились. Отец паренька тоже, ворча, занялся своими делами и куда-то ушел. А Ханум осталась, и длинная цепь, словно взгляд белого коня, тяжело висела на ее шее. Конечно, белого коня не было видно, но Ханум даже через стенку чувствовала его взгляд. Она была сама себе отвратительна — так же как этот дом, и белый конь, и вообще все вокруг, она испытывала удивительное чувство отчужденности и беззащитности. Она знала, что теперь и от няни Рабабе толку нет. Пусть дело не дошло до того, чтобы ее выгнали из дома, но и случившегося достаточно, и чем больше она думала, тем лучше понимала, что никто здесь ни в чем не виноват, а просто она в этом доме лишняя.

5

Ханум спала под абрикосовым деревом и в который раз видела во сне своих щенков, как вдруг нюха ее достиг запах голубоглазого паренька, и она сорвалась с места, залаяла и кинулась в сторону ворот, ведущих на улицу, и тут у нее потемнело в глазах, дыхание перехватило, конечности подогнулись, и она упала на землю.

Как будто кто-то схватил Ханум за глотку и крепко сжал. Это кожаный ошейник врезался в ее горло, не давая дышать. Кое-как она отползла назад, чтобы ослабить натяжение цепи. Немного придя в себя, она увидела белого коня, который вылетел из конюшни, описал несколько кругов по двору и ринулся прочь со двора. Затем Ханум увидела мать паренька и няню Рабабе, в испуге выбежавших во двор; одна с шумовкой в руке, другая — с метелкой и совком.

Ханум осторожно — насколько позволяла цепь — приблизилась к воротам и стала ждать — вот-вот появится собственной персоной паренек... И он появился! Одна рука на шее белого коня, другая на перевязи... И воробьи на абрикосовом дереве вдруг зачирикали, и коровы в хлеву громко замычали, и няня Рабабе побежала за курильницей и рутой, а мать паренька вдруг так пронзительно вскрикнула, что воробьи и коровы замолчали.

— Ну что ты всполошилась, мама? Ничего страшного, легкая травма, и мне наложили гипс, все пройдет.

Голубоглазый паренек поцеловал мать, как мог, успокоил ее и мягко высвободился из ее объятий. Потом решительно пошел в сторону Ханум и, чтобы сменить тему разговора, со смехом спросил:

— Ну, что произошло, госпожа? Что вы опять натворили?

Ханум опустила голову и уставилась на ботинки паренька, очень большие и, по ее мнению, некрасивые. Паренек внезапно стал серьезным и спросил:

— Почему бессловесное животное привязано к дереву?

Мать его, все еще всхлипывая, ответила:

— Почем я знаю... Спроси своего отца!

Воздух наполнился запахом горящей руты няни Рабабе, и она засуетилась вокруг паренька, вращая кадильницу у его головы и читая равайи. Да так, что все, даже воробьи на ветке, прислушались к ее голосу — и вдруг ворота заскрипели, и явилась целая ватага гостей, неожиданных гостей. Это был дядя паренька со своей женой, дочерью, сыном, невесткой и внуками; и приехали они в двух шикарных дорогих автомобилях.

Все, включая Ханум, смотрели на гостей с изумлением. До сих пор Ханум видела дядю паренька всего пару раз — так же как и сам паренек, потому что те жили в столице, и общались они редко. Паренек знал только, что у дяди на базарной площади большой магазин фруктов и овощей и что он гребет деньги лопатой. А сейчас, когда он выгружал дядин рюкзак из машины, он услышал, что магазин из-за ракетного обстрела закрылся, и они приехали сюда. Вот и все, что знал паренек о своем дяде.

Гости, не успев приехать, оккупировали все комнаты, и дом по самую крышу наполнился их просьбами и криками. Все, даже куры и петухи, увидев такое количество скарба и пожиток, поняли, что эти гости быстро не уедут.

На второй день внук дяди придушил одну курицу, а всех остальных разогнал по углам. Няня Рабабе, хлопоча по дому, в недоумении разговаривала сама с собой. У паренька все мысли теперь были о том, как уберечь от дядиного внука своего коня. Сколько бы дядиному внуку ни читали нравоучений — все без толку, он не обращал на них ни малейшего внимания. Да и остальные гости приехали словно на пикник и делали все что хотели. Несчастным домашним животным туго пришлось, за исключением Ханум, которую в тот день освободили от привязи, но в конце концов дядин внук добрался и до нее: в один прекрасный день всыпал в ее еду столько

перца, что несчастная собака потом два дня только пила воду и чихала. И опять чихала, и опять пила воду. И никто не мог сказать дядиному внуку, что всему должен быть предел. Впрочем, даже если ему и говорили, он все равно делал по-своему.

В доме все перевернулось вверх дном. Ханум укрывалась в саду и возвращалась к конуре, только чтобы поесть, и то с опаской. Потому что до сих пор, стоило ей вспомнить о перце, который всыпал в ее миску дядин внук, у нее начинала гореть глотка. Куры и петухи тоже искали укрытия — на возвышениях: на стенах, на деревьях, на бочках и на поленницах в углах двора, там же они питались, и там же несли яйца, и с утра до вечера раздраженно и громкими голосами выражали свой протест сложившемуся положению вещей. А о цветах в палисаднике и говорить нечего! Они поникли, и сил выпрямиться у них не было.

Впрочем, все дядино семейство было под стать мальчишке-шайтану. А самой из них неуемной, склочной и громкоголосой оказалась дядина невестка. Вмешивалась она во все на свете. Как-то ей втемяшилось в голову надоить молока, в результате корова лягнула ее и выбросила из хлева.

А самой молчаливой и немногословной среди гостей была дочь дяди. Она страстно любила рукоделие и постоянно либо сидела за швейной машинкой, либо расхаживала туда-сюда с вышиванием или вязанием в руках. Возможно, ей и пуповину обрезали портняжными ножницами. С утра до вечера она внимательно и осторожно кроила материю, сшивала на живую нитку, наметывала, распарывала, снимала мерки, вязала, вышивала узоры и, что бы ни происходило вокруг, всегда доводила дело до конца. Речь ее напоминала звук швейной машинки, утомительный и монотонный. И говорила она, в основном, о портняжном деле. В конце концов, пареньку стало казаться, что его двоюродная сестра смотрит на мир через игольное ушко — на людей, на птиц, на звезды и даже на себя саму.

Теперь даже Ханум поняла, что гости так быстро не уедут. И больше всех ей было жалко няню Рабабе. Гости беспрестанно давали ей указания, и их ежеминутным требованиям не было конца:

— Няня Рабабе, надои мне немного молока!

— Няня Рабабе, если не трудно, расскажи ребенку сказку.

— Няня Рабабе! Покажи моему внуку, где куры несут яйца и как они это делают!

Няня Рабабе, которая, можно сказать, постарела за эти дни на тысячу лет, отнюдь не жаловалась на создавшееся положение: она свято верила, что гостей, какие бы они ни были,

любит Бог. К тому же ей не хотелось огорчать отца и мать паренька. Ее уязвляло только одно: что гости — особенно дядя паренька — смотрят на нее как на семейную собственность, а потому обращаются к ней только с требованиями. Хотя она-то работы никогда не чуралась и, если почему-либо не могла работать, чувствовала себя никчемной и страдала от этого. Но сейчас она совершенно растерялась. Потому что весь семейный уклад поломался, и она, больше чем когда-либо, беспокоилась за голубоглазого паренька.

И пареньку день и ночь становилось все тревожнее. Однажды вечером, когда все собрались вместе, его дядя, словно эта мысль внезапно пришла ему в голову, повернулся к своему брату и сказал:

— А ведь здорово будет завтра всем поехать в поля! И отдохнем, и округу посмотрим. И пообедаем на свежем воздухе, и верхом покатаемся.

— Но...

— Никаких "но", братишка! Моя задача приготовить шашлыки, а ваша — их съесть. И конь у нас есть, да какой!

Паренек хотел что-то сказать, но отец взглядом заставил его замолчать и объяснил:

— Дело в том, что белый конь, кроме моего сына, никому не дает на себя сесть, даже мне. Может, и неправильно это, да так уж его воспитали.

— Что я слышу, парень? Если мы коня не объездим — грош нам цена, ведь так?

— Нет, брат мой, это не шутки. Это животное. Человеческого языка не понимает. Сбросит тебя на землю, костей не соберешь.

Дядя паренька вздохнул и, пристально глядя на свой агатовый перстень, погрузился в размышления. Ясно было, что он взвешивает слова брата. Избежав опасности, проделав долгий и опасный путь из зоны ракетной угрозы, добравшись целым и невредимым до этого городка, родины своих предков, испугаться брыкливого коня — это как? Лучше уж было остаться в столице под ракетным обстрелом, ведь в это время года — в канун праздников — самая торговля. Если бы он погиб под ракетами, его, по крайней мере, объявили бы шахидом, а его семья получила бы кругленькую сумму.

— Что ж! В такие холода лучше пожертвуем шашлыками на природе. И верховой ездой! Но, племянник дорогой, ты меня послушай: ты тоже больше не езди на этом брыкливом коне! Дело-то нешуточное, ведь он и тебя может так сбросить, что костей не соберешь. Если хочешь моего мнения — продай коня, а вместо него купи шикарное новое авто! Какая

рентабельность у коня? Он заболеть может, травму получить, умереть. Конь, как человек, существо хрупкое. А вот машина – нет. Долговечная, сотни коней стоит: поездишь и продашь дороже, чем купил.

Голубоглазый паренек чувствовал, что должен что-то ответить, что, если не сделает этого, до конца жизни будет жалеть. И он сказал:

– Но, дядя, дорогой! Ведь и машина, как человек, предмет хрупкий! Разве не так?

Тут, пожалуй, даже камень заговорил бы, но гости промолчали.

6

Была середина дня, и Ханум дремала, когда нюх ее наполнился запахом дядиного внука. Но она не стала открывать глаза. Постаралась опять заснуть, хотя сквозь приоткрытые веки наблюдала за ним.

Внук дяди тихо и осторожно приблизился к ней и, прежде чем Ханум успела разглядеть, что он прячет в кулаке, прыгнул и надел на голову бедной собаки пластиковые очки на резинке, и все вдруг перед глазами Ханум стало багрового цвета, даже смех дядиного внука... Она перепугалась, попятилась назад, попыталась скинуть очки с глаз, не смогла, и такая злоба накатила на нее, что она уже ничего не соображала. Она прыгнула, схватила зубами ногу дядиного внука и с такой силой сжала ее, что его крик взлетел, казалось, до небес, и все, переполошившись, высыпали во двор.

Ханум, увидев отца паренька, устрашающую багровую фигуру, поняла, что снова натворила дел. Она инстинктивно пятилась назад, назад, в свою конуру, туда, откуда никто уже не мог ее достать. Однако внезапно волосатая рука протянулась в конуру, и все вокруг опять приобрело первоначальный цвет. Потом она услышала голос того, кому принадлежала эта рука, и спину ее заломило.

– Допрыгалась! Подожди, пока я вернусь, уж я знаю, что с тобой сделаю!

Ханум содрогнулась, как и ее деревянная хижина. Потом земля и небо завертелись, и тут она увидела няню Рабабе в цветастой рубахе, ласково глядящую на нее, и при этом она тоже завертелась. Увидела отца паренька, и его брата, и укушенного внука, они тоже завертелись и сели в машину и уехали со двора. А потом завертелась невестка дяди с причитаниями:

— Ай-ай-ай! Не приведи Господь, заразится бешенством!

Жена дяди, заламывая руки, говорила:

— С Божьей помощью, все обойдется!

Все суетились и что-то говорили, и только мать паренька, стоя на одном месте, сказала:

— Ханум поступила плохо, это так, но она без причины ни на кого не нападает. Ее мучили, и она ответила. Ну какой собаке понравится, что на нее надевают очки, и все в глазах меняется? Я знаю, собаки очень этого пугаются.

Голоса понемногу удалялись, и двор погрузился в зловещую тишину. Ханум, с одной стороны, была довольна, что белого коня не было дома и он не стал свидетелем ее унижения, а, с другой стороны, она всем сердцем хотела бы, чтобы паренек был здесь и не позволил бы своему отцу выкинуть ее из дома. Но, по несчастью, паренек и конь с утра куда-то исчезли и до сих пор не появлялись.

Ханум никогда еще не испытывала такого одиночества и беззащитности. Ужасно щемило сердце. Она знала, что на этот раз ей конец и что отец паренька раньше или позже вернется и выкинет ее из дома. И теперь уже и от няни Рабабе нечего было ждать защиты. Поскольку это касалось брата отца паренька, он доведет дело до конца.

"Паренек голубоглазый! Где ты?"

Ханум насторожила уши в надежде уловить малейший признак паренька, старательно принюхалась к воздуху переулка — на всем его протяжении до главной улицы. Но голубоглазого паренька и след простыл. В этой зловещей тишине она различала только безжалостное шуршание листьев на улице и с каждым вздохом все сильнее ощущала вкус безнадежности.

Когда она услышала в начале переулка шум дядиной машины, ее охватил невыносимый страх; она начала дрожать и вжалась в стену своей конуры. Шум машины делался ближе и ближе, она была уже так близко, что Ханум видела, как блестит ее стекло, а затем через щель конуры разглядела отца паренька, вылезающего из машины. Потом увидела его брата, который поставил на землю своего раненого внука, и тот, хромая, пошел в сторону крыльца, и поднялся по ступенькам, и оттуда, не отрывая глаз, смотрел на Ханум.

Никто не вышел во двор, ни мать паренька, ни няня Рабабе. Отец паренька подошел к конуре, нагнулся и каким-то чужим голосом приказал:

— Вылезай.

Ханум медленно, опустив голову, вылезла, и отец паренька схватил ее за шею и толкнул к машине. Ханум покорно влезла в машину через заднюю дверцу, легла и взглянула в окно.

Кроме гостей, никто во двор не вышел. Ни мать паренька, ни няня Рабабе. Ханум, по-прежнему надеясь увидеть паренька, все выглядывала из машины. Но тщетно. Внук дяди с забинтованной ногой стоял на крыльце и печальными глазами смотрел на нее. Дочь дяди, явно только что проснувшаяся — на ее щеке еще отпечатывалась вышивка подушки, — глядела из окна комнаты, но было понятно, что мысли ее далеко.

Отец паренька сел в машину, его брат сел за руль, и машина плавно тронулась. Ханум в последний раз посмотрела на дом, и взгляд ее медленно скользнул по конюшне, по конуре, по комнате няни Рабабе, по воротам и задержался на них. Но вот все это исчезло за поворотом, и автомобиль выехал на главную улицу, на то самое место, где много лет назад щенки Ханум попали под машину; всякий раз, когда она видела это место, на ее глаза наворачивались слезы. Вот и сейчас все — от магазинов и хмурых людей до тележек и машин — поплыло в слезах Ханум.

Автомобиль быстро оставил позади единственную большую улицу города и повернул на грунтовую дорогу, дорогу, по сторонам которой были видны сады, и поля, и колодцы.

Они миновали шиитскую гробницу с зеленым куполом и свернули на проселок, бежавший среди холмов по пустыне, пустыне, которая поросла кустарником и вдали сливалась с небом. Отец паренька взглянул на свою собаку, однако тут же отвернулся от нее. Гноящиеся глаза его собаки были тусклыми и вызывали жалость, а уши висели, как куски старой кожи.

Ханум тоже посмотрела на своего хозяина, на его лысую голову и волосатую шею, и странное чувство пробудилось в ней. Уже давно она не видела своего хозяина так близко.

В прежние времена хозяин ее выглядел совсем иначе. Он был таким красивым, что смотреть на него можно было бесконечно. А сейчас он казался ей совсем чужим, точно Ханум видела его в первый раз.

Автомобиль достиг солончаковой пустыни, гладкой и однообразной. Волна воспоминаний перенесла Ханум в прошлое, она снова была красивым, игривым щенком. Щенком, который вместе с хозяином отправляется на охоту и купается в запахе хозяина, и всем существом вслушивается в этот единственный в мире голос. Его голос и запах она уловила бы с любого расстояния и не променяла бы ни на что.

Молодая собака, которая вприпрыжку, скачками несется впереди хозяина, иногда останавливается, чтобы хозяин догнал ее, чтобы потереться о его ноги; потом опять бежит вперед, и все ее чувства сосредоточены на ружье хозяина, ствол которого направлен в небо.

Молодая собака и ее хозяин достигают озерца и прячутся за кустами. В озере плавает стая перелетных уток. Внезапно гром ружейного выстрела раскалывает тишину озера, и перепуганные утки поднимаются в небо. Молодая собака бросается в воду и плывет туда, где две раненые утки отчаянно бьют крыльями по воде, но не могут взлететь. Молодая собака доплывает до них, хватает зубами обеих и, вернувшись к берегу, вылезает на сушу. Ее довольный хозяин забирает из ее зубов уток, треплет ее по голове и ушам и восклицает:

— Великолепно! Ты — лучшая собака, которую я видел в жизни. Награду ты получишь позже...

Ханум явственно ощущала запах и вкус этих уток и сейчас, когда автомобиль тряхнуло на рытвине и ее хозяин, который до сих пор безмолвно сидел рядом с братом, внезапно, будто пробудившись ото сна, сказал:

— Братец! А куда ты едешь? Ты хоть понимаешь, где мы? Это же Соленое озеро!

Его брат ироническим тоном спросил:

— А ты куда хочешь? На Синее море?

Ханум посмотрела на солончак, и сердце ее наполнила горечь. Под лучами солнца солончак сверкал как тысячи осколков разбитого зеркала, этот блеск безжалостно бил по глазам, и Ханум почувствовала себя самой одинокой собакой на земле.

— Нет, братец! Бедняга здесь погибнет. А я не хочу обрекать ее на смерть.

Брат хозяина повернулся и злобно взглянул на Ханум, глаза его сверкнули так же, как солончак, и взгляд этот обжег Ханум. Обнажив зубы в улыбке, брат хозяина сказал:

— Не бойся! Не помрет. Разве не слышал выражение "собачья душа"? Я этих тварей знаю. У них живучесть — ого-го! Могу поспорить, где бы мы ее ни выпустили, она раньше нас с тобой домой прибежит.

— Вон, видишь? У того холма! Там овечий загон, и есть родник, по крайней мере, животное не околеет от жажды и одиночества.

Автомобиль мягко повернул по солончаку и направился в сторону холмов, и братья снова погрузились в свои мысли и расчеты; один думал о том, что собирается сделать, другой — о грядущих праздниках и о своем запертом магазине, и о доме, который оставил под ракетами.

Приехали. Однако отец паренька выходить из машины не хотел. Его брат, с иронией взглянув на него, вышел и открыл заднюю дверцу, и сам отступил, чтобы выпустить Ханум. Ханум покорно посмотрела на своего хозяина и спрыг-

нула на землю. И тот не выдержал, вышел из автомобиля и направился к Ханум. Однако на полпути остановился. Не смог посмотреть в глаза своей собаке. В тяжелом положении он оказался. С одной стороны, он стыдился самого себя, а с другой, не хотел огорчить старшего брата или сплоховать перед ним. Поэтому он вернулся к машине, успокоив себя так: "Несколько дней пробудет здесь, а потом я сам приеду и заберу ее!"

Ханум остолбенело, изумленно стояла на одном месте и не двигалась, просто не могла двинуться. Словно была прикована к своему хозяину невидимой цепью. Цепью самой прочной в мире. Голубоглазый паренек... няня Рабабе... мать паренька... и многое другое.

Машина тронулась, и на миг взгляды Ханум и ее хозяина встретились, и Ханум увидела, что глаза хозяина потемнели, а отцу паренька показалось, что взгляд гноящихся глаз его собаки, на этом печальном закате, отливает кровью. Одинокая собака рядом с чахлым деревцем ивы возле маленького, полузадушенного солью, родника.

Шум удаляющегося автомобиля отдавался в сердце Ханум, и вот мало-помалу он растаял за холмами, и теперь осталась только Ханум и солончаковая пустыня, полная одиночества, и овцы, которые, приближаясь, спускались с холмов. Но теперь ничто уже не занимало Ханум, даже угрожающий лай овчарки и незнакомый запах чабана.

Овчарка прямиком подбежала к Ханум и начала лаять на нее. Ханум поднялась с места и, злобно взглянув на нее, отбежала немного от загона, растянулась возле куста. Овчарка тоже вдруг замолчала и вернулась к чабану.

А Ханум подняла голову к звездному небу и, глядя на кровавый серп месяца, громко завыла, вложив в этот вой все свое одиночество:

— О, паренек голубоглазый! Где ты?

Голубоглазый паренек стоял под абрикосовым деревом и изумленно смотрел на пустую конуру Ханум. Белый конь тоже вытянул шею над стеной конюшни и смотрел оттуда. Он тоже не мог поверить, что Ханум выкинули из дома. Пусть к нему это не имело прямого отношения, но он всем своим существом чувствовал пустоту. Запах Ханум был повсюду, без нее дом заполнила тоска! Даже гостей не было слышно.

Взгляд паренька упал на миску Ханум, в которой еще оставалась еда, и сердце его еще сильнее защемило. Цепь Ханум, как черная змея, обвивала ствол абрикосового дерева.

Голубоглазый паренек поднял голову к небу и с тоской произнес:

— Бедняга Ханум! Где она сейчас и что делает?

Ханум выла под капающим звездами небом солончаковой пустыни, эти громкие и протяжные жалобы поднимались из темной глубины ее сердца и пугали молодого кобеля — овчарку. Тот не осмеливался приближаться к Ханум. Чабан пек лепешки и, подойдя, кинул Ханум комок теста, однако она, хотя живот подвело от голода, к тесту не притронулась.

Ханум было плохо. Голова болела, сердце давило. Жить вне дома не имело для нее смысла. Сейчас она ясно понимала: вся ее жизнь была связана с этим домом. Там она ела, там спала и видела сны, она была верна этой семье, и пусть она завидовала белому коню, но вся ее жизнь была там. Теперь она ощущала любовь не только к белому коню, но даже к курам, петухам и коровам этого дома.

Устав от бесполезных завываний, она опустила голову на лапы, чтобы заснуть. Но живот так подвело от голода, а голова так болела, была такой тяжелой, что она не могла закрыть веки. И из-под полуприкрытых век видела дрожащий силуэт овчарки. Пес сидел неподалеку, а потом с жадностью принялся есть; она исподлобья наблюдала за ним и думала: ах, если бы она могла, как эта овчарка, довольствоваться своей собачьей жизнью и никогда не ступать в мир людей.

Утром, едва рассвело, в ноздри Ханум ударил запах голубоглазого паренька и белого коня; сон тут же слетел с нее, и она начала лаять. Потом побежала к холмам, насторожив уши и взглядом обшаривая холмы.

В какой-то миг Ханум показалось, что ей это снится, но нет, ошибки не было. Это был звук копыт белого коня, и он волной нарастал, как стук сердца Ханум.

Овцы, блея, поднимались на ноги. И чабан, который разводил огонь, выпрямился и, приложив руку козырьком к глазам, всматривался в даль.

Ханум, сломя голову, вылетела на дорогу и встала, виляя хвостом. Никогда еще, слыша топот копыт белого коня, она так не радовалась и никогда так не раскаивалась и не стыдилась самой себя. Но сейчас сердце ее было чистым-чистым, и ни малейшей злобы к коню в нем не было. Поэтому, когда увидела его издали, побежала к нему и пристыжено потерлась о его ноги.

Голубоглазый паренек спешился; потрепал Ханум по голове и сказал:

— Ханум моя, как ты? Не горюй! Разве я уже умер, чтобы тебя, как старую тряпку, выкинули из дома?

Успокаивающая волна его голоса подняла Ханум, и слеза скатилась из ее потерявших блеск, гноящихся глаз, и пустыня для нее наполнилась светом и сиянием. И старое чахлое дерево ивы, которое всю жизнь пило соленую воду, стало свежим и молодым. Соленый родник, полузадушенный солончаком, внезапно засверкал как чистое, прозрачное зеркало и потек прямо по дороге. Овцы с блеяньем рассыпались по холмам. Овчарка с лаем подбежала к Ханум, виляя хвостом, и звук дудочки пастуха, словно благоуханный ветерок, наполнил солончаковую пустыню и заставил кусты пуститься в пляс.

— Молодой человек! Продашь мне коня своего?

— Нет, дедуля! Ведь ты мне свою дудку не продашь?

Все трое двинулись в путь. Была дорога, и голубоглазый паренек, и белый конь, и Ханум. Было небо, и было солнце, и солончаковая пустыня. Проселочная дорога вилась и изгибалась, и вела их за собой. Белый конь иногда оглядывался и замедлял шаг, чтобы Ханум не отставала, и в такие минуты все трое думали об одном и том же — о дороге, дальней и долгой, которая скоро одного из них возьмет с собой. И прольются в этом доме слезы.

7

В день отъезда паренька небо как разрыдалось с самого утра, так и плакало не переставая. В этот день даже куры и петухи мокрые стояли под абрикосовым деревом и глядели на паренька. С того дня, как уехали гости, жизнь в этом доме опять вошла в прежнюю колею и все вернулось на свои места.

Сегодня днем белый конь, увидев паренька во дворе, все понял и в беспокойстве начал метаться и кружиться на одном месте. Никогда еще паренек не видел своего коня таким возбужденным и беспокойным. Но голубоглазый паренек ничего не мог поделать, и так ли, этак ли, но сегодня он должен был уехать. Он уже несколько раз откладывал отъезд ради матери и белого коня, но больше медлить не мог. Даже если бы небо упало на землю. Даже если бы мать спрятала его форму и ботинки, а отец пообещал купить машину. И несмотря на то, что из глаз его коня струилась мольба.

Ханум сквозь нити дождя видела, как паренек обнимал голову коня, что-то говорил ему на ухо, как поцеловал его бар-

хатистый лоб и вышел из конюшни. Ханум переживала за белого коня больше, чем за себя. Она осознала, что сама она никогда бы не смогла так сильно, как этот конь, любить паренька, и понимала, что очень отличается от этого коня и что эти двое имеют право так сильно любить друг друга. Понимала она и то, что она любит паренька по-своему, а белый конь — по-своему.

Азиз-Ханум и несколько соседок перешептывались под крышей крыльца за нитями дождя. Паренек сначала попрощался с матерью, потом с отцом, почувствовал, что лицо у него холодное, но не мог понять, от дождя его лицо мокрое или от слез. Мать его, напротив, плакала так, что, казалось, и этот дождь тоже был ее слезами.

Няня Рабабе вышла вперед; в одной руке она держала Коран, в другой — чашу с водой. Паренек закрыл глаза и поцеловал Коран, прошел под ним, и, когда открыл глаза, взгляд его упал на чашу, вода в которой морщилась под каплями дождя.

— Няня Рабабе! Я тебе поручаю своего коня; заботься о нем!

— Иди спокойно, да поможет тебе Бог в пути!

Паренек закинул за спину рюкзак и двинулся в путь. Ханум, воровато взглянув на его отца, осторожно обошла его и в переулке догнала паренька, бежала с ним до главной улицы и, когда тот сел в машину и помахал ей рукой, повернула к дому, мокрая, будто вылезла из воды.

Повесив голову, плелась Ханум в сторону дома, но его все не было и не было. Она не сознавала ни где она, ни что ее окружает, она даже не знала, потеряла ли она дорогу или нет. И это она, которая могла с закрытыми глазами найти путь к дому, где бы она ни находилась! Позже она вспомнила, что в этот дождливый день, после долгого пути, уставшая и насквозь промокшая, наконец, добралась до дома — но какого? Притихшего и пустого, точно кладбище!

Перво-наперво Ханум сунулась к белому коню, который безучастно стоял перед кормушкой и — хруп-хруп — перемалывал зубами ячмень и даже не взглянул на Ханум. Точно с отъезда паренька прошли годы, и он забыл обо всем.

Потом Ханум подошла к дверям няни Рабабе. Но и она укрылась в своей комнате, и оттуда не доносилось ни звука. Ни отца, ни матери паренька тоже не было слышно, так что и Ханум укрылась в своей конуре и постаралась больше не думать ни о чем и ни о ком в этом доме.

Колесо времени словно перестало вращаться. Ничто больше не представляло интереса для Ханум. Мир людей теперь не задевал ее сердца. Даже няня Рабабе стала для нее

обычной старушкой. Дряхлая затворница, как многие другие.

Няня Рабабе очень редко выходила из комнаты — только чтобы заглянуть к белому коню. До коров, и кур, и петухов ей теперь не было дела. То есть даже если бы она и хотела заняться ими, уже не смогла бы. День ото дня ноги все хуже держали ее, и она становилась все более замкнутой и нелюдимой. Аппетит у нее пропал, и она даже не касалась еды, которую приносила ей мать паренька. И на разговоры у нее уже не было сил, а потому день ото дня она становилась все более одинокой.

Коровы мычали громкими голосами, звали няню Рабабе, но напрасно. День за днем коровы давали все меньше молока и стали такими нервными, что не позволяли никому себя доить. Даже отец паренька не мог с ними совладать, и соседи забыли, что такое покой, из-за их беспрерывного мычания. Городской ветеринар ничего не мог поделать, и его уколы, снадобья и лекарства не приносили облегчения. Он говорил отцу паренька, что коро́вы заболели нервной болезнью и что нужно их как можно скорее гнать на бойню.

В эти самые дни от голубоглазого паренька пришло письмо. Его мать радостно схватила его и пошла прямо в комнату няни Рабабе, и там начала его читать. Но няня Рабабе, как лежала в своей постели, так и лежала, никак не реагируя, только слезы заструились из темной глубины ее глаз, скатились по щекам и пропали в морщинах и складках лица — словно несколько капель дождя в сухой и раскаленной солончаковой пустыне; вот тогда мать паренька и поняла, что за это время няня Рабабе постарела на тысячу лет. И каким же пустым и безжизненным стал теперь их дом! Ведь жизнь в него вносила эта старая женщина. Ее духом было проникнуто все в этом доме. Коровы давали много молока, а хлеб в хлебнице никогда не кончался. Эта старушка ни о ком не сказала ни единого плохого слова, не обидела даже муравья. Старушка, которая перед каждой дойкой коров совершала ритуальное омовение.

Коров одну за другой забили, а куры с петухами по очереди оказались в кастрюле. Ханум в жизни своей не видела весны более печальной, чем эта. Весна была такая холодная, что цветущие деревья почернели, в том числе и абрикосовое дерево во дворе; много лет оно давало столько плодов, что ветви его сгибались до земли, однако нынче на нем не осталось ни одной цветочной почки.

К няне Рабабе пригласили доктора. Но, по мнению доктора, старушка была совершенно здорова и, кроме глубокой

старости, ничем не страдала. Он сказал отцу и матери паренька:

— В таком возрасте у этой старушки ни одной болезни. И знаете почему? Потому что дух ее здоров. Поверьте мне! После такой долгой жизни ее сердце работает как часы на этой полке. Эти часы постарели, но они не сломались.

Ханум бездумно, равнодушно растянулась перед конурой. Ее состояние тоже было не лучшим, но в этой неразберихе кто о ней думал? С каждым днем Ханум все больше отдалялась от мира людей. Даже и на белого коня она уже почти не обращала внимания. Стала считать его самым обычным конем, не лучше остальных.

Иногда Ханум вспоминала о голубоглазом пареньке и думала: ах, она бы согласилась всегда сидеть на привязи у абрикосового дерева, лишь бы только этот дом опять стал таким, каким был, полным жизни, а не теперешним, холодным, пустым и бездушным с бездушными обитателями. Вроде этой старушки, клонящейся к земле, — даже смерть боится к ней приблизиться! Или вроде этого седовласого мужчины, который думает только о работе, словно Бог создал его лишь для того, чтобы он работал и снова работал. Или вроде этой одинокой женщины, которая с утра до вечера говорит сама с собой и льет слезы.

Всякий раз, когда Ханум попадала под власть таких чувств, она впадала прямо-таки в безумие и бешенство. Начинала ненавидеть самое себя, ее била дрожь, изо рта текла пена, и она убегала из города в пустыню, бежала, не переводя дыхания, пока не выбьется из сил, и лишь тогда ей становилось лучше, и она возвращалась домой. Иногда она пыталась спастись от отчаяния у няни Рабабе. Часами сидела перед ее всегда запертой дверью, тихонько поскуливая, без всякой надежды скребла лапой дверь комнаты, насторожив уши, чтобы уловить малейший звук, карауля глазами малейшее движение, однако, казалось, скорее заговорит деревянная дверь, чем няня Рабабе! И все-таки не могла оторваться от комнаты старушки, сидела на том же месте и в тоске и горе нюхала ее старые тапки. Шлепанье этих тапок сопровождало ее всю жизнь, этот звук был для Ханум звуком жизни! Под ритм этих шагов росли герань и ночецвет в палисаднике, и петухи свое пение подстраивали под эти шаги, и именно от звука шагов няни Рабабе из сосцов коров начинало струиться молоко. Но вот уже давно шаги замолкли в этой темной комнате, и место их занял иной звук — звук тиканья часов.

— Да что же это? Что происходит в этом доме? Все шиворот-навыворот! Этот конь, куда он провалился? Со вчерашне-

го дня его нет! Может, конокрады его увели? Хотя ворота были открыты, и он, небось, удрал и потерялся в пустыне. Да я просто с ума сойду!

Ханум посторонилась, чтобы дать дорогу отцу паренька. Ясно было, что он разъярен. Он ходил по двору, громко кричал, и на чем свет стоит бранил все на свете. Мать паренька удивленно, ни слова не говоря, смотрела на пустую конюшню. Ханум, хотя и понимала, что́ случилось, не двигалась с места, а отец паренька кричал все громче и громче.

8

Усталый запыленный поезд из последних сил скользил по стальным рельсам. Будто был в пути всегда, огибал землю и снова оказывался в прежней точке. Он словно двигался по кругу, этот поезд, уходил и снова приходил — как времена года, — но никогда не прекращал движения; разве что останавливался в пути, чтобы выпустить и впустить людей.

Поезд пробивал горы, рассекал моря и проходил по обжигающим солончаковым пустыням. В этом поезде последний вагон не был прицеплен и сам по себе летел над рельсами. Этот вагон был только для мертвецов — для живых мертвецов!

Поезд в ночной темноте приблизился к городу паренька. Он миновал выступившее из тьмы кладбище и достиг обработанных полей, за которыми шли земли без орошения, сухие и невозделанные, посреди них стояла глинобитная хижина, и рядом с ней на земле лежал белый конь.

Прожектор поезда на миг осветил сухую землю и белого коня, который, хотя глаза его были открыты и обращены в сторону поезда, был мертв; взгляд его, тем не менее, оставался живым, в нем была душа, и тело коня еще не остыло, а его длинная серебряная грива растеклась по земле. И неорошаемое поле опять отступило в темноту, и шум поезда затерялся в солончаковой пустыне.

Поезд снизил скорость и, отдуваясь, остановился на полустанке этого городка. Последний вагон встал точно против черного автофургона. Затем дверь вагона открылась, несколько человек, одетых в черное, поднялись в него по ступенькам, подняли один из гробов из льда и выгрузили из вагона, и крик матери голубоглазого паренька вырвался со станции и навсегда запечатлелся в памяти солончаковой пустыни.

Назавтра утром в доме не осталось никого, если не считать няни Рабабе, которой теперь словно бы и не было вовсе, и Ханум, которая со вчерашнего дня не выходила из конуры. С того времени, как пропал белый конь, Ханум не имела ни сил, ни желания покидать конуру.

Ханум чувствовала, что случилось недоброе, но что именно, пока не знала. Поэтому, когда в дом вернулись одетые в черное отец и мать голубоглазого паренька, а с ними множество народа... Рыдания матери голубоглазого паренька поднялись к небу, подтверждая, что произошло действительно непоправимое. Ханум, страшась такого количества народа, не двигалась с места и смотрела через щель конуры, как вдруг в толпе она увидела дядю паренька, и сердце ее упало. Потом она увидела внука дяди, который шел в сторону конуры, и от страха отползла назад. Однако внук спокойно приблизился к будке, наполнил пустую миску Ханум едой и, улыбнувшись, отошел. Ханум, однако, не решилась выйти наружу. Она инстинктивно боялась толпы. А еще больше — дядиного внука.

Собравшиеся внезапно устремились в дом, и Ханум так перепугалась, что выскочила из конуры, заполошно оглядывая двор, а потом протиснулась через толпу к комнате няни Рабабе. Дверь была приотворена, и она укрылась в этой комнате. А когда глаза ее привыкли к темноте, в углу комнаты она увидела такое, что от страха у нее пересохло в глотке. Няня Рабабе наполовину поднялась в своей постели и пристально смотрела в угол комнаты, туда, где, улыбаясь ей, стоял голубоглазый паренек, однако совсем не такой, как обычно: он излучал сияние, а ног словно вообще не имел и плыл по воздуху. И всякий раз, как он делал какое-то движение, по его форме защитного цвета проходила волна.

Ханум, увидев голубоглазого паренька, хотела залаять и оповестить всех о его приходе, но в ее горле как будто застряла большая кость, и она не могла издать ни звука. И вот она в оцепенении уставилась на голубоглазого паренька, а тот нагнулся и нежно, как дуновение, поцеловал няню Рабабе в лоб; потом ласково посмотрел на Ханум и, как прохладный ветерок, прошел мимо. Ханум последовала за ним во двор, от удивления раскрыв рот. Никто из собравшихся не обращал на паренька внимания, а он прошел сквозь толпу к матери и поцеловал ее пылающий влажный лоб, потом подошел к отцу, поцеловал и его, и дальше, легкий как перышко, поплыл по воздуху, поднимаясь все выше и выше, и оттуда, сверху, глядел на собственный накрытый трехцветным флагом гроб, который несли люди.

Ханум своими глазами видела, как голубоглазый паренек, затопленный светом, плывет по воздуху и исчезает за деревьями переулка.

Ханум мельком взглянула на гроб и бросилась следом за пареньком. Но во дворе было столько народа, что она побежала через сад, проползла по оросительному каналу под стеной и, наконец, выбралась в переулок, однако там паренька не было. Не переводя дыхания, Ханум побежала по улице, свернула в поля за городом; она бежала на ту самую неорошаемую землю, где стояла глиняная хижина; к тому самому месту, где на земле лежал белый конь с широко открытыми глазами, глядящими в сторону железной дороги.

Ханум все бежала и бежала; миновав белого коня и голубоглазого паренька и не думая ни о ком и ни о чем — ни о голубоглазом пареньке, который сел верхом на белого коня, и оба они, залитые светом, поплыли по воздуху, устремляясь в сияющий коридор, ни о себе самой, из последних сил она все бежала, и бежала, и бежала вдоль рельсов железной дороги. Вдоль рельсов, не имеющих конца, по которым двигался никогда не останавливающийся поезд. Поезд, последний вагон которого предназначался для живых — для живых мертвецов.

Казимеж Орлось

Рассказы

Перевод с польского Ирины Адельгейм

На ясене пел черный дрозд

Первый раз я приехал в мае, когда цвела высаженная вдоль ограды алыча. Белое облако мелких цветов плотно окутывало деревья. Одуванчики тоже цвели, и луг за забором был весь желтый. Наш дом, под красной голландской черепицей, стоит на опушке леса. На ясене пел черный дрозд. По крыше прыгала трясогузка.

Немного повозившись с ржавым замком, я открыл ворота, въехал в горку, остановился перед навесом и выпустил пса. Он выскочил через щель в воротах, едва не перекувыркнулся с разгону и с лаем помчался вниз. Пробираясь через высокую траву, я пошел открывать дом. Потом вытаскивал вещи: сумки, пишущую машинку, одеяла, спальник. Пригревало солнце. Теплый ветер приносил от забора запах алычи.

После обеда начался дождь. Дверь в сени и в кухню я оставил приоткрытой, комнату закрыл, а сам лег у распахнутого

© by Kazimierz Orłoś
© by Wydawnictwo Literackie, Kraków, 2001
© Ирина Адельгейм. Перевод, 2010

окна. Такса осталась в кухне – время от времени я слышал, как она лает, выбегая во двор. Каждый раз после этого на дороге раздавался скрип колес или фырканье лошади. Дождь разошелся не на шутку. В воздухе пахло влагой. От окна тянуло холодом. Я слышал шорох дождя и монотонное, словно бы далекое, позванивание водосточных труб.

Когда я проснулся, было темно. Открытое окно казалось темно-синим, точно вырезанным из толстого сукна. Я немного полежал, вглядываясь в темный прямоугольник. Звезд видно не было. Над садом, полем, лесом и дорогой поднимался после дождя туман. Было тихо – только в водосточных трубах порой слегка позвякивало, точно по дороге ехал велосипедист. Я встал и босиком подошел к двери.

Пес сразу вбежал в комнату – радовался встрече, словно мы давно не виделись. Я похлопывал его по теплой спине и трепал за уши. Он ластился к ногам. Потом, по-прежнему босиком, я прошел по холодному полу через кухню и сени. Спустился во двор.

Где-то за рекой лаяли собаки. Я зашагал дальше – через луг, по мокрым одуванчикам, к забору и двум яблоням, что там росли. Мне казалось, будто я бреду по мелководью, у самого берега озера, в темноте. Такс шел сзади, по моим следам, сопя и подпрыгивая, когда трава оказывалась слишком высокой.

Мы миновали березу посреди двора, а когда я на ходу коснулся ствола, с мелких листьев дождем посыпались капельки. На голову и плечи. Пес отряхнулся, потряс ушами. Я подошел к забору, облокотился на штакетник. Дальше были поле и лес. Все заслонял туман.

Я стоял, вдыхая сырой воздух. Было тихо. Не слышно даже собачьего лая за рекой. И голосов птиц или лягушек, которые обычно оглашали луга по вечерам. Над головой смутно проступали ветви одной из двух яблонь, той, что побольше. Потом мне показалось, будто я слышу чей-то голос. Он напоминал шепот. Я ощутил, как что-то коснулось моего лица – легкое дуновение. Мгновенное, словно подул ветер с поля – и сразу стих. И все. Домовый сыч, а может, сипуха или филин?

Я стоял у забора, в мокрой траве, сжимая пальцами шершавые штакетины. Еще несколько холодных капель упали на щеку. В этот момент послышался лай. Пес был уже возле ворот – за домом. Я повернулся и пошел обратно по мокрым одуванчикам.

1998

Пятеро ежат

С озера я вернулся поздно и теперь стоял возле дома, у пристройки, перед дверью, в пяти шагах от колодца. Над жасминовыми кустами и лугом свидетелей Иеговы, над лесом, светил желтый Юпитер — самая яркая звезда. Казалось, можно невооруженным глазом разглядеть его спутники — Европу, Ио. В мертвом русле реки, в лозняке — в покрытой ряской и поросшей тростником темной воде пруда — он, должно быть, сверкал маленьким золотым грошиком. Бесшумно пронеслись летучие мыши. Подали голос и умолкли лягушки.

Я подумал, что Юпитер отражается и в окнах дома — тех, что выходят на дорогу. Грошик над темными силуэтами отцветшей сирени.

Звезды еще не взошли, кроме Веги у меня над головой и Юпитера на юге. Я обернулся, чтобы посмотреть, видно ли Большую Медведицу, но на севере было светло. Над соседским полем — желто-оранжевая полоса неба.

Я наблюдал, как луг за дорогой и край леса медленно исчезают в тумане. Он был белый и сероватый. Я ощущал влагу на губах, под языком. От земли, от мокрых трав, от тропки тянуло холодом.

У меня под ногами зашуршало. Пятеро ежат топали среди кустиков чистотела, у самой пристройки. Я присел на корточки, чтобы рассмотреть их.

Это было, вероятно, потомство пары старых ежей, которые уже много лет жили возле нашего дома. Зимой они спали под навесом, зарывшись в палую листву, — в ноябре я прикрывал листья ветками. Ежата, верно, впервые покинули гнездо. На их спинках еще не было колючек. Они приподнимались на задние лапки, а передними опирались о стену, словно хотели забраться повыше и увидеть побольше. Мир еще только открывался перед ними, полный мокрой травы, шорохов, холода. Воздух вибрировал, когда поблизости проносилась летучая мышь.

Я протянул руку и коснулся маленькой спинки. Ежик свернулся клубком и замер. Остальные терпеливо перетаптывались, принюхиваясь и приподнимая мордочки. Выглядывали из-под чистотела.

Я встал, опершись на руку. На пальцах остался мокрый след. Звезд над крышей прибавилось. Огромный Юпитер попрежнему светил ярче всех — золотой грошик в темных окнах.

1997

Pessarra

Памяти мазуров Йоханна и Анны

ЭТОТ олень подавал голос уже несколько дней — совсем близко. Было начало октября, и по вечерам лес аж гудел от голосов быков, сражающихся за самок. Рев раздавался то ближе, то дальше. Олени умолкали, когда вечер выдавался непогожий — шел дождь или на лес опускался туман. Я выходил во двор и слушал их. Стена деревьев за забором и дорогой была черной. Месяц освещал поле над рекой — казалось, на старой стерне тлеет огонь.

Он всегда подавал голос с той стороны — очень громко. Каждая серия рева заканчивалась стоном и кашлем. Потом на несколько минут наступала тишина. И снова звучал хриплый голос. Казалось, земля дрожит. Иногда лес отвечал эхом — иногда в деревне отзывались собаки. И снова тишина.

Я останавливался под березой и смотрел на лес. Ощущал на лице прикосновения листьев. Холодный воздух. Над головой качались березовые ветви.

В ту ночь я решил пойти на голос оленя — услышать рев вблизи, с расстояния нескольких шагов. Вдруг мне удастся увидеть, как он поднимает морду, прижимает рога к спине и из глубины легких исторгает свой рев. Услышать его стоны и кашель. Почувствовать запах. Может, он остановится на широкой тропе, в лунном свете? Отчетливый — как на картинке? Словно изображенный на старинной литографии?

Ночь была светлой, полнолуние — я даже не стал брать фонарик. Пошел по дороге вдоль поля, на котором, как обычно, будто бы тлела стерня. От лещины на краю, от рябины и можжевельника веяло холодом. Трава на тропинке была мокрой, и вскоре я почувствовал, что мои теннисные тапочки начинают промокать.

Олень подал голос только раз, когда я был уже недалеко. Он ревел напротив мазурского кладбища — наверняка на той вырубке, где в июне мы собирали землянику. Я поравнялся с соснами, которые росли по обе стороны дороги. Осторожно, стараясь ступать как можно тише, пошел в том направлении. Остановился в нескольких шагах от тропинки с двумя столбиками, из которых торчали железные крюки от калитки. Ждал, не шевелясь, затаив дыхание, но олень молчал. Луна скрылась за тучей, и тьма сгустилась. Сосны и ели, заслонявшие вырубку, сделались темнее. Я отвернулся и увидел слабый огонек, мелькавший у самой земли в глубине кладбища. Помню, что закрыл глаза. Подумал — показалось. Но огонек

продолжал колебаться в траве, далеко от тропинки — наверное, на чьей-то старой могиле. Время шло. Я все стоял, надеясь, что олень отзовется, но ничего не происходило. Наконец я решил выглянуть из-за елей на вырубку. Осторожно, раздвигая ветви, пробрался поближе — на другую сторону. Здесь было пусто. Тучи закрыли небо. Подул ветер, и я ощутил только резкий звериный запах: сильно пахло шерстью, как всегда, когда кабаны или олени переходили тропу.

На новом месте я тоже ждал долго, но он, видимо, ушел — испугавшись — куда-то дальше. Может, почуял запах человека? Те, что были в глубине леса, тоже замолчали. Я слышал только шорох в сухой траве. Ничего больше.

На обратном пути я заглянул на кладбище. Подошел к захоронениям и, огибая земляные холмики, плиты и кресты, по опавшим липовым и кленовым листьям добрался до той могилы, на которой горела лампадка. Она освещала железную плиту с надписью на немецком языке. Я наклонился и прочел: "Meinen lieben Mutter und Vater — Anna und Johann Pessarra — in Gott dem Herrn..." Ниже стояли даты. Йоханн умер в пятьдесят первом году, Анна — спустя несколько лет. Желтое пламя колебалось на дне стеклянного сосуда. Лампадка медленно догорала. Запахло воском. Помню, что огонек вдруг вспыхнул, осветив буквы на железной плите, и снова почти потух.

Я повернулся и пошел назад, огибая холмики могил. Вышел на тропу, углубился в тень под соснами. Шагая вдоль забора и стерни, смотрел на светлое окно за забором. Уходя, я оставил в доме свет. В деревне подняли лай собаки. Мокрая трава на тропке. От земли тянет холодом. Мерзнут руки.

1998

Сергей Гандлевский
Принципиальный раблезианец

Мы мельком познакомились в 90-м году в Америке. Спустя какое-то время он прислал мне в Москву приветливое письмо, я ответил, и мы стали друзьями на двадцать без малого лет.

Окружающие люди, как мне кажется, делились для Петра Вайля на его любимцев — и всех остальных, середины не было. Мне повезло: я попал в число этих баловней и на меня за годы дружбы свалилась целая бездна всякого рода благодеяний — сердечной заботы, точности, тонкости, внимательных подарков, увлекательных путешествий, сногсшибательной жратвы, серьезных разговоров и замечательного глумливого трепа.

Вайль очень хотел казаться олицетворением жизнелюбия, чуть ли не раблезианства.

— Петя не совсем тот, за кого себя выдает, — сказала моя наблюдательная жена после нашего очередного свидания с ним.

— ?

— Обрати внимание на его руки.

Действительно, у этого корпулентного, седого, вальяжно-артистичного космополита, гурмана и весельчака были абсолютно "декадентские", изящные и беспокойные кисти рук. Когда я обвыкся с феерией его общения, мне иногда случалось, чуть ли не в самый разгар смачного вайлевского словоизвержения, уловить в его взгляде мгновенное выражение мертвенной печали. И хоть бы одна за столько лет жалоба на упадок духа или просто недомогание! В конце концов, он был больным человеком... Но о серьезнейшем его недуге я узнал от него впервые накануне собственной операции, чтобы, как я понимаю, мне не поддаться эгоизму болезни и не чувствовать себя самым несчастным и одиноким на этом свете. Наша с ним дружба была почти безоблачна, но однажды он вспылил не на шутку: памятуя о том, что Петр недавно выписался из больницы, я попробовал вырвать у него тяжелый чемодан — да еще на виду целого "цветника" провинциальных красоток!

Раз и навсегда из принципа освоив роль неунывающего раблезианца, он безукоризнен-

© Сергей Гандлевский, 2010

но сыграл ее до конца. Вот первый смысл слов, вынесенных мной в заголовок этого сбивчивого некролога. Но есть и второй. Раблезианство, жовиальность как-то само собой предполагают ослабление нравственной составляющей человека: нравственность, по расхожим представлениям, аскетична. Но при мне Петр Вайль спокойно объяснил нашему общему знакомому, почему не подаст ему руки (тот опубликовал злобную чушь в адрес попавшего в беду Андрея Бабицкого, коллеги Петра).

Подытожу: если человек расшибается в лепешку ради тех, кто ему дорог, находит в себе решимость окоротить клевету, а о собственных невзгодах помалкивает, речь идет об очень хорошем, даже редкостном человеке.

Некогда чета Вайлей — Петя и Эля — показывали нам с женой Италию. Жили в дешевых отелях, гуляли до изнеможения, перекусывали на ходу. Тогда, в Риме, мы набрели на невзрачную, величиной с большую московскую квартиру, площадь с облупленной колонной не по центру. Чем-то мне это место глянулось, видимо, своей "невзрачностью", которая впечатляла сильней апробированных итальянских красот. Через год или два Петр прислал мне фотографию "моей" площади — Piazza de Massimi, она и сейчас у меня за стеклом книжного шкафа. И, разумеется, двенадцать лет спустя, нынешним августом, в Риме, под проливным дождем — только-только я с острой грустью вспомнил Вайля, — ноги сами вынесли меня на эту "пьяццу". Теперь-то я ее при случае мигом найду: она, как оказалось, вплотную примыкает к знаменитой Piazza Navona..

Два года назад, готовя двухтомник прозы и стихов к печати, я обратил внимание на анекдотически-сентиментальную симметрию посвящений в обеих книжках и заменил "Петра Вайля" инициалами. Если когда-нибудь предложат переиздание, восстановлю как было: пусть это имя украшает и мои писания тоже...

Петр Вайль

Последний трубадур: Симоне Мартини

Семнадцать лет и семьдесят километров отделяют Симоне Мартини от Джотто. Всего-то: Симоне родился в 1284 году в Сиене, строго на юг от Флоренции, в окрестностях которой в 1267-м появился на свет Джотто, на том же 11-м (с минутами) меридиане. Час на машине, даже с учетом трафика. Ничего общего у них, кроме того, что оба гении.

Вообще в культуре такая парность противоположностей весьма плодотворна и для текущего процесса, и для последующего восприятия. В сопоставлении они предстают ярче и понятнее: Толстой – Достоевский, Есенин – Маяковский, Эйзенштейн – Довженко. Примечательно, что различия этих названных художников нам ясны: мы ведь не сомневаемся в разнообразии творческой жизни близких к нам времен. Но вот резкий контраст современников-соседей, отстоящих от нас на семь столетий, – почему-то поражает – объяснимое и неоправданное высокомерие потомков.

Симоне был другой во всем. Этому пытаются найти объяснения: Сиена лежала на торговых и паломнических путях из Северной Европы в Рим, была важным перевалочным пунктом, и сюда – скорее, чем в какой-нибудь иной итальянский город, – приходили художественные новинки из Франции, из Бургундии. Но в ту дотиражную эпоху ничто, кроме книжных миниатюр и поделок из слоновой кости, не перемещалось на большие расстояния. Сомнительно, чтобы такие мелочи, пусть и искусные, могли породить стиль и мировоззрение. Тем более что первые работы Симоне, хранящиеся теперь в Сиенской пинакотеке, ничего необычного не предвещают. Он стал таким, каким мы его знаем, в 1315 году, когда ему было уже за тридцать.

В этом году Симоне написал для сиенского Палаццо Пубблико – муниципалитета – огромную фреску "Маэста" (Мадонна на троне со святыми и ангелами). Сакральная тема в светском учреждении – вовсе не уподобление гражданского здания собору, а напоминание о мудрости и справедливости принимаемых решений. В сиенском кафедрале уже была "Маэста" Дуччо ди Буонисенья (сейчас она в Му-

© Петр Вайль, наследники, 2010

зее собора) — и новая составляла ей пару, подчеркивая общие цели духовной и мирской властей. Для непонятливых на ступенях трона слова: "Возлюбленные Мои, помните, что благочестивые молитвы, с которыми обращаетесь ко Мне, будут услышаны; но, если сильных мира сего одолевают слабости, отягощая их грехом и позором, тогда молитвы ваши не помогут этим людям, не помогут тем, кто предает Мою землю".

На раме внизу — надпись опять-таки от имени Богоматери, которая заканчивается так: "Рукой Симоне Сиена изобразила Меня". С этого момента и надо вести отсчет Симоне Мартини.

Быть может, до тех пор он не решался высказаться со всей откровенностью: надо было наработать авторитет. Признание и престижный заказ прибавили смелости проявить свой вкус. Так или иначе, "Маэста" явила того Симоне, которым он оставался почти три десятилетия, до своей смерти в 1344 году.

Все выписано предельно тщательно: исследования показали, что Симоне даже в стенных росписях работал маленькими кистями, словно миниатюрист, — очень медленно. Да еще вставлял в стену кусочки цветного стекла.

Главное: Мадонна в "Маэста" — такая светская, что Джотто бы перекрестился, увидав. В элегантном зеленовато-золотистом вышитом платье с накидкой она выглядит королевой, а нарядные ангелы и святые — ее придворными. Не Богоматерь, а какая-то Джиневра из артуровских легенд.

Через два года приглашенный к неаполитанскому, по своему духу и этикету — французскому, двору Роберта Анжуйского, Симоне продолжает эту светскость, ставя новую веху в европейском искусстве, создав первую мирскую икону в Италии, да еще с явным политическим "месседжем" (хранится в музее Каподимонте в Неаполе).

Роберт получил корону из рук своего старшего брата Людовика, который отказался от трона, выбрав монашескую жизнь, вступив во францисканский орден и став епископом Тулузским. Алтарь, созданный Симоне, призван был на церковном уровне подтвердить легитимность власти короля: он не узурпировал корону, а принял ее от брата. Это и изобразил Симоне Мартини — двух рыцарей: одного большого коронующего, другого маленького коленопреклоненного.

В алтарной пределле из пяти сцен в четвертой — "Отпевании св. Людовика Тулузского" — явлена роскошная церемония, чего в действительности не было: его похоронили очень скромно. Но Симоне, во-первых, нравилась роскошь, во-вторых, тогда так было нужно, и он это выучил твердо. Ведь непосредственно перед Неаполем была роспись в Ассизи.

Капелла в Нижней церкви Сан-Франческо — главное достижение Симоне Мартини. По крайней мере, из доставшихся нам. В Сиене, Орвието, Пизе, Неаполе — отдельные работы. В Авиньоне — остатки бледных штрихов, имеющих лишь историческую ценность. А в Ассизи — целая капелла с житием св. Мартина: десять эпизодов, плюс изображения отдельных святых, да еще витражи.

Ассизская базилика делится четко надвое: сумрачная Нижняя церковь, светлая Верхняя. Подъем по непростому маршруту через разные лестницы из Нижней в Верхнюю — перемещение из мрака к солнцу. Наверху почему-то не следят за уровнем шума — видно, больше места, меньше святости. Внизу, как только шепот, бормотание, переговоры вполголоса превышают предписанную норму, тут же через громкоговорители звучит голос: "Silenzio, per favore!" Однажды мы были там в Страстную пятницу, и в центре Нижнего храма к лежащей статуе Иисуса Христа поочередно подходили богомольцы, а вечером ее подняли и понесли к кафедральному собору. Еще этажом ниже, у гробницы св. Франциска, — люди с Евангелиями и гимнами: в медитации. Здесь и не надо ничего объявлять: тишина соблюдается сама собой.

Во всей этой тусклой святости Нижней церкви как светлое пятно (правда, свинцовые белила за века потемнели, увы) — капелла св. Мартина с куртуазным, французским, рыцарским Симоне Мартини.

Здесь он — стоит повториться — и самовыражался, и выполнял как минимум социальный, если не прямой идеологический заказ.

Св. Франциск умер почти за век до этого (в 1226 году), и за минувшее столетие францисканский орден изменился сильно. Уже непосредственный преемник святого, брат Илья, зажил с нескрываемой роскошью. Последователи продолжили. Внутри ордена шла борьба спиритуалов и конвентуалов: последние стали одним из богатейших монашеских братств Европы. Спиритуалы, боровшиеся за заветы нищенства, провозглашенные св. Франциском, резали глаз живым укором. К тому времени, когда Симоне работал в Ассизи, папа Иоанн XXII издал несколько булл, отрицающих идею принципиальной бедности Христа.

Да, действительно, Иисус никогда не просил милостыни — а это было главным источником существования францисканцев "первого призыва". Богослов и поэт Жан де Мен, автор "Романа о Розе", писал: "Ни в одном законе не писано, будто Иисуса Христа, странствующего с Его учениками, видели побирающимся... Крепкий телом человек, коли у него нет средств, должен зарабатывать на жизнь своими руками, даже если он принадлежит к духовному званию или желает служить Богу". Суть проповедей св. Франциска стушевывалась перед наглядным попро-

шайничеством, оскорбляющим взор труженика.

Однако францисканская идея бедности, отсутствия собственности и своего жилья легко вычитывалась из Евангелия. Отправляя апостолов возвещать слово Божие, Иисус регламентирует обмундирование посланцев: "Ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха" (Мф. 10:10). Впрочем, есть разночтения. У Марка: "...Ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха... обуваться в простую обувь и не носить двух одежд" (Мк. 6:8–9). У Луки: "...Ни посоха, ни сумы... и не имейте по две одежды" (Лк. 9:3). Если суммировать, получится, что запрет на сменку и суму восприняли все, а самым либеральным оказался св. Марк: можно посох и обувь.

Капеллу св. Мартина заказал кардинал Джентиле Партине да Монтефьоре, папский легат в Умбрии, один из основных гонителей спиритуалов да к тому же близкий к Анжуйскому дому.

Понятно, как развернулся со своим рыцарством и изыском Симоне. Ведь нобилем и воином был и герой – св. Мартин Турский. Сам выбор рыцаря-святого, а не народного святого, как в житии св. Франциска работы Джотто в Верхней церкви, всего этажом выше и четвертью века раньше, – характерен и для наступившего времени, и для автора фресок.

Св. Мартин родился в IV веке в Паннонии (нынешней Венгрии), служил офицером в Галлии, там поделился плащом с мерзнущим нищим – поделился буквально, разрезав мечом, – частый сюжет у живописцев Возрождения. Потом стал отшельником, после епископом, крестил язычников-кельтов. Его житие, составленное Сульпицием Севером, стало образцом для сотен позднейших агиографий и долго было вторым после Евангелия источником христианского знания. Во Франции и Германии св. Мартин – общенародный святой. Когда он умер, хотя стоял ноябрь, запели птицы и зацвели цветы. Заметим: плащ, аскеза, птицы – общее со св. Франциском.

В сцене "Христос является во сне св. Мартину" Мартин пребывает почти в роскоши (вопреки житию святого). Больше всего живописной площади у Симоне занимают одеяло, сундук и занавес – все богато и вычурно отделанное, все по моде того времени.

В сцене "Посвящение св. Мартина в рыцари" художник воспользовался возможностью показать придворный быт и ритуал. Император Юлиан опоясывает Мартина мечом, на него одевают шпоры. Предположительно, сам Симоне Мартини был возведен в рыцарство королем Робертом, так что не исключено, что здесь изображена подлинная церемония неаполитанского двора.

Церемониал посвящения в рыцари сформировался к XII

веку. Состоял он из четырех этапов: исповедь и ночное бдение над оружием, причастие, вручение оружия, празднество. У Симоне — третья часть: вооружение посвященного. За кадром остается ритуал colee из того же этапа — сильный удар кулаком или ребром ладони по основанию шеи нового рыцаря (позже, в наше время тоже, это превратилось в легкое прикосновение клинком к плечу). Можно предположить, что кардинал Монтефьоре и художник решили не показывать святого, получающего по шее.

Зато есть начало четвертой части церемониала — празднества: музыканты уже тут. Один из них — тот, что с двумя дудками во рту — определен экспертами как венгр: возможно, это след путешествия Симоне в Буду в свите кардинала Монтефьоре. Как раз в начале XIV века к власти в Венгрии пришла Анжуйская династия (а в Ужгороде надолго воцарились неаполитанские графы Другеты).

Но самый любопытный персонаж — в сцене "Чудо воскрешения мальчика". На фоне зубчатой башни, в которой угадывается тогдашний облик сиенского Палаццо Пубблико (хотя чудо произошло в Шартре), стоят два рыцаря. Один из них, неказистой внешности, с опущенными уголками губ, крайне скептически глядит на чудо — так, что второй смотрит на него с неодобрительным удивлением. Многие знатоки считают, что неприглядный скептик в синей шапке — автопортрет Симоне Мартини. Петрарка ведь назвал его "выдающимся, но некрасивым живописцем".

Вся капелла св. Мартина — результат сближения рыцарства и духовенства. Крестовые походы XI–XIII веков стали показательным проявлением христианской доблести. Францисканцы занимались вербовкой воинов.

Хотя и тут явное противоречие — ведь св. Мартин отказался воевать, что изображено в одной из сцен в капелле: она и называется "Отречение от оружия". История из жития святого увлекательна.

"Перед битвой с алеманнами Мартин выступил вперед и смело сказал своему военачальнику: 'Кесарь! Доселе я служил у тебя в коннице, но теперь позволь мне вступить на служение Богу. Я — воин Христов и посему не должен более сражаться за тебя'. — 'Ты — трус, Мартин, — с упреком отвечал разгневанный Юлиан. — Завтра состоится битва. И вот, страх битвы, а не страх Божий заставляет тебя уклоняться от службы'. Но Мартин смело продолжал: 'Если ты принимаешь мое отречение за трусость, а не за верность, то поставь меня завтра одного без всякого оружия в самом опасном месте битвы. Тогда ты увидишь, что без всякого оружия, с одним только именем Христа и знамением Его святого Креста, я безбоязненно буду наступать на ряды неприятеля'. — 'Пусть будет

так', – сказал Юлиан и приказал отдать Мартина до следующего дня под стражу. На другой день алеманны при виде прекрасно устроенного войска Юлиана отправили к нему для мирных переговоров послов с предложением полной покорности. Мир был заключен. После сего Мартин был освобожден от своей военной присяги и поспешил немедленно оставить войско".

На фреске Симоне святой еще в рыцарском облачении, но держит уже не меч, но крест. В общем, он хоть и является покровителем воинов, по-настоящему должен бы считаться небесным патроном хиппи и прочих пацифистов, но дело ведь всегда в трактовке, решительно зависящей от времени.

Зато мирным и благостным выглядит окружающий базилику Сан-Франческо город Ассизи: весь – из светлого камня. Разместившийся на склоне горы Субасио его средневековый центр – один из самых нетронуто сохранившихся в Европе. Какое количество писавших о нем начинали так: "Кажется, время тут остановилось". Пошлость материализовалась: вокзал в Ассизи без часов, – нигде такого не видал. Бог знает, может, и впрямь здесь время должно течь по-особому.

По улицам взбираешься по-альпинистски, утешая себя тем, что потом-то непременно двинешься под уклон, но за спуском – новый подъем, однако вознагражденный красотами. Фасад кафедрала Сан-Руфино – бело-розовый пряник. Чудный образец романской архитектуры: примитив лучшего вида – как детская игрушка или сласть. Продолжая кулинарную тему: в лавках продается местный сыр с трюфелями и красным перцем – Viagra d'Assisi, остроумно.

В церкви Санта-Кьяра – крест, который когда-то заговорил с Франциском. С тех пор молчит. Тут же – листочки с молитвой, составленной будущим святым в 1206 году, после того как он услышал слова, исходившие от креста: "Франциск, иди и восстанови дом Мой". Тексты на разных языках. Русского перевода в церкви нет, но он приведен в книжке, продающейся в магазине Францисканского общества. Издано в Москве в 1995 году. "Всевышний Боже славный, освети тьму сердца моего и дай мне истинную веру, ясную надежду и совершенную любовь, разумение и познание, Господи, чтобы исполнил я Твое святое и истинное призвание".

Поэтично и лаконично – что нечасто сопутствует одно другому. Он был очень хорошим поэтом, Франциск Ассизский. Сын местного зажиточного горожанина и француженки, с ранних лет сочинял стихи и стал трубадуром. Потом писал на устанавливающемся итальянском языке, но поначалу, судя по всему, по-французски, точнее – по-провансальски, коль скоро трубадуры – явление Прованса XI–XIII веков.

По-русски им не повезло с названием. Даже когда знаешь, в чем дело, перед умственным взором невольно возникает нечто медное, задранное вверх для побудки. Хотя труба здесь ни при чем: trobar – слагать стихи.

Поэзия трубадуров неразрывно связана с рыцарством. Из окна замка выглядывала воспеваемая Прекрасная Дама, недоступная и не очень-то практически желанная, если учесть, что это ее муж обеспечивал стихотворцу приличный уровень жизни при своем дворе. На манер рыцарских устраивались поэтические турниры. Альбигойские войны, разорившие в начале XIII века Прованс, покончили с трубадурами. До нас дошли сведения о четырех сотнях этих поэтов. Известнейший из них, Бертран де Борн, умер в 1215 году – его стихи, конечно, знал Франциск, родившийся в 1181-м.

Он водился с золотой молодежью, и биографы увлеченно говорят о его пристрастии к роскоши и развлечениям – чтобы создать контраст последующей аскезе. Франциск и в юности был совестлив и одаривал нищих, но первый настоящий переворот в его душе произошел в плену, куда он попал во время войны с Перуджей. Второй – по возвращении, в тяжелой болезни. Третий вызван видением, побудившим его покончить с прежней жизнью. И, наконец, призыв говорящего креста завершил обращение.

В базилике Сан-Франческо в Ассизи не отделаться от ощущения, что на фресках Джотто в Верхней церкви – Франциск второго этапа жизни, а у Симоне в Нижней – первого. Хотя у него там св. Мартин Турский, но храм-то – во имя св. Франциска Ассизского, не сопоставить стиль и суть – невозможно, как и жития обоих святых. Безусловно, Симоне Мартини подхватил то, что забросил Франциск, – поэзию трубадуров.

Оттого он и выделяется так среди современников.

А в Ассизи выделиться трудно: базилику св. Франциска, помимо Симоне и Джотто, расписывали еще Чимабуэ и Пьетро Лоренцетти. Эта мощная квадрига затоптала всех возможных соперников. Уцелели лишь какие-то безымянные обломки: Мастер Санта-Кьяра, например, а как по имени-отчеству – неведомо. Открытие поджидает только в стороне от мощного вала первостатейных талантов, в низине, в пяти километрах от самого Ассизи – там Порциункола (Porziuincola): церковь Санта-Мария-дельи-Анджели.

День уже клонится к вечеру, а по широкой площади все подходит и подходит народ. Бердяев, чтивший св. Франциска, горевал, что его места оставляют впечатление заброшенности. Бердяев бывал тут век назад, посмотрел бы сейчас: заполнена вся гигантская, седьмая по размеру в мире церковь, построенная вокруг двух келий св. Франциска. В

Страстную пятницу, разумеется, преобладают паломники, но и в любое другое время здесь хватает туристов. Павел Муратов, который был тут примерно в те же годы, что Бердяев, как раз досадует на обилие посетителей, нарушающих благостность здешних мест. Как же все субъективно и относительно. Можно себе представить, что такое "много народу" в начале XX века, и что — в начале XXI. Впервые я попал в Ассизи в сентябре 1977 года: по сравнению с нынешними временами — тишь и безлюдье.

Одна келья в Санта-Мария-дельи-Анджели, в которой святой жил и которая явилась ядром всего францисканского ордена — капелла делла Порциункола. Это означает "маленькая часть", "маленькая порция" или, как говорили у нас в армии — "порцайка". Вторая — капелла дель Транзито: имеется в виду переход в другой мир. В ней св. Франциск умер 4 октября 1226 года. А дальше, в глубине церкви, за коридорами, открывается зеленый дворик — остаток того леса, в котором Франциск беседовал с птицами и именно здесь встречался со св. Антонием Падуанским.

Здесь же — капелла дель Розето: Розового сада. Речь идет о том, как мучимый искушениями плоти Франциск, сорвав одежду, бросился в розовый куст, но тот вовремя свернул шипы и не поранил святого. Нечто подобное произошло семью столетиями раньше со св. Бенедиктом (устав его ордена стал образцом для всего европейского монашества), который ринулся в заросли шиповника и крапивы, чтобы загасить вспыхнувшую при виде женщины похоть. Правда, тогда флора не

Покаяние девочки. Ассизи. март 2008 г.

стала сотрудничать со святым, но цель была достигнута. Как выразился папа Григорий Великий: "Через раны тела он исцелил в себе раны души". Представляется правильным, что растение оказалось милосердным к Франциску. Самый обаятельный святой христианского мира, он жил в единстве с природой, был ее подлинной частью, как мало кому дается, как, может быть, существовал древний, еще не осознающий себя отдельной личностью человек, который опускал руку в воду и не различал толком — где рука, где рыба, где река.

Капеллу Розето расписал Тиберио д'Ассизи — то открытие, которое ждет тебя здесь. Художник, которого в действительности звали Тиберио ди Диоталлеви, родился в Ассизи в 1460-е годы, здесь же и умер в возрасте около шестидесяти, работал в Умбрии и Риме, учился у Перуджино и Пинтуриккио. На первого Тиберио совсем не похож, второго несколько напоминает, но он нежнее, скромнее, прозрачнее. Как верно, что именно он расписал капеллу, посвященную св. Франциску. Среди семи сцен есть и "Чудо розового куста" с растерянным и смущенным святым и стоящими перед ним двумя ангелами — на фоне узнаваемого умбрийского пейзажа.

По красоте ландшафта, по той натуральности, с которой рукотворное здесь вписано в природное, Умбрия занимает второе в Италии место после непревзойденной Тосканы. Изящно написал об окрестностях Ассизи Михаил Кузмин:

> Месяц молочный спустился
> так низко,
> Словно рукой его можно
> достать.
> Цветики милые
> братца Франциска,
> Где же вам иначе расцветать?
> Умбрия, матерь задумчивых
> далей,
> Ангелы лучшей страны
> не видали.

Такая Умбрия предстает на фресках Тиберио д'Ассизи. Его радостно встречаешь как уже доброго знакомого немного южнее Ассизи, под Монтефалько. Километрах в двух от городка — монастырь Сан-Фортунато, куда добираешься, чтобы посмотреть на работы Беноццо Гоццоли, а там еще, в монастырском портике, и он — Тиберио. Снова св. Франциск, снова умбрийские виды, снова сдержанная прелесть письма.

Какой же звездопад талантов обрушился на Италию в те времена! В "Справочнике художников итальянского Ренессанса" перечислены более 1200 человек, но и он не полон — по крайней мере, я не смог найти в нем как минимум трех-четырех имен отличных мастеров, которых видел в путешествиях по стране. Такая земля.

Возле церкви Санта-Мария-дельи-Анджели, Порциункола — большой францисканский книжный магазин, где я и купил сочинения св. Франциска по-русски. Монахи это-

го ордена появились в России еще в XIII веке. Плано Карпини был проездом: его отправили в 1245 году с письмом папы "царю и народу тартарскому", но Батый письма не принял. Карпини встречался в ханской ставке с отцом Александра Невского – князем Ярославом Всеволодовичем. Через несколько лет со сходной миссией, но уже по поручению французского короля Людовика IX, проехал через русские земли францисканец Гийом Рубрук – о его поездке написал поэму Николай Заболоцкий. В Москве первым из этого ордена оказался епископ Иоанн Франциск, которого в 1526 году принял великий князь Василий III. К францисканцам благосклонно относились Петр I и Екатерина II. В XIX веке в Смоленске и Москве, в Сокольниках, были францисканские монастыри. В 20-е годы следующего века орден помогал голодающим Поволжья. С 1993 года в Москве работает миссия конвентуалов, церкви и монастыри есть в разных местах России, даже в Сибири.

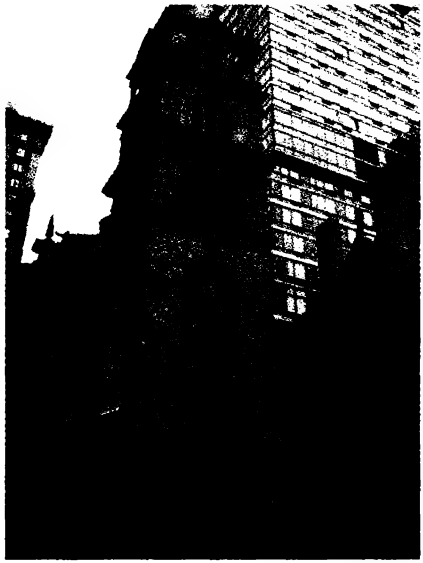
В книге "Святой Франциск Ассизский. Сочинения" в русском переводе – наставления, послания, молитвы, гимны. Во всем сквозит не просто смирение, но смирение радостное. "Рай вокруг нас", – говорил святой. Бертран Рассел пишет: "Франциск никогда не обнаруживал чувства превосходства, даже по отношению к самым униженным и дурным людям. Фома из Челано говорил о Франциске, что он был больше, чем святым среди святых; среди грешников он также был одним из своих". Из наших, значит.

Все связанные со св. Франциском места несут отпечаток его личности, все так или иначе живописны. Не зря же именно францисканцы первыми стали заказывать повествовательные церковные росписи, привлекая лучших мастеров для сочинения познавательных и поэтичных стенных рассказов – в первую очередь, жития св. Франциска, но и других тоже (св. Мартина в Ассизи, например).

Уютен и завораживающе красив островок Сан-Франческо-дель-Дезерто в Венецианской лагуне. Он целиком покрыт кипарисами, в летний день в ветвях оглушительно звенят цикады, и это единственный шум на острове. Св. Франциск высадился здесь в 1220 году, когда возвращался в Италию из Египта, где отважно проповедовал перед султаном, оборонявшимся от крестоносцев. Сегодня любезный монах, отвечающий за public relations, проводит по монастырю XIII века. В саду – диковинный монумент в честь святого: из венецианских причальных свай (брикола). Из сада – вид на остров кружевниц Бурано, с его наклонной колокольней, веселыми пестрыми домиками.

Даже в самом центре Нью-Йорка церковь св. Франциска Ассизского не теряет фирменного францисканства – на

манхэттенской 31-й стрит, в двух шагах от стадиона Мэдисон-Сквер-гарден и Пенсильванского вокзала. Если задрать голову, виден шпиль Эмпайр-Стейт-билдинга. Зажатая между зданиями в 20 и 52 этажа, изящная церковь заметна, только когда подходишь к ней вплотную. Там два помещения, одно из которых во время службы заполнено корей-



Церковь св. Франциска Ассизского в Нью-Йорке

цами: францисканцы всегда были неутомимыми миссионерами. О корнях напоминает мозаика на фасаде: под образом святого — изображение базилики в Ассизи.

От Ассизи всего в четырех километрах — но эти четыре километра круто вверх — скит, где молился св. Франциск с братьями. Называется Eremo delle Carceri — дословно Тюремный скит: монахи имели в виду, что удаляются сюда в добровольное заточение от мира. Это склон горы Субасио. До вершины — 1290 метров — еще далеко, но ощущение безошибочно горное. Маленькая церковка XV века. Свищет ветер, качаются клены и дубы, птиц разнесло ветром, дикость и диво. Пешком туда идут только отдельные энтузиасты и отряды каких-то религиозных скаутов в коротких штанах. У каменных алтарей св. Франциска — потешный процесс покаяния окруженной подругами девочки: игра, со смехом, без звериной серьезности, Франциск бы одобрил.

Каким-то странным образом я вспомнил здесь чеховский пассаж из "Дамы с собачкой", а вернувшись домой, перечитал: все верно.

...однообразный, глухой шум моря, доносившийся снизу, говорил о покое, о вечном сне, который ожидает нас. Так шумело внизу, когда еще тут не было ни Ялты, ни Ореанды, теперь шумит и будет шуметь так же равнодушно и глухо, когда нас не будет. И в этом постоянстве, в полном равнодушии к жизни и смерти каждого из нас кроется, быть может, залог нашего вечного спасения, непрерывного движения жизни на земле, непрерывного совершенства. <...> ...как, в сущности, если вдуматься, все прекрасно на этом свете, все, кроме того, что мы сами мыслим и делаем, когда забываем о высших целях бытия, о своем человеческом достоинстве.

Вместо моря на Субасио так же шумящий, по-дантовски

шумящий, лес, и тоже откуда-то снизу, но и со всех сторон тоже. Франциск наверняка заговорил бы с собачкой: он знал эти языки. Но и с чеховским героем, и с Чеховым самим тоже нашел бы общий язык — это пантеизм, конечно. Слово "равнодушие" здесь не должно смущать — речь о независимости мира от нас, людей (об этом выразительно — и у Тютчева, Баратынского, Заболоцкого). Правоверный католик отшатнется от пантеизма св. Франциска, но что есть его гимны брату-Солнцу и сестре-Луне, что есть его почти физическое, до диффузии доходящее, соединение с природой в умбрийских холмах, что есть проповедь птицам, наконец? Мой нью-йоркский приятель Вагрич Бахчанян как-то заметил: жаль, что Франциск не проповедовал попугаям — была бы звукозапись его речей. Вот относительно достоверный портрет у нас есть — один: в Субиако, в бенедиктинском монастыре неподалеку от Рима. Он написан через два года после смерти святого, по свежей памяти. Ничего истового, аскетического: мягкие очертания лица, тяжеловатый подбородок, простодушный взгляд. Похоже, от рождения, от природы он не был предрасположен природой стать тем, кем захотел стать и стал усилием воли и ума.

На временной дистанции св. Франциск, действительно, обаятелен и светел. Но попасть с ним в компанию было, надо думать, непростым испытанием. Жестоко требовательный к себе, он и других донимал попреком: по-другому не бывает в человеческой натуре. И все же этот аскет умел и любил улыбаться.

Улыбка, приветливость, жизнерадостность Франциска Ассизского запечатлелись в образах Симоне Мартини, в его "новом сладостном стиле" (итальянская поэтическая школа, возникшая в конце XIII века). Не только во фресках базилики в Ассизи, но и в полиптихе для пизанского монастыря Санта-Катерина — это его самая крупная работа: 43 фигуры святых в четыре ряда (сейчас в Национальном музее Пизы Сан-Маттео), и в другом полиптихе, в Орвието (в Музее собора). И — нагляднее, великолепнее всего — в "Благовещении".

После странствий по городам Италии Симоне вернулся в Сиену. Здесь он женился на дочери художника Меммо ди Филиппуччо — Джованне. В лице ее брата, Липпо Мемми, приобрел друга и соавтора. Тесть и шурин Симоне были сильными живописцами — о них мы еще вспомним в Сан-Джиминьяно, где хранятся очень интересные их работы.

Муниципальные документы подтверждают, что Симоне неплохо заработал на выезде: еще до женитьбы купил дом у своего будущего тестя, а невесте преподнес свадебный подарок, так называемый propter nupitas — 220 золотых флоринов. Это крупная сумма, раза в три превышающая, на-

пример, его гонорар за большую фреску для Палаццо Пубблико. Вообще, женившийся уже сорокалетним, Симоне человеком оказался семейственным. По завещанию, составленному 30 июня 1344 года, перед смертью, он оставил все имущество – два дома, земли под виноградниками, немалые денежные сбережения – жене и племянникам. Своих детей у Симоне и Джованны не было. Можно не сомневаться, что жена его любила. Шестидесятилетний Симоне Мартини умер в Авиньоне, и, когда Джованна через три года возвратилась в Сиену, она все еще носила траур.

Вместе с шурином Липпо Мемми в 1333 году было написано для капеллы Сант-Ансано сиенского собора "Благовещение", украшающее сейчас флорентийскую галерею Уффици. "Украшающее" – в самом прямом смысле, потому что нет на свете наряднее, ярче и праздничнее Благовещения. Сплошь золотой фон доски размером 2,65 на 3,05 метра с пятью острыми резными навершиями, и на нем – четко прорисованные фигуры. Предположительно св. Джулитту (справа) написал Липпо, остальное – Симоне Мартини. Красочность, самым непосредственным образом поднимающая настроение. Всякий раз, оказываясь в Уффици, я наблюдаю в этом зале № 3, как улыбаются подошедшие к картине люди – исключений не бывает.

Симоне выбрал один миг из эпизода Благовещения – потрясение Марии после слов архангела "Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами". Далее в Евангелии от Луки говорится: "Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие" (Лк. 1:29). Это и изображено. Архангел еще не сообщил главного – "...зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус; Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего..." (Лк. 1:31–32), – но Мария уже понимает, что сейчас услышит нечто необыкновенное, и полуотворачивается от небесного посланца, застенчиво прикрываясь накидкой. На лице – еще не радость, но напряженное ожидание.

Во второй сиенский период Симоне проявил и свой повествовательный дар, так ярко проявленный в капелле св. Мартина в Ассизи. В Национальной пинакотеке Сиены – алтарь блаженного Агостино Новелло, прежде находившийся в церкви Сант-Агостино, за южными воротами города, у нынешнего ботанического сада. Вокруг центрального образа – четыре чуда, явленные Агостино. Подробная живость городской жизни в боковых сценах алтаря – особенно там, где на тесной улице блаженный, словно Супермен из мультфильма, подхватывает в воздухе падающего с балкона ребенка. Три сцены из четырех – спасение детей: безошибочный расчет на восхищение и почитание. Приор августинского ордена Агостино Новел-

ло умер в 1309-м, и город выделил большую сумму на прославление его жизни. Симоне, скорее всего, был знаком с ним или, по крайней мере, его видел: центральный образ индивидуален и, возможно, портретен.

Самая, вероятно, известная вещь Симоне Мартини – фреска в сиенском Палаццо Пубблико: "Гвидориччо да Фольяно". Растиражированная миллионами репродукций, она не теряет своего проникающего воздействия. И можно догадаться, почему: особенно в наши времена. Это – портрет одиночества.

Сиенский полководец едет между крепостями Монтемасси и Сассофорте на фоне темно-синего неба, по холмистому полю, и в волнистую линию горизонта вписываются очертания холки и крупа его коня. Пейзаж пустынен, что усиливает горизонтальность фрески – девять с лишним метров в длину, три в высоту. Герой – один в широком долгом пространстве.

В эпическое произведение наблюдателю обычно вписаться трудно: можно лишь постоять в сторонке, поглядеть заинтересованно. А тут – безошибочное чувство причастности к происходящему на твоих глазах. Стирание прошедших столетий.

Красоты в облике самого военачальника нет: крючковатый нос, толстые щеки, заметный животик, какой-то клоунский наряд с черными ромбами по желтому фону, да еще совпадающий с конским облачением. Но это все и приближает образ.

Гвидориччо в 1328 году одержал победу над Каструччо Кастракани (об этом славном кондотьере много пишет в "Истории Флоренции" Никколо Макиавелли). По Симоне выходит, что он победил один, один и освободил изображенные на фреске города. Это – самурайско-ковбойская поэтика. Она же – тема странствующего рыцаря. Человеческое самостояние в своем предельном проявлении.

Жизнь Симоне Мартини завершилась в Авиньоне, где он провел последние восемь лет. Римские папы находились как бы под арестом у французских королей, в истории оставшемся как "авиньонское пленение пап", с 1309 до 1378 годы. Вазари сообщает: "Он с настойчивостью величайшей был приглашен в Авиньон ко двору папы, где он выполнил столько живописных работ фреской и на досках, что творения его оправдывают его славу, распространившуюся столь далеко". Там Симоне, вероятно, получил при папе Бенедикте XII какую-то доходную синекуру, вроде петрарковской. Во всяком случае, был активен и влиятелен. Блеклые следы его фресок слегка видны в папском дворце – в частности, в украшении рыбного пруда Оленьего зала.

Именно по двум сонетам Петрарки, написанным в ноябре 1336 года, можно заключить, что прибыл Симоне в главный

город Прованса, родины трубадуров, в начале того года. Приглашение мог организовать кардинал Якопо Стефанески – по его заказу художник расписывал церковь Нотр-Дам-де-Дом в Авиньоне. Это тот самый Стефанески, для которого Джотто написал полиптих в Ватиканском музее.

Покровители у Симоне всегда были высокие. Сам-то он родился в скромной семье мастера ариччио (arriccio) – нижнего слоя штукатурки для фрески: может, оттого и тянулся к высокопоставленным и сильным – королю Неаполитанскому, папе, кардиналам, высшим сиенским властям. Испытывал ностальгию по тому, чего в его родословной не было, – по рыцарству. Не зря у него так часты изображения святых королевской крови, вроде Людовика Французского, Елизаветы Венгерской, Людовика Тулузского.

На полях принадлежавшего Петрарке тома Плиния – в том месте, где говорится, как независимо и на равных древнегреческий художник Апеллес разговаривал с Александром Македонским, – сохранилась запись Петрарки о том, что так же свободно и весело беседовал с правителями Симоне. С Петраркой он подружился по-настоящему, несмотря на то, что был на двадцать лет старше. Помимо общих склонностей к лиризму и музыкальности, оба были итальянцами в Провансе – экспатами, говоря по-сегодняшнему. Впрочем, Авиньон в XIV веке обильно населяли итальянцы, хотя все папы авиньонского периода были французы.

Для Петрарки Симоне проиллюстрировал рукопись Вергилия. Миниатюра (30 на 20 см) – в Амброзианской библиотеке Милана. Светский сюжет – и излюбленный художником светский характер: развалившийся под деревом Вергилий с пером в руке, Эней с копьем, на переднем плане – крестьяне из "Эклог" и "Георгик".

Непреходящая досада и обида, что утрачен портрет Лауры, написанный Симоне. А то, что он запечатлел возлюбленную Петрарки, достоверно известно из двух петрарковских сонетов – 77-го и 78-го. Вазари: "...величайшей удачей было для Симоне то, что он жил во времена мессера Франческо Петрарки и встретил при авиньонском дворе сего нежнейшего поэта, который пожелал иметь изображение мадонны Лауры, исполненное рукой мастера Симоне, и, так как она на портрете оказалась такой же прекрасной, как он желал, он оставил память о Симоне в двух сонетах". Мы их знаем в превосходном переводе В. Левика:

Меж созданных
великим Поликлетом
И гениями всех минувших лет –
Меж лиц прекрасных не было
и нет
Сравнимых с ним,
стократно мной воспетым,

Но мой Симоне был в раю –
он светом
Иных небес подвигнут и согрет,

Иной страны, где та пришла
на свет,
Чей образ обессмертил он
портретом.

Нам этот лик прекрасный
говорит,
Что на Земле — небес
она жилица,
Тех лучших мест, где плотью дух
не скрыт,

И что такой портрет не мог
родиться,
Когда художник
с неземных орбит
Сошел сюда — на смертных жен
дивиться.

И другой:

Когда, восторгом движимый
моим,
Симоне замышлял
свое творенье,
О если б он, в высоком
устремленье,
Дал голос ей и дух чертам
живым.

Я гнал бы грусть,
приглядываясь к ним,
Что любо всем, того я ждал
в волненье,
Хотя дарит она успокоенье
И благостна, как Божий херувим.

Беседой с ней я часто ободрен
И взором неизменно
благосклонным.
Но все без слов... А на заре
времен

Богов благословлял Пигмалион.
Хоть раз бы с ней
блаженствовать, как он
Блаженствовал с кумиром
оживленным.

Как красиво, что Петрарка поставил Симоне вровень с собой: "обессмертил портретом" — словно он сам не сделал это стихами. Нечастое дело в те ранние времена, чтобы творец-литератор согласился поместить на своем уровне ремесленника-живописца. Можно с уверенностью сказать, что Симоне добился такого статуса не только мастерством, но и высоким социальным положением: он был умелым и опытным царедворцем.

Но об этом могли знать находившиеся рядом, как Петрарка. Остальные находились под обаянием его художественной силы.

Влияние Симоне Мартини было огромным на возникновение стиля интернациональной готики, расцветшего во второй половине XIV века, — почти до середины следующего столетия.

Это от Симоне пошли аристократизм, элегантность, обилие мелких очаровательных деталей, отказ от монументальности и торжественности. Достаточно сравнить в одно время написанные во Флоренции "Поклонение волхвов" Джентиле де Фабриано (Уффици) и фрески Мазаччо в капелле Бранкаччи, чтобы понять, почему Джентиле был популярнее и даже влиятельнее. Это уж потом простота и драматизм победили, как всегда суть одолевает стиль на долгой дистанции. Важно то, что через папский Авиньон, францисканский Ассизи, торговую и паломническую Сиену влияние Симоне распространилось по всей Европе: во Францию, Бургундию, Чехию.

Скажем, "Роскошный часослов герцога Берриского" братьев Лимбург – прямое наследие Симоне Мартини.

Последняя его работа создана в 1342 году – это "Святое Семейство", хранящееся в Ливерпуле, в Walker Art Gallery.

Исключительно редкий сюжет – по сути, семейный скандал, известный по Евангелию от Луки. Семья посещала Иерусалим в праздник Пасхи, а когда возвратилась в Назарет, то оказалось, что Иисуса нет. Родители думали, что мальчик шел с другими назаретянами, но в результате выяснилось, что Он остался в Иерусалиме, где беседовал с учителями в храме. Маленький Иисус, ведущий дискуссию со взрослыми богословами, часто изображается в живописи, но Симоне иллюстрирует следующий этап. "...Матерь Его сказала Ему: Чадо! Что Ты сделал с нами? Вот, отец Твой и Я с великой скорбью искали Тебя. Он сказал им: зачем было вам искать Меня? Или вы не знали, что Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему?" (Лк. 2:48–49). В новом русском переводе, как и в некоторых английских версиях, сказано прямо: "в доме Моего Отца". Потом, правда, все закончилось по-семейному хорошо – Иисус из дома Отца Небесного вернулся в дом отца земного: "И Он пошел с ними... в Назарет; и был в повиновении у них" (Лк. 2:51).

Симоне Мартини виртуозно передает мимику и жестикуляцию: протянутая рука и поджатые в попреке губы Марии, весь изогнувшийся в недоумении и негодовании Иосиф, совершенно спокойный, почти надменный подросток Иисус, с чуть прикрытыми глазами, опущенными уголками губ, скрещенными на груди руками.

Все исполнено мягкого юмора и теплоты. Из множества существующих Святых Семейств это – наиболее земное, трогательное, именно что семейное. Франциск – монах-трубадур – был бы доволен работой художника-трубадура.

Джанет Малколм
А кому-то нравится

Перевод с английского Ольги Ольговой и Сергея Щабуцкого

Можно смело сказать, что самым завзятым англоязычным книгочеям "Становление американцев" оказалось не по зубам. В книге (единственном издании) — девятьсот двадцать пять страниц мелким шрифтом. Многие признают ее шедевром модернизма, но углубляться в текст не считают нужным. Собственно, это и не текст, а скорее памятник авторскому трудолюбию, и прочитать его практически невозможно.

Даже исследователи творчества Стайн долгие годы не знали, как подойти к сему фолианту. Почти с гордостью и уж точно безо всякого стыда Эдмунд Уилсон[1] пишет в "Замке Акселя" (1931): "До конца ["Становления американцев"] я не добрался и сомневаюсь, что это вообще возможно... Однообразие ритма, многословие, бесконечные повторы и деепричастные обороты отбивают у читателя охоту следовать за неспешным развитием сюжета и навевают сон". Марианна Мур[1], рецензируя "Становление..." для журнала "The Dial"[2] пятью годами раньше, не решилась открыто признаться в том, что не прочла роман до конца, но, судя по содержанию статьи, вряд ли и она продвинулась дальше пятидесятой страницы.

Друзья Стайн тоже не считали необходимым читать "Становление" целиком. "Разумеется, я полистал некоторые главы, на большее времени не хватило, — без обиняков пишет автору художник Гарри Фелан Гибб в октябре 1925 года. — Когда вещь стоящая, достаточно нескольких страниц, чтобы это понять". С таким же апломбом ему вторит Шервуд Андерсон: "Только вдали от городской суеты я смог наконец

© Janet Malcolm, 2005
© Ольга Ольгова, Сергей Шабуцкий. Перевод, 2010

1. Эдмунд Уилсон (1895–1972) — американский литературный критик, писатель, журналист. "Замок Акселя" — книга очерков по истории европейского символизма. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

1. Марианна Мур (1887–1972) — американский поэт и критик.
2. "The Dial" ("Циферблат") — влиятельный литературный журнал, пытавшийся возродить традиции "Дайл", органа американских трансценденталистов, но просуществовавший всего четыре года (1840–1844).

просмотреть Вашу книгу". Тем друзьям, что все же прочли роман, а не просто его "полистали", сказать было зачастую нечего: "По-моему, это чем-то похоже на Книгу Бытия, — пытается сформулировать свои впечатления от первой части романа Карл Ван Вехтен[1], ставший впоследствии литературным душеприказчиком Стайн. — Что-то в Вас есть библейское, Гертруда. Несомненно, что-то библейское".

С недавних пор в американской академической среде снова заинтересовались творчеством Стайн, и отмахиваться от "Становления..." уже не принято. Теперь от рецензентов требуется знание материала. Ричард Бриджмен[2], который одним из первых не поленился дочитать книгу до конца и блестяще пересказал ее в исследовании "Отрывки из Гертруды Стайн" (1970), не скрывает, что чтение было не из легких: "Автор словно учится водить машину (наблюдая за водителем с пассажирского сиденья). То едет ровно, то резко повернет, рискуя опрокинуться, то выжмет газ, то ударит по тормозам. Всю дорогу только и слышишь, как водитель бормочет под нос проклятия, повторяет правила, сам себя подбадривает, предостерегает, испуганно вскрикивает".

Я долго не могла подступиться к "Становлению американцев". Брала книгу и снова откладывала. Слишком уж тяжелая и толстая, слишком уж мелкий и слепой шрифт. В конце концов, я нашла выход: разрезала ее на шесть частей кухонным ножом. Книга получилась легкой и, если так можно выразиться, удобочитаемой. Вскоре оказалось, что с помощью ножа я невольно выявила ее изначальную стилистическую и тематическую структуру: это не книга, а множество книг. Ее называют романом, а на самом деле это свод пространных рассуждений. О том, в частности, что автор не желает (и не умеет) писать романы.

Рассуждениям предшествует попытка роман все-таки написать, и написать в традициях XIX столетия. Героиня — молодая женщина по имени Джулия Денинг, старшая дочь богатых иммигрантов, американцев в первом поколении, которая на свою погибель собирается выйти замуж за негодяя. Стайн пишет от первого лица — от лица откровенного и наблюдательного рассказчика, который любит отпускать язвительные замечания. Тем не менее первое время она все же придерживается канонов классического романа. На тридцать третьей странице она из этих канонов неожиданно вырывается:

Помните, мой читатель, что для меня на самом деле не может быть ничего подобного. Нет,

1. Карл Ван Вехтен (1880–1964) — американский писатель и фотограф.
2. Ричард Бриджмен (1928–2005) — американский критик.

только эта исписанная грязная бумага, только разлинованные листки, лишь они воспринимают мои мысли. И все же, читатель, помните, даже если и появится для меня нечто подобное, вы и тогда помните – то, что я пишу для вас на обрывках бумаги, понемногу, каждый день, это не обычный роман с сюжетом и диалогами, призванными вас развлечь. Нет, это жизнеописание добропорядочной семьи, жизненный путь, который наши отцы, и матери, и дедушки, и бабушки добропорядочно проходили каждый день, и точно так же понемногу каждый день я переносила этот путь на бумагу... Так слушайте же, я расскажу вам о нас, следите, как я медленно поспешаю, продвигаясь вперед, и прошу вас, полюбите это жизнеописание и саму добропорядочную семью.

Этот отрывок замечателен по многим причинам. Возможно, в первую очередь потому, что Стайн неоднократно упоминает в нем бумагу, на которой пишет. Обращение Стайн к исписанным и грязным разлинованным листкам, равно как и эпатажное заявление Мориса Дени[1], сделанное им в 1890 году ("Запомните: картина – до того как стала боевым конем, обнаженной фигурой или жанровой сценой – была холстом, который покрывали красками в определенном порядке"), – свидетельство новых веяний, именуемых модернизмом. Модернизм воодушевил не только французских художников. Он пришел в литературу, и Стайн – одна из тех, кто встретил его на пороге. Книга – это попытка осмыслить обстоятельства ее написания; с той же целью создавались полотна Сезанна, Пикассо и Матисса. Над книгой витает образ женщины, которая сидит за письменным столом и усердно выполняет ежедневную работу: испещряет буквами чистые листы. Эта женщина и есть подлинная героиня романа. Джулия Дейнинг исчезает из повествования и появится лишь через триста страниц, персонажи сменяют друг друга, но образ писательницы остается. Ее запутанные взаимоотношения с текстом составляют сюжет книги. Читателю уже нет дела до того, что происходит с героями, его все больше занимает, для чего же автор все это написал.

Но вот Стайн обращается к Хёрсландам, семье негодяя, списанной с ее собственной семьи, и стиль повествования меняется. Теперь он напоминает абстрактный язык "Трех жизней", предыдущего произведения писательницы, однако от прежней лаконичности не осталось и следа. Стайн как будто поставила перед собой цель не переходить к следующей теме, не исчерпав предыдущей. Ни о чем не говорится единожды. Каждая тема, как в музыке, повторяется многократно, но с легкими вариа-

1. Морис Дени (1870–1943) – живописец и теоретик французского художественно-литературного течения "Наби".

циями. И вот мы снова и снова читаем о Фанни Хёрсланд, "матери, маленькой, никому не нужной женщине", которая "затерялась меж ними, и они не вспоминали о ней, она угасала у них на глазах, и они не думали о ней, порой они могли быть добры к ней, но для них она словно бы не существовала, потом она умерла, кроткая, маленькая и запуганная — вот и все, что они могли вспомнить о ней".

Мать самой Стайн, Амелия, умерла от рака, когда той было четырнадцать. В "Одной на всех автобиографии" (1937) Стайн пишет: "Моя мать долго болела и не могла передвигаться, поэтому к тому времени, как она умерла, мы уже привыкли обходиться без нее... Я все о ней рассказала в 'Становлении американцев', но это беллетристика, а что толку в беллетристике? Ведь это же было, зачем превращать это в беллетристику?.." И еще: "Какая польза от воспоминаний? Никакой". Вопреки этому утверждению, польза от воспоминаний очевидна: страницы о "никому не нужной" матери — лучшие в книге. Повествуя с помощью иносказания о своей собственной потере, Стайн добивается невиданной выразительности, а само словосочетание "никому не нужная" повторяется так часто, что обретает противоположный смысл.

Эпизоды, относящиеся к Фанни Хёрсланд, — лишь начало головокружительного путешествия, в которое пустилась Стайн. На том этапе никто не взялся бы предсказать, каким странным, если не чудовищным явлением станет эта книга, которую можно дочитать до конца, но невозможно осмыслить. Любому исследователю на всю жизнь хватит двух-трех кусочков этой бесценной руды. И все же одно обобщение сделать можно. "Становление американцев" — произведение мрачное, наполненное страхом смерти, и история Фанни Хёрсланд задает тон всему повествованию. Ни в одной из работ, появившихся после 1911 года, этой тягостной атмосферы нет и в помине. Даже в "Войнах, которые я видела", книге о Второй мировой войне, присутствует доверительная шутливость, с которой обычно ассоциируется у нас творчество Гертруды Стайн. По всей видимости, с помощью "Становления американцев" она пыталась выплеснуть горе и гнев, печаль и сомнения, чтобы стать той Гертрудой Стайн, которую мы знаем. Так рвота иногда приносит облегчение больному. Стайн пришлось излить на читателя эти чувства, чтобы обрести оптимизм и уверенность мастера. Хладнокровие и непринужденность зрелой Стайн пришли на смену безумному, истеричному напору. Чем ближе к финалу, тем меньше "Становление американцев" напоминает роман и тем больше — трясину, затягивающую и автора, и читателя.

Обращаясь к этой самой странной из книг, надо иметь в виду,

что начинала Стайн не как писатель. Она собиралась стать психологом и по совету своего преподавателя Уильяма Джеймса[1] перевелась из Рэдклифа на медицинский факультет при университетской клинике имени Джона Хопкинса[2]. На последнем курсе она провалила выпускные экзамены по нескольким предметам и отказалась их пересдавать. В "Автобиографии Элис Б. Токлас" Стайн вспоминает конец своей медицинской карьеры с шутливым облегчением: "Близкая подруга по имени Мэрион Уокер уговаривала ее в том смысле, что Гертруда, Гертруда, как же права женщин, а Гертруда Стайн отвечала, что ей все надоело"[3]. Тем не менее, интереса к психологии Стайн нисколько не утратила, пожалуй, он даже усилился. Вместе с братом Лео, который приехал к ней в Балтимор и с которым они жили в Париже с 1903 по 1913 год, Стайн увлеченно разбирала личные особенности своих друзей, а потом, для их же пользы разумеется, рассказывала им всю их подноготную.

Из этого хобби развилась та типология характеров, с которой мы впервые встречаемся в "Становлении американцев" на 290-й странице и которая лишает книгу всякого сходства с обычным романом. "Жизнеописание добропорядочной семьи" отходит на второй план. Теперь, помимо (а чаще вместо) Денингов и Хёрсландов, Стайн описывает неких безымянных личностей, причем каждая иллюстрирует один из человеческих типов, встречающихся в мире. Автор предлагает применить к ним нечто вроде линнеевской классификации растений. Согласно Стайн, все люди делятся на два типа: "независимо зависимый" и "зависимо независимый"; "'независимо зависимый' — тот, кто в схватке привык нападать, 'зависимо независимый' — тот, кто в схватке привык защищаться". А кого к какому типу отнести, Стайн определяет, выискивая повторы в их речи. Поначалу волшебная сила озарения заставляет ее ликовать:

> Каждый из них что-то повторяет, и я замечаю это. Мне это нравится, и я об этом говорю. Мне это нравится, и теперь я об этом напишу. Это описание — история моей любви к повторениям. Я их слышу, люблю их, пишу о них... Это их жизнь, я слышу ее в повторениях, и вижу ее, и люблю ее, и я теперь всегда буду писать о ней.

Но триумф ее недолог. Любви к повторам оказывается недостаточно. "У этих двух типов так много подтипов, — убеждается она, — так много у каждого из них способов запу-

1. Уильям Джеймс (1842–1910) — американский философ и психолог, один из основателей прагматизма.
2. Первый женский колледж в Гарвардском университете.
3. Перевод В. Михайлина в кн.: "Автобиография Элис Б. Токлас. Письма. Лекции в Америке". — М.: БСГ-Пресс, 2001.

тывать, притворяться, искажать свое естество, таких сложных, что приводят в замешательство даже меня, знающую, что есть только два типа, и чем больше я о них узнаю, тем больше я прихожу в замешательство". Стайн все яснее осознает, что совершенно не понимает людей, но признаваться себе в этом не хочет:

Видимо, ни у кого никогда ни о ком не будет исчерпывающих сведений. Это открытие удручает, я очень им огорчена. Всегда, слушая что-нибудь, с грустью понимаешь, сколького ты не услышал и не узнал, и, видимо, никогда ни о ком не будет у тебя исчерпывающего представления.

"Мне не дается этот текст... Я волнуюсь, раздражаюсь, и ничего мне не дается". В отчаянии она начинает вводить все более странные элементы в свою систему:

Защитная сущность мужчин и женщин... подобна веществу, у кого-то оно, как я уже говорила, чистое, трепетное и отзывчивое, у кого-то почти деревянное, у кого-то мутное и топкое, у кого-то как жидкая кашица, у кого-то местами твердое, а местами жидкое, у кого-то с дырками, похожими на полыньи, у кого-то как тонкий наст, у кого-то огрубелое и потрескавшееся.

И еще:

Нападающая сущность мне видится веществом не грубым, а бесформенным, не пылью и не грязью, а веществом более однородным, оно может быть вязким, студенистым, клейким или матовым, может быть белым и дрожащим, светлым и пылким, и это так непонятно.

Образы становятся все более отталкивающими:

Каждый тип я определяю по свойствам его вещества: оно бывает темнее, светлее, тоньше, толще, тусклее, яснее, нежнее, грубее, более однородным, менее однородным, как все на земле или где там еще, и всегда чувствую, в ком его больше, в ком его меньше, чем скрепляются сгустки этого вещества, иногда тем же, а иногда чем-то другим... Встречаются натуры цельные, хотя их сущность совершенно аморфна и только оболочка придает им форму.

Антироман превращается в стенограмму нервного расстройства. Автор перестает отличать творческий процесс от физиологических отправлений:

Понимание переполняет меня, и я выпускаю его наружу, иногда с трудом, иногда стремительно, иногда для забавы, иногда во исполнение долга, иногда с блеском, иногда исполняя чью-то волю.

Возможно, ни в какой другой книге читателю так ясно не дают понять, что создавалась она в течение долгого времени, а потому изменчива и непостоянна, как сама жизнь. И в тот момент, когда нам кажется,

что Стайн окончательно потеряла рассудок и никогда не будет конца тарабарщине о каких-то бесформенных сосисках, заменивших действующих лиц, повествование внезапно возвращается к Хёрсландам. Описывается случай из детства Марты Хёрсланд, угрюмой девочки, которой "никто всерьез не интересовался" и в которой мы узнаем черты юной Стайн:

Она была тогда очень маленькой, она бежала, она бежала по улице, и было грязно, и она волокла зонтик, и она плакала. "Сейчас брошу зонтик в грязь", – говорила она, она была тогда очень маленькой, она только поступила в школу. "Сейчас брошу зонтик в грязь", – сказала она, а вокруг не было ни души, и она волокла зонтик и было ей очень обидно, "Сейчас брошу зонтик в грязь", – говорила она, но никто ее не слышал, все убежали вперед, все хотели домой, все ее покинули, "Сейчас брошу зонтик в грязь", – ее охватила ярость, ее охватило отчаянье, "Я бросаю зонтик в грязь", – выкрикнула она и бросила зонтик в грязь, и все для нее закончилось.

На этот эпизод много раз ссылались, в том числе сама писательница. В нем слышны отголоски детства. Но в следующей же фразе Стайн отстраняется от написанного. "Очень трудно передать сущность кого бы то ни было, рассказав случай из его жизни, – пишет она. – Очень трудно распознавать их сущность по их поступкам или по рассказам о них... Поиск истинной сущности в мужчинах и женщинах – работа медленная, а потому верная".

Время от времени Стайн обращается к "поступкам и рассказам о них", и в тексте появляется динамика, словно поезд, который никак не мог разогнаться из-за путевых работ, вырывается на открытый перегон. Стайн снова пытается вернуться к первоначальному замыслу, то есть к написанию романа, и снова досадует, что ничего не получается:

Иногда я почти в отчаянии. Я прекрасно знаю, кто такая мисс Данор, которую я начинаю описывать, я прекрасно знаю, кто такая мисс Чарлз, которую я вскоре начну описывать, я прекрасно знаю, кто такая миссис Редферн, которую я уже описала. Я прекрасно знаю их всех по отдельности, но я почти в отчаянии, поскольку я сомневаюсь, хватит ли мне остроты этого знания [Подчеркнуто автором], чтобы распознать сущность каждой из них. И впадаю в отчаяние. Я теперь все время в отчаянии.

И Толстому, и Диккенсу, и Джейн Остин "остроты знания" вполне хватало. Стайн продолжает считать себя гением, хотя и осознает, что ее техника не позволяет придумывать героев. Но работа кипит: изо дня в день на клочках бумаги появляются все более основательные и неординарные умозаключения. Вскоре она делает еще одно печальное открытие:

Мое воображение не способно создавать ситуации для чужих поступков, я могу рассказать о поступке, только когда его совершили... Я не умею выдумывать поступки.

Иными словами, ей не хватает изобретательности. Она может писать только о том, что случалось с ее знакомыми на самом деле. При этом поприще журналиста, биографа, мемуариста и прочих пишущих людей, лишенных творческой фантазии, — тоже не для нее. Герои "Становления американцев" не похожи ни на литературных героев (попробуйте представить Анну Каренину в виде сыпучего вещества под тонкой оболочкой или Эмму Вудхаус в виде чего-то белого и студенистого), ни на героев очерка, репортажа или мемуаров. Мы видим не их, а только их тени. Стайн не сообщает о них ничего конкретного, мы часто даже не знаем, какого они пола. Никто доселе не писал таких романов, где автор прячет героев от читателя. Стайн словно всматривается в них с большого расстояния и в то же время так отчаянно пытается их понять, что готова едва ли не попробовать их на зуб. Только рассказчица остается полнокровной личностью, достойной симпатии и даже восхищения потрясенного читателя.

Постепенно выясняется, почему писательница с таким исступлением держится за свою странную классификацию. Для нее это своего рода защита от смерти. Смерть вплетена в ткань повествования и в конце концов торжествует в мрачной и таинственной части о злоключениях Дэвида, второго сына Хёрсландов. Сам того не осознавая, беспокойный Дэвид стремится к преждевременной гибели. "Нет ничего окончательней смерти", — мрачно замечает рассказчица посреди повествования. Но уже через несколько страниц утешает себя мыслью, что каждая личность относится к какому-либо классу или виду: "Как радостно, как утешительно думать сейчас о том, что каждый состарится и умрет, думать сейчас о том, что все живое бывает больным, что все живое бывает мертвым". И снова повторяет: "Как радостно, как безгранично радостно, как утешительно знать, что каждый относится к одному из видов мужчин или женщин и что их так много — представителей каждого вида... и то, что каждый когда-нибудь должен умереть, тогда не удручает". Рассказчица не объясняет, каким образом представление о видах помогает преодолеть страх смерти. Мы можем только догадываться, что ей страшнее наблюдать исчезновение отдельной личности, нежели "одного из видов". Однако что бы она ни имела в виду, ее радость и уверенность как всегда недолговечны. "Мне одиноко, слезы наворачиваются на глаза, меня бьет озноб, — пишет она. — Поверьте, это невыносимо, когда не можешь осознать опыт каждо-

го из живущих". Ее типология больше не работает. Теперь она ищет полных и глубоких знаний о каждом, но, разумеется, тщетно: "Я знаю, что я не смогу, я, единственная, кто знает, что значит быть мертвым и не быть живым, я не верю в то, что смогу осознать чужой опыт". И снова рассказчица не хочет объяснить, в чем связь между ее страхом смерти и пониманием того, что она, рассказчица, не всеведуща. Опять остается только догадываться. Впрочем, для нее самой не секрет, что чудовищная путаница ее мыслей попросту непередаваема:

Я имею в виду, я имею в виду, и это не то, что я имею в виду, я имею в виду, что никто не говорит того, что имеет в виду, я имею в виду, что чувствую что-то, я имею в виду, что я имею что-то в виду, и я имею в виду то, о чем никто не думает, не говорит, чего не чувствует и в чем не уверен, я имею в виду, что никто и не может ни думать, ни чувствовать, ни говорить, ни быть уверенным, я имею в виду, что я в этом не уверена, об этом не говорю, не думаю, не чувствую этого, не уверена в этом, я имею в виду, я имею в виду, я знаю, что я имею в виду.

В "Становлении американцев" царит хаос. Стремление к порядку вообще не слишком свойственно Стайн. Примером тому служит письмо 1897 года от ее гарвардского однокурсника Леона Соломонса, которому Стайн послала научную статью:

Стыдно так небрежно излагать свои мысли. На данном этапе беда статьи в том, что читателю приходится докапываться до основных положений. Это ставит в тупик, словно подробная карта огромной страны. Не хватает четкости, перспективы. Ты должна выделить для себя главное и всеми силами стараться донести это до читателя. Так сложилось, что лишние, не относящиеся к делу подробности закрывают от нас суть... Не бойся с ними расставаться... Короче говоря, не надо подражать нашим немецким друзьям, побудь хоть немного француженкой.

Стайн могла "побыть хоть немного француженкой", только став сперва настоящей немкой. "Никогда ничего нельзя выбрасывать", — пишет она в одном из пассажей, посвященных тому, как умопомрачительно трудно наблюдать "целое" через мутный объектив классификации. Она отказывается видеть ясно то, что можно увидеть лишь смутно. Она скорее станет стенать и бить себя в грудь, чем исказит сложные материи видимостью порядка.

Нужно много времени, чтобы прочитать "Становление американцев". Язык Стайн (после того как она принудила себя отказаться от традиционной стилистики, в которой написано начало главы о Денингах) — это не гладкопись, помогающая погрузиться в повествование и забыть, что перед нами текст. В случае со "Становлением..." мы этого не забываем никогда.

Недавно Джон Эшбери[1] рассказал, что много лет притворялся, будто осилил роман (на самом деле он застрял на тридцатой странице), а теперь, наконец, прочитал и пришел в восторг: "Хочется еще, хотя я уже сделал это раза три или четыре, поскольку каждое предложение пришлось перечитывать неоднократно". Язык Стайн привлекает к себе внимание, словно мазки на полотнах модернистов. Он заставляет перечитывать текст. (Я не столь упорна, как Эшбери, поэтому меня хватило только на два раза).

Словарь Стайн мал и беден. Каждое новое слово встречаешь, как нового героя. Это ошеломляет. Она пишет:

> Каждое использованное мною слово для меня очень важно. Использовать слово, которое я еще не использовала в книге, трудно и необычно... Слов совсем немного, и только ими я и пользуюсь, когда пишу, потому что в них я чувствую полную и совершенную жизнь. Когда я говорю, слов намного больше. Я не живу в них, но говорить ведь не значит жить, говорить можно что угодно, и потому, когда я говорю, я часто использую такие слова, которые никогда бы не смогла написать.

Складывается ощущение, что Стайн скорее транскрибирует мысли, нежели записывает и развивает их. Она словно делает буквальный перевод того, что проносится у нее в голове. Проворство, с которым она бросается запечатлевать свои мысли на бумаге, прежде чем они превратятся в горстку окостеневших, навязших в зубах словосочетаний, и становится самым выдающимся ее достижением. Трудно сказать, какое влияние оказала Стайн на писателей XX века. Она не создала своей литературной школы. Однако всякий писатель, хоть на секунду погрузившийся в ее роман, неизбежно устыдится непродуманности и предсказуемости собственных строк.

1. Джон Эшбери (р. 1927) – американский поэт, лауреат Национальной книжной и Пулитцеровской премий. В "ИЛ" его стихи печатались в рубрике "Другая поэзия" (2006, № 10).

Валерий Белоножко

Невынесенный приговор

О *Франце* Кафке. *Холодно и пристально*

Главы из книги

Глава 4. *Юридические тонкости*

Поиски профессии — от этого было никуда не скрыться. *Хлебная писательская должность*, которую, по сути, презирал его отец, маячила множеством фонариков в библиотеках и книжных магазинах, но требовала усидчивости, беглого пера и умения абстрагироваться от собственного существования, а они у Франца Кафки отсутствовали. Но тут и еще кое-что — он был дикорастущим растением, которое вряд ли найдет себе заботливого садовника. К заслугам конца XIX — начала XX веков следует все же отнести некоторое количество (очень скромное) литературных генетиков, которые и пестовали литературные новшества гутенберговским способом.

Но молодой Франц Кафка еще не встречал таких; мало того, еще ему нечего было предоставить владельцам типографских машин, а если и было, то мы никогда об этом не узнаем ничего определенного, так как позже Кафка признается, что сжег множество "кустарных" литературных поделок и стихотворений. Этот эпизод может оценить только тот литератор, кто устраивал аутодафе собственным произведениям, что вызывается обычно неуместным сочетанием неуверенности и решительности, стыда и ответственности, угнетенного состояния и решимости начать жизнь с чистого листа.

На юношеском распутье — химия, история искусств, германистика; затем Кафка угодил в кювет юриспруденции и даже стал доктором права.

Был ли Франц Кафка профессиональным юристом? Да, был. Но лишь по отношению к самому себе — вот где постоянно проводились судебные заседания, вот где выступали прокурор и адвокат, судья и свидетель — все в одном лице, он же стенографировал ход судебного заседания.

1. © Валерий Белоножко, 2010

Самая поразительная из стенографических записей – "Письмо отцу", где автор непостижимым образом умудрился почтительно обвинять отца и находчиво защищать себя. Театр одного актера. Спектакль на бумажной сцене. Зрители полны сочувствия. Но и удивления – ни одного слова лжи, а картина жизни почти невероятная, настолько активен обвиняемый и настолько пассивен обвинитель. Выставлять напоказ одно и прятать другое, восклицать и умалчивать, прятаться за свидетелей и апеллировать к судейской мантии, вчинять иск человеку, а не общественной системе, иезуитствовать, вещать страстно, горько и грустно одновременно, вытаскивать соринку из собственного глаза и не замечать острой щепки в чужих очах...

Ах, какой юрист мог бы получиться из Франца Кафки, не будь он писателем! Правда, для этого ему потребовался бы иной темперамент – экстраверта и любителя публичных эффектов. Жаль, что ему была почти чужда общественная настроенность. Именно – почти. Молодой юрист неоднократно присутствовал на дискуссиях и митингах социалистов и анархистов (естественно – в качестве молчаливого свидетеля), словно бы проходил курс обучения инакомыслия, в то время как у самого инакомыслия было – хоть отбавляй! В этой среде он даже получил прозвище "Klidas" – Молчун. Думаю, что вначале его могли даже признать за шпика, да так оно и было в действительности – только шпионил он для литературы и ради литературы.

Франц Кафка находит литературный материал и в страховой компании, где служит, и в газетных заметках, и в книгах, и в общественной жизни Праги, бурлящей в начале века. В постоянных рабочих командировках ему приходится сталкиваться с человеческими бедами на производстве, расследуя и инспектируя страховые случаи. В своих отчетах он – по долгу службы – просто обязан обнародовать (на фирменных бланках) свои наблюдения за ходом событий на предприятиях подведомственного ему округа Богемии. Он трудится над точностью передачи на бумагу человеческих несчастий и трагедий. У каждого хирурга – "индивидуальное" кладбище, у каждого адвоката – череда проигранных дел, у Кафки перед глазами шесть дней в неделю в течение тринадцати лет – свидетельства человеческого неблагополучия и неблаговоления Судьбы.

Необходимо вспомнить о том, что после прихода со службы молодой чиновник непременно ложился отдыхать и начинал трудиться лишь после десяти часов вечера до поздней ночи. Было бы слишком просто объяснить такой писательский режим дневной суматохой в квартире, где проживало большое семейство. Думаю, впечатлительному служащему необходимо было психологически защититься от страшных "страховых" впе-

чатлений, отгородиться от них временно́й стенкой сна (кстати, весьма тревожного).

Но и это — лишь половина истины. Служебные впечатления мешали чиновнику по окончании работы сосредоточиться на том, что он исследовал постоянно, — на самом себе. Этот вполне локальный интерес — практически лабораторный — приносил осязаемые плоды даже тогда, когда запись в дневнике была куцей, вроде: *Сегодня вечером я снова был полон боязливо сдерживаемых способностей.* Коротенькое предложение, а какой простор для читательских и исследовательских предположений!

По всей видимости, самое знаменитое произведение Кафки — роман "ПРОЦЕСС" — требует профессионально-юридической реконструкции с тем, чтобы снять с него корпоративный глянец и неизбежную сажу, испачкавшую столь многие репутации. Я же коснусь двух микроскопических произведений Кафки "НОВЫЙ АДВОКАТ" и "ЗАЩИТНИКИ".

Из второго приведу несколько цитат, которые примыкают к теме этой главы весьма выразительно:

Было совершенно неясно, есть ли у меня защитники, я не мог узнать об этом ничего определенного, все лица были непроницаемы... Я не мог даже понять, действительно ли мы в здании суда. Многое говорило за, многое против... Эти коридоры, узкие, с полукруглыми сводами, с медленными поворотами, скупо отделенными высокими дверьми, казалось бы, созданы для полной тишины, это были коридоры музея или библиотеки. Но если это не здание суда, то почему я искал тут защитника? Да потому, что Я всюду искал защитника, он нужен всегда, он даже меньше нужен в суде, чем где-либо в другом месте... Вмешательство же человека в закон как таковой, в то, что составляет основу обвинения, защиты, приговора, есть кощунство. Совершенно иная ситуация с составом преступления, изложенным в обвинительном заключении, ибо обвинение основывается на сведениях, полученных где угодно, у врагов и друзей, у родственников и прочих людей, в семье и на службе, в городе и деревне, короче говоря, повсюду. Вот тут совершенно необходимо иметь защитника, много защитников, самых лучших защитников... Итак, внимание. Я ищу защитников, именно для этого я здесь. Но я никого не нашел... Вероятно, я ищу защитников не там, где надо...[1]

Прерываю цитирование, хотя, возможно, и напрасно. Но любознательный читатель сам может открыть нужную страницу. Я же приведу еще два слова из "БОЛЬШОЙ ЯРМАРКИ". Вот, оказывается, где нужно искать защитников:

Суд, защитники, музей, библиотека, ярмарка...

1. Перевод В. Белоножко.

Все это не просто звенья одной цепи, к которой прикован писатель, эти звенья идентичны, почти взаимозаменяемы. Обвиняемый Франц Кафка таков изначально, и его литературная защита явно паллиативна, но сам Чарльз Дарвин не придумал бы лучшей для нового "Происхождения видов".

Сколько ИСПОВЕДЕЙ льют слезы на полках библиотек, скольких реабилитаций требуют они от читателей!? Они вожделеют лишь оправдательного приговора...

Наш герой – не исключение, он не пренебрегает чувствительными струнами читателей, но, честно говоря, напрасно принижает планку читательского доверия, к тому же сентиментальность его подозрительна, так как над каждой страницей развивается стяг ПРЕЗУМПЦИИ НЕВИНОВНОСТИ.

Да, честность писателя неоспорима. Но он при всем том пытается оспорить или даже опровергнуть честность своих оппонентов. Совместить это достаточно трудно, особенно если учесть невозможность математически адекватного сопоставления собственных и чужих недостатков и достоинств.

Франц Кафка признает невольность своей вины. Речь идет даже не о смягчающих обстоятельствах. ВИНА ИМЕЕТ БИБЛЕЙСКИЕ ИСТОКИ, и замолить ее можно только через литературу. Так, во всяком случае, говорится в конце "НОВОГО АДВОКАТА":

> А потому не уместнее ли последовать примеру Буцефала и окунуться с головой в книги о законах? Теперь он хозяин себе, свободен от шор и боев, при мягком свете лампы Буцефал изучает древние законы[1].

САМ СЕБЕ ГОСПОДИН и КНИГИ ЗАКОНОВ ТОЖЕ – какое нравоучительство, так и не обращенное внутрь самого себя!

Глава 5. *Игра в прятки*

Где труднее всего спрятать хвоинку? В японском хокку.

Где легче всего скрыться печали? В алфавите.

Франц Кафка умел прятать и прятаться. Собственно говоря, именно в этом и заключается его гениальность. Качество это и природное, и благоприобретенное, я бы даже сказал – частично заимствованное. Эдгар Аллан По посылал нашему герою флюиды с противоположной стороны Атлантики. Эрнст Амадей Теодор Гофман микшировал правду и вымысел в своих историях. Профессор Фрейд навевал ужасные сны и объяснял их самым неправдоподобно-правдоподобным образом.

1. Перевод И. Щербаковой.

Детская игра в прятки природна. Жаль, что на долю взрослых остаются лишь детективные истории. Но, оказывается, такими историями испещрена вся наша жизнь. Вовсе не обязательно связывать их с преступлениями и убийствами. Нет, я не прав — отыскание любви или ее убийство тоже детективно, а между ними — время и место преступления, колебания между страстью и долгом, между неблагодарностью и благородством.

В жизни таких историй больше, чем на библиотечных полках. Ах, какое это чтиво для сплетников и сплетниц! Какой у нас самих богатый опыт по этой части!

Франц Кафка воспользовался интересом к детективным историям и стал обрамлять каждое свое произведение филологическим шифром. Видимо, в его организме случилась лишняя хромосома, которая не только заставила его маскироваться, но еще выделила ему необходимые средства для этого. Литературной обстоятельности XVIII и XIX веков Франц Кафка противопоставил свои миниатюры, где мгновенно образовавшаяся ситуация дана безо всяких одежек лишнего текста. Лапидарность Наблюдений, Созерцаний (или как еще там переводили BETRACHTUNG) настолько тщательно продумана и выпущена на свет божий так стремительно, что читатель не успевает даже опомниться, как оказывается внутри крохотного текста со всем своим богатым житейским опытом и, однако же, так и не может смириться со своим неумением справиться ни с предстоящим ему текстом, ни с чувством, им вызванным.

Возьмем хотя бы самое начало "ТОСКИ".

Когда мне стало совсем уже невмоготу — это случилось в ноябрьские сумерки — и я, как по беговой дорожке, бегал по ковровой дорожке у себя в комнате, туда и обратно, туда и обратно и, увидя в окне освещенную улицу, пугался и поворачивал назад и обретал в глубине зеркала на другом конце комнаты новую цель и кричал только для того, чтобы услышать крик, хотя и знал, что на него никто не откликнется...[1]

У нас уже появилась возможность самостоятельно смоделировать героя и придумать его бедственную историю, но тут же появляется, *как привидение*, ребенок, и новый персонаж встает меж героем и нами, хотя в конце, на той же странице текста, герой предлагает *соседу* забрать свое *привидение*.

— И все? — спросите вы.

Да, все. История заканчивается так же неожиданно, как и начинается, и при чем тут ТОСКА? Нужно некоторое время, чтобы сообразить, что, возможно, этот ребенок и есть ТОСКА,

1. Перевод И. Татариновой.

и, наверное, нагнал ее сосед, с которым у героя свои отношения...

— Какие пустяки, — заметит читатель и считать так будет до тех самых пор, пока не увидит ребенка грусти в своей комнате.

Возможно, моя интерпретация текста случайна и даже неправомерна, но автор-герой так искусно спрятался на этой единственной страничке в своей комнате, и грусть моя еще не настолько материализовалась, и фантазия давно выросла из детских страничек... нет, к сожалению, не могу предъявить читателю ничего более убедительного, хотя, впрочем...

"АМЕРИКА", "ПРОЦЕСС", "ЗАМОК" - три вполне детективных романа, хотя некоторые и подверстывают их к фантастическим и даже — эзотерическим.

"Ясность всегда и во всем" — таков девиз обыденности. Сказки — да, но и у них могут быть почти разумные научно-фантастические предположения и объяснения.

По правде сказать, последние сказки рассказал нам Франц Кафка. То, что он придал им детективное напряжение и кажущуюся модернистскую конструкцию, мы, конечно, осознаем при помощи своего немощного недоумения, но все догадки наши на этот счет рассыпаются, как горошины, на которые коленками ставит нас учитель ФК, и нам больно. И мы пребываем в тоске до тех пор, пока не осознаем, что болят не коленки, а души. Детективная история выворачивается наизнанку внутри нас самих, но слишком уж просторны эти три романа, слишком маленькими мы кажемся внутри них, так что отвергаем и саму возможность своего там появления, поскольку благополучно умеем по-воровски упрятать в подсознание не только собственное преступление, но и свидетелей его, и совесть отправлена в ссылку особым императорским указом, и можно жить в согласии с классическим детективом, где все складно, и гладко, и неправдоподобно.

Порок наказан, добродетель торжествует — вот к какому финалу мы устремляемся в чужих историях. В собственных — умалена вина и наказание кажется чрезмерным, и проще замолить грех, чем его исправить или искупить. Мы все подвержены игре в прятки. И в конце концов оказывается, что мы прячемся от счастья, счастья собственной невинности, которая называется СОВЕСТЬЮ.

Открытие Франца Кафки — открытый финал истории. С самых первых своих литературных опытов он инстинктивно понял силу таких финалов и, не завершив ни один из трех своих романов, предложил загоризонтные их интерпретации в мифологических, религиозных, философских и даже исторических планах.

Не умри Франц Кафка раньше, чем пришло время его славы, стал бы он объяснять читательские и критические недоуме-

ния? Вряд ли. Он не был публичной личностью (которая так славно примыкает к словосочетанию "публичная девка"), и публицистика не имела с ним ничего общего, хотя, по большому счету, о ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА ОН СКАЗАЛ И СПРОСИЛ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ПИСАТЕЛЬ.

Глава 6. "О *женщина, ты – книга между книг...*"

Достойно сожаления, что наш герой ратовал за права только одного человека – Франца Кафки. Исследователи используют научные паллиативы – интравертность и эгоцентричность вместо тривиального ЭГОИЗМА. Сосредоточенность на самом себе – осознанная или неосознанная – могла бы показаться просто лабораторным подходом, исследованием в себе "человеческого, слишком человеческого", не таись за ней некая инфернальная энтропия, некое вопрошание извне-изнутри, поиски потерянного – кажущегося или выдуманного. Что уж там Франц Кафка извлек из лекции Альберта Эйнштейна о теории относительности, неизвестно, но, что Вселенную сам писатель низвел до собственной вселенной (пусть и не банальной), почти неопровержимо.

Особенно показательны в этом смысле отношения Франца Кафки с женщинами. Его неравнодушие к ним носит характер скорее любопытства, чем сексуальной озабоченности. Противоположный пол для него почти не обладает индивидуальностью, потому что у него собственной индивидуальности – с избытком.

Три сестры (младшие) – шумные, надоедливые, незаметно растущие – отвлекают на себя внимание родителей и прислуги, и это, с одной стороны, хорошо (за ними можно было укрыться, как укрывался он, режиссируя домашние спектакли в дни рождения отца и матери, но никогда в них не участвуя), с другой же – это по большей части утрата материнского внимания, что фактически ожесточало мальчика: нежность тоже нужно воспитывать, иначе ее место займет холод равнодушия.

В этой ХОЛОДНОСТИ своей писатель признавался неоднократно, причем даже мотивировал ее совершенно определенно: *Я не пожалел ее, так как она не пожалела меня тоже.* Речь шла о доступной девушке (одной из проходных связей), с которой он провел время в постели в гостинице.

Эгоистическая жалость к себе вполне понятна в нежном возрасте, но, когда она живет в душе взрослеющего юноши, а тем паче – уже вполне взрослого человека, дело не ладно. Недаром говорится: маленькая собачка – до старости щенок. Именно от таких собачек больше всего шума-лая, именно они хотят обратить на себя внимание хозяев. Но хозяин Франца

Кафки — он сам, и молчаливость его в общении с людьми компенсируется заполнением бумажных страниц описаниями переживаний (но не сопереживаний), печали (но не сочувствия), душевных стенаний (но не угрызений совести).

При всем том он всегда себя контролировал — дневники и письма весьма тому способствовали. Но сопутствовали ли они самовоспитанию? Вряд ли. На этот случай у писателя — его чернильные ипостаси, с которыми можно было расправляться самым трагическим образом. "ПРИГОВОР", "В ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ", "ПРЕВРАЩЕНИЕ", "ГОЛОДАРЬ" — фатальны, но сие — фатум не природный, а ментальный: наказание за вину, вознаграждение за неучастие.

Роль свидетеля — монаха-летописца — выбрана Кафкой не случайно, но и не вполне осознанно. В этом тоже проявилась его детская жестокость (или жестокая детскость). Многие его романы — с Хедвигой Вайлер, Фелицией Бауэр, Гретой Блох, Миленой Есенской-Поллак, да и еще несколькими — носят ЭПИСТОЛЯРНЫЙ характер. Влюбленность здесь — дело десятое, почтово-любовная связь — дело известное, но Франц Кафка даже думает о ней строчными буквами, особенно в случае с Фелицией Бауэр.

Ни одна любовная переписка в мире не была столь грандиозна и проникновенна по сравнению с крохотностью и придуманностью чувства, которое и состояло-то, в сущности, скорее из алфавитной мелочи, чем из душевного богатства. Со стороны Кафки эта переписка — предприятие, которое он основал в надежде на литературные дивиденды. Все фантазии писателя — внутри него, внешний мир предоставляет слишком мало материала для литературы, вернее — слишком мало непосредственно касающегося *его* материала.

Меня, к примеру, не удивляет, что мы не имеем свидетельств любви с первого взгляда, когда один удар сердца предсказывает будущее чувство. Нет, наш герой — трезвенник и приверженец почти аскетических убеждений — считает любовью некое, только ему одному известное, чувство-бутерброд: вялый листок шпината из книжного огорода на здоровенном ломте черствого эгоизма.

Пусть мне кто-нибудь расскажет об идеале женщины, с которой желал разделить судьбу Франц Кафка! Пусть покажет мне ее фотографию со следами слез и поцелуев! Увы мне, увы! Как могу я проникнуться сочувствием к изобретательному конструктору любовных связей без единого взмаха крыла Пегаса, без единого хотя бы свидания с Музой на своих страницах!

Брак по расчету? Любовь по расчету? На что еще надеялся писатель, обременяя международную почту Австрии и Германии? Уж не потирал ли он ладошки за письменным столом в предвкушении эпистолярного приключения? Я могу предста-

вить себе тот знаменательный день 20 сентября 1912 года, когда в своем рабочем кабинете, выплатив письменные долги службе, Франц Кафка обнаруживает, что имеется толика свободного времени, которое можно употребить (злоупотребить?) для забрасывания почтовой удочки в берлинский пруд. Он пододвигает к себе фирменный бланк КОМПАНИИ ПО СТРАХОВАНИЮ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ В КОРОЛЕВСТВЕ БОГЕМИЯ и начинает: *Многоуважаемая фройляйн!..* И напоминает о себе через пять недель после встречи с до неприличия некрасивой двадцатипятилетней Фелицией Бауэр с тем, чтобы закончить текст фразой: *Вы могли бы взять меня на испытание. Д-р Франц Кафка.*

Давайте, однако, прочтем дневниковую запись опять же пятинедельной давности:

Фройляйн Ф. Б. Когда 13 августа я пришел к Броду, она сидела у стола и выглядела почти как служанка. Я даже не полюбопытствовал, кто она, а просто удовольствовался этим впечатлением. Костлявое непримечательное лицо, причем его непримечательность бросалась в глаза. Шея открыта. Нарядная блузка. Облик ее был совершенно домашним, хотя, как выяснилось позднее, это совсем не так. (Я несколько теряю к ней интерес из-за того, что так быстро разглядел ее сущность. Правда, состояние, в котором я теперь нахожусь, не сделало бы привлекательным целый сонм прелестей, – "Америка" – кроме того, я полагаю, что их и нет вовсе. Если сегодня у Макса меня не слишком отвлекут литературные новости, я постараюсь закончить историю Бинкельта, она не будет длинной и должна получиться.) Чуть ли не переломанный нос, светлые жесткие некрасивые волосы, крепкий подбородок. Пока я приживался, я в первый раз внимательно приглядеделся к ней, а когда уселся, уже вынес окончательный приговор. Как...[1] (запись обрывается)

Боже мой! Только не хватало обвинять нашего героя в двуличии! Но я не спешу с этим, я вспоминаю, что как раз в эти дни писатель готовился издать у Ровольта первую свою книгу "СОЗЕРЦАНИЯ". Он – в состоянии некоторого подъема, девушка – на периферии сознания, и таких 99 из 100. Эта встреча – чистой воды случайность, точно так же он мог встретить какую-нибудь девушку у себя под боком, в Праге, и потребности в переписке практически не было бы, и все случилось бы... Не случилось бы ничего. В Праге не было крылатого Купидона, его пришлось вызвать из Берлина, и пришлось ему преизрядно потрудиться, если не на любовный, то на почтовый лад.

Удивительно, что Франц Кафка очень быстро задал тон этой переписке – и откуда такая прыть и самоуверенность?! Он

1. Перевод Е. Кацевой.

даже подтрунивает над собой, доверяя бумаге и адресату почти интимные подробности:

1.XI.12

Жизнь моя, по сути, состояла и состоит, главным образом, из моих попыток писать, большей частью неудачных. Но если бы я не писал, то давно бы уже лежал на земле поверженный, годный разве на то, чтобы быть выброшенным на свалку. А силы мои с давних пор ничтожно малы и, хотя обычно я этого не признавал, само собой получалось, что я должен был во всем их экономить и от всего понемножечку отказываться, чтобы их хватило на то, что представляется мне главной целью...

...В самом деле, хотя я крайне тощ, а я — самый тощий человек из всех, кого я знаю (уж поверьте мне, недаром я столько времени торчал в санаториях), с точки зрения пользы для писательской работы во мне как раз нет ничего лишнего, даже в хорошем смысле этого слова...

...И вот теперь я расширил свою жизнь думами о Вас, не проходит и четверти часа в период моего бодрствования, чтобы я о вас не вспомнил. А часто я вообще не способен делать ничего другого...[1]

Читатель, представь себе 700 страниц убористого текста сего эпистолярного романа! Последнее письмо — 16.X.17. Итого — полных пять лет, безвозвратно потерянных Фелицией, но одухотворивших творчество Франца.

Для чего же я так подробно напоминаю об истории двух помолвок и ни одной женитьбы Франца Кафки? Это очень печальная история. В ней — страдательный и винительный залоги. Она учит, как любить не следует и как следует не любить. Это почти научный трактат. Трактат по расстановке сетей и силков, капканов и приманок, ловушек и соблазнов. Самое же интересное — то, что охотился Франц Кафка на совершенно бесплодной в литературном отношении территории, и то, что он все же умудрился оживить и даже одухотворить ее, свидетельствует всего лишь о гениальности ловчего и беспредельном терпении жертвы.

Ох уж этот Франц Кафка! Мы уже упоминали его "Письмо отцу". В нем так много было стенаний по поводу женитьбы и счастливой семейной жизни, что, можно подумать, самые непреодолимые препятствия, вроде двенадцати подвигов Геракла, ему следовало свершить для достижения своей цели. Ничуть не бывало! Рыбка срывалась с крючка всякий раз, как только ее пытались извлечь из привычной среды.

Юрист Кафка даже применяет свои аналитические способы для решения проблемы создания собственной семьи. 20 августа 1914 года он даже составляет в дневнике реестр: все ЗА И

1. Перевод М. Рудницкого.

ПРОТИВ женитьбы. Чаши весов колеблются. В 1916 году он проводит несколько дней – более или менее удачных – и ночей в Мариенбаде, после чего в письме Максу Броду сообщает о том, каков будущий семейный статус-кво:

Теперь все по-другому и хорошо. Наш договор вкратце. Пожениться вскоре по окончании войны, снять в пригороде Берлина две-три комнаты, хозяйственные заботы оставить за каждым только свои собственные, Фелиция станет работать, как прежде, а я, я при теперешних обстоятельствах, этого сказать еще не могу. Если представить себе эти отношения наглядно, то получится зрелище двух комнат где-нибудь в Карлхорсте, в одной Фелиция встает рано, убегает, а вечером устало падает в постель. В другой размещается канапе, на котором возлежу я и питаю себя млеком и медом. В таком случае там возлежал и потягивался безнравственный человек (по известному выражению)[1].

Несмотря на несколько самокритичное высказывание в самом конце письма, само оно свидетельствует, что Кафка *допектаки* Фелицию – она согласилась жить с ним на его условиях, которые, в сущности, ничем не отличались бы от его холостяцкого положения. Такой мягкий человек сумел управиться с *делячкой-берлинкой.* Встреча ЭГОИЗМА И ОТВЕТСТВЕННОСТИ закончилась поражением последней.

Мне трудно припомнить случай, когда Франц Кафка поступился бы собственными интересами и желаниями ради других. В его САМОбытности ударение следует делать на первой части слова. ЭГО вело его на поводке, как собачку.

7. О *Кафка, познавшие эмиграцию приветствуют тебя...*

Я назвал бы атеизм Кафки Божественным. И вовсе не в религиозном, а душевном, духовном смысле. Это атеизм особого рода, он – свидетельство демократических отношений субъекта и Субъекта, низшего существа и Существа Высшего. Признание существования Высших Сил опирается на отношение подданного к властителю, который всего лишь следит за усилиями своего вассала, и само это вассальство заключается всего лишь в том, что Высшее Существо просто не нисходит до общения с существом низшим, не вмешивается в его деятельность, не наказывает и не одаряет милостью или наградой.

Сие – самый еретический атеизм в мире, так как он пребывает вдали как от материализма, так и от любой религии. Таковы

1. Перевод В. Белоножко.

многие, но они не сознают этого, им даже в голову не приходит определять это свое положение, пока собеседник (чаще всего – воинствующий представитель какой-нибудь религиозной конфессии) не задаст ему напрямую вопрос о религиозном статусе.

Поскольку мы живем в эпоху, когда сам атеизм признается религией (в оскорбительном, правда, смысле) и толерантность нам только снится, есть подозрение, что, несмотря на экуменические усилия, новые религиозные войны не за горами. Собственно, они уже идут – необъявленные. Я говорю не о джихаде и даже не об "Аль-Каиде". Расслоение религий есть явление химическое, природное, неизбежное, и никакому атеизму не удастся стать мембраной между ними, пропускающей в микроскопические отверстия добро и задерживающей зло. Сами атеисты и падут первыми как невооруженные миротворцы или вынуждены будут палить направо и налево в отчаянной попытке оставить свое добро и зло каждой из сторон. Но миротворцам придется отражать удары с обеих сторон – воинствующий атеизм нисколько не лучше и не хуже воинствующей религии.

Начало этой главы, конечно же, вызовет читательское недоумение. Еще большее недоумение вызовет последующее.

Исторически случилось так, что еврей никогда не остается вне схватки. История еврейского народа с его государственностью, избранностью, религиозной самоотверженностью, рассеянностью среди других народов, Катастрофой и нынешней государственностью – пример более чем двухтысячелетней выдержки и оптимизма.

Мне придется оперировать несколькими терминами, которые имеют отношение к нашей теме: ГАЛУТ (ГАЛУЦ) – изгнание, ДИАСПОРА – рассеяние и ГАЛУТ ШХИНА – временное исчезновение Божественного присутствия на Святой земле.

По всей видимости, нет надобности подробно растолковывать понятия СЕМИТИЗМА и АНТИСЕМИТИЗМА, которые сопровождают еврейскую историю с примкнутыми штыками.

В сражении за еврейство Франца Кафки поломано столько копий, что обломками их усыпаны поля критических и литературоведческих сражений, пожалуй, сверх меры. К сожалению (или счастью), у нас нет прямых свидетельств семитизма или антисемитизма (бывает и такое) Франца Кафки. Весьма корректное упоминание Максом Бродом размолвки между друзьями по поводу напористого вовлечения Максом Франца в пражский семитизм не дает определенного ответа на вопрос: БЫЛ ЛИ КАФКА ВОИНСТВУЮЩИМ ЕВРЕЕМ?

Да, несомненно, на протяжении второй половины его краткой жизни у нашего героя были периоды очень пристального интереса к еврейству. В 1911 году он очень заинтересовался странствующей еврейской труппой, выступавшей в пражском кафе "Савой" со спектаклями на идиш. Особенно подружился

Франц с актером Исааком Леви, много общался с ним, расспрашивал о жизни его и еврейских общин в Восточной Европе, организовал вечер его декламации и даже произнес небольшую речь о языке идиш, а потом между ними несколько лет продолжалась переписка.

Из этой внезапной дружбы можно сделать интересный вывод – в окружении Франца не было евреев, достаточно близких, чтобы поведать ему доверительно о переживаниях отдельно взятого еврея в чуждой среде. И это очень странно, так как многочисленные родственники начинающего писателя могли бы ему поведать предостаточно о путях и терниях своих родов. Скорее всего, замкнутость и неразговорчивость Франца мешали ему со всей внимательностью подойти хотя бы к одному из своих дядюшек, личностей весьма колоритных и не лишенных жизненного опыта. Особые надежды Франц возлагал на ставшего генеральным директором испанских железных дорог Альфреда Лёви, но не в плане конкретно-литературном, а имея в виду должность где-нибудь за пределами Праги.

Поскольку между Францем и Исааком Леви речь шла о написании актером воспоминаний о своей жизни, можно отсюда заключить, по меньшей мере, что Франц очень желал иметь представление о житейских и нравственных коллизиях молодого еврея, пребывающего вдали от родного дома. Я веду к тому, что в том же 1911 году Франц Кафка начал писать роман "АМЕРИКА" ("Пропавший без вести"), в котором как раз и прослеживаются перипетии такого юноши. Правда, о еврействе в романе не упоминается, имя Карл Росман можно толковать как угодно, а перенесение места действия в Америку можно объяснить именно тем, что начинающему писателю, по-видимому, трудно было соединить рассказы Исаака Леви с самими идеями изгнания-галута и рассеяния-диаспоры. Но идеи эти оказывали на него непосредственное влияние, о чем свидетельствуют строки из дневниковой записи 25 декабря 1911 года:

> Все, что я узнал от Лёви... позволяет сделать вывод, что многие заслуги литературы – пробуждение умов, сохранение целостности часто бездеятельного во внешней жизни и постоянно распадающегося национального сознания, гордость и поддержка, которые черпает нация перед лицом вражеского окружения, ведение как бы дневника нации...[1]

Во всем дневнике мало найдется строк, столь же публицистичных и столь же прямо относящихся к национальному самосознанию именно еврейской нации. Франц Кафка часто присутствовал на студенческих дискуссиях и отмечал кипучую дея-

1. Перевод Е. Кацевой.

тельность профессора университета, юриста и депутата Бруно Кафки, его кузена, к сожалению, тоже рано умершего. В Праге в то время бурлила общественная жизнь: чехи устали от объятий Габсбургской империи, да и евреи оказались в пограничной ситуации между чехами и немцами. Волей-неволей и Францу Кафке, пусть с меньшим задором и не публично, пришлось обдумывать свое положение в национально напряженной ситуации.

Нет свидетельств прямого увлечения молодого Кафки национальной историей и религией, однако со дня его рождения сама обстановка на территории бывшего еврейского гетто – Йозефштадта – должна была воздействовать подспудно на его ментальность. Ортодоксальные евреи в традиционном своем облачении каждый день давали ему молчаливые уроки национального самосознания. Национальное меньшинство часто бывает вынуждено жить по правилам, устанавливаемым господствующим в стране государственным и общественным устройством. Унизительное и вассальное положение еврейских общин в городах Европы продолжалось так долго, что это выработало в еврейском народе характерные черты: приспособляемость, терпение, способность быть "себе на уме". Когда император-реформатор Иосиф II издал языковые эдикты, в том числе и знаменитый "Патент о толерантности", онемечивание уже законным путем коснулось евреев и чехов. Оскар Винер назвал город на Влтаве Dreivolkerstadt, то есть городом трех народов – чешского, немецкого и еврейского. К концу XIX века габсбургские порядки смягчились, но молодые евреи продолжали оставаться под влиянием немецкоязычного образования и делопроизводства, коренным образом отрывающих евреев от религиозных корней, даже если этим молодым людям и хотелось в государственный и общественный круг.

Заложенное в детстве обычно преследует нас всю жизнь. У нас нет никаких свидетельств того, что в младенчестве Франц слушал еврейские колыбельные или что ему рассказывали еврейские легенды. При постоянной родительской занятости маленький Франц находился под опекой прислуги, говорившей по-чешски или по-немецки.

Если вдуматься, не было у Франца Кафки еврейских корней. По-видимому, лишь на третьем десятке жизни он задался вопросом о своей этнической идентичности и опять же – о своих планах на будущее. Романа "АМЕРИКА" ("Пропавший без вести") в 1910 году, наверное, еще не было и в помине, а Франц Кафка записывает в дневнике:

Все вещи, возникающие у меня в голове, растут не из корней своих, а откуда-то с середины. Попробуй-ка удержать их, попробуй-ка дер-

жать траву и самому держаться за нее, если она начинает расти лишь с середины стебля...[1]

Но вот еврейская театральная труппа и Исаак Леви непринужденно и явно с согласия самого Кафки взращивают в нем почти затоптанные побеги еврейства. Честно говоря, почти в тридцать лет, когда образование завершено и жизненный путь определен, начать этническую жизнь с чистого листа практически невозможно. Для этого нужно быть особо уж ограниченным.

Но Франц Кафка сливает в один флакон литературную и национальную коллизии. Написать большой роман мечтает каждый литератор, так как это дает обычно неповторимое ощущение литературного простора, вдохновляя и на будущие работы. У Кафки перед глазами — постоянный укор в лице Макса Брода, друга и плодовитого полуграфомана-полужурналиста. Тот постоянно подзуживал друга, уговорив засесть за большую работу, даже подвигал на написание совместного романа "Рихард и Самуэль", и все это, пожалуй, действовало Францу на нервы — слабые и без того.

Роман "АМЕРИКА" ("Пропавший без вести") очень прост и не вызывает никаких вопросов, если не взять в рассуждение его неявную незаконченность. Шестнадцатилетний Карл Росман за некую провинность перед служанкой отправлен родителями за океан к дяде на перевоспитание. Карл ИЗГНАН ИЗ РОДНОГО ДОМА. Казалось бы, юноше предстоит благополучное будущее, но в результате обычного человеческого интриганства он изгнан и из нового пристанища с тем, чтобы начать скитания по американскому континенту, познать новое пристанище и новое изгнание, пока, наконец, Божьим соизволением не попадает в Оклахомский летний театр: *Кто думает о своем будущем – наш человек!* Карл Росман принят в этот театр и отправляется туда через пол-Америки по железной дороге. Все. Какого конца еще требует читатель? Чего ему недостает?

Может быть, вопрос этот задает сам автор? Может быть, он как раз и хотел заставить читателя задуматься о том, зачем написан роман и о чем он в конце концов?

Если перевести коллизии одного-единственного героя романа на язык исторических коллизий одного-единственного еврейского народа, то подспудные намерения автора — как на ладони.

Изгнание — ГАЛУТ. Рассеяние — ДИАСПОРА. ГАЛУТ ШХИНА — Бог временно оставил народ без своего присмотра с тем, чтобы, предав его испытаниям и перевоспитанию, вновь вернуться к своему ИЗБРАННОМУ, своевольному, но любимому.

1. Перевевод Е. Кацевой.

Возможна ли подобная интерпретация? Почему бы и нет? Франц Кафка не останавливается на достигнутом и дарит нам третий роман – не менее таинственный "ЗАМОК".

Необходимо выстроить хронологию романов Франца Кафки: "АМЕРИКА" (1911–1916), "ПРОЦЕСС" (1914–1918), "ЗАМОК" (1921–1922). "ПРОЦЕСС" – самый знаменитый роман нашего героя – имеет особое, как всем кажется, значение и к теме данной главы отношения не имеет.

Прекратив работу над "АМЕРИКОЙ", только через пять лет писатель начал работу над "ЗАМКОМ", в котором темы галута и диаспоры обсуждаются и локально-земно, и возвышенно-метафизически, причем второй план спрятан так старательно, что интерпретации романа множатся, как кролики.

В нанизывании добычи общечеловеческого на вертел личного Франц Кафка не имеет себе равных, и что особенно важно: он бежит публицистичности Толстого и психологических движений Достоевского. Его текст – занавес, за которым разыгрывается пьеса, тогда как на авансцене автор показывает зрителям канву, а не суть происходящего.

ЗЕМЛЕМЕР К. – личность настолько одиозная по смыслу, что даже само сомнение персонажей романа и читателей – А НА САМОМ ЛИ ДЕЛЕ К. – ЗЕМЛЕМЕР? – ЗАГАДОЧНО И ЗНАЧИТЕЛЬНО. ОДНО ДЕЛО – МЕРА ЗЕМЛИ, И СОВСЕМ ДРУГОЕ – ПО ЗЕМНЫМ МЕРКАМ, которыми мы располагаем при жизни в отличие от меры горней. Однако сам Замок в романе просто жалок в архитектурном плане, и это не может не вернуть к той фазе человеческих отношений, которую мы уже обсуждали выше: человек в социуме и народ (еврейский) в рассеянии.

Макс Брод мельком упоминает обсуждение с другом темы еврейского языка. (При этом он не упоминает даже, что вместе с Кафкой учился ивриту у Георга Мордехая Лангера, ортодоксального еврея, заметной и колоритной личности, знакомой всей Праге. 14 сентября 1915 года Кафка записывает в дневнике: "В субботу с Максом и Лангером были у рабби-чудотворца... Грязен и чист, своеобразие постоянно думающих людей".) Брод также пишет, что обнаружил в наследии Кафки примерно столько же листов бумаги, испещренных упражнениями по ивриту, сколько и листов собственно рукописей. Конкретного периода занятий Кафки ивритом он не называет, а совершенно точное время "еврейского" прилежания Кафки и даже переселения в Палестину указывает как время после его знакомства и сближения с Дорой Диамант, 24-летней еврейкой из России. Но это – уже 1923 год, когда рукопись "ЗАМКА" уже находится у Милены Есенской-Поллак, также кратковременной его возлюбленной.

То, что многое из отношений Кафки с Миленой присутствует в романе, неоспоримо. Не стоит забывать при этом, что са-

ма Милена была чешкой и ни в коей мере не антисемиткой, так что тема еврейства в их отношениях вряд ли играла роль — муж Милены Эрнст Поллак был евреем.

От национальной идентификации — к общечеловеческой: как еврейский народ рассеялся-растворился в среде других народов, так и отдельная личность устремляется к растворению в Божественной ипостаси, и стремление сие неосуществимо... Мы не должны забывать о том, что вера так и не смогла сгуститься в душе Франца Кафки. Он был ментальным атеистом, строгим смотрителем земных порядков, не фантазером религиозного плана.

Природа внедрила в писателя смертельную болезнь, словно подозревала о возможности Франца Кафки "докопаться" до Истины. "Что есть Истина?" — только этим вопросом и задавался писатель. Причем он обращался к Закону только от своего имени. Человечество не уполномочивало его на это, оно всегда возлагало надежды на сильных мира сего, вожатых и глашатаев, хотя в глубине души склонно было получить ответ от юродивого, чье бескорыстие только и может гарантировать чистоту помысла и беспристрастность ответа.

8. *Весь мир – на письменном столе*

Франц Кафка и не мог быть профессиональным писателем, так как если его и интересовал какой-нибудь читатель, то это была его собственная персона. Вот почему содержание его произведений коренным образом отличается от так называемой беллетристики — в них отсутствует то так называемое литературное "мясо", которым кормится читатель, по сути, не имеющей возможности представить себе ни места действия, ни внешности героя, ни его прошлого. ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС начинается история, рок выставляет героя на метафизический сквозняк и заставляет обеспечивать свое будущее изнутри самого себя. С трудом можно представить себе внутренний мир героя — разве только из действий его. Мало того, читателю приходится самостоятельно, из эфемерности конструировать внешность героя, чтобы сблизиться с ним, но попытки эти безрезультатны. Казалось бы, жизнь в романе бьет ключом, но она закодирована: есть в герое *нечто* такое, чего автор и не собирается нам выдавать, но это *нечто* именно и руководит его помыслами и поступками, не давая читателю возможности отождествить себя с героем, пропитаться его чувствами и сопереживать — сопереживать, как это положено законами беллетристики.

Умозрительность — главная панацея, отстраненность — основной принцип, глобальность идеи, растекшейся по страницам тончайшей пленкой, которую невозможно ни пощупать,

ни глянуть "на просвет", ни даже обсудить с собеседником. Потенциальная энергия вместо кинетической, иероглификация вполне понятных знаков, вероятность, постоянно сулящая *нечто* и никогда не выполняющая обещания.

Незаконченность романов Франца Кафки объективна, и Макс Брод скомпоновал их по своим понятиям именно о беллетристике, хотя и оговорился, что по-настоящему понять (не понять!) Кафку можно лишь при условии издания его рукописей факсимильно (кстати, так и издан в Германии роман "Процесс"). Честно сказать, я даже удивлен этим его гениальным открытием — учитывая его достаточно ограниченные литературные способности.

Догадываюсь, насколько бесполезны мои попытки найти для героя этой работы ключевое слово, точное определение или "припечатку" формулировкой. Анонимность — да. Наивная мудрость — да. Даже — отрицание Апокалипсиса.

Тем не менее *письмо* и *письменный стол* еще как-то способны раскрыть скобки, которыми отгородился от читателя писатель.

Письменный стол — проходной, но важный персонаж в романах Кафки. В "АМЕРИКЕ" это чуть ли не средоточие цивилизации. В "ПРОЦЕССЕ", к сожалению, Макс Брод вынес в приложение главу "Борьба с заместителем директора", где письменный стол выступает в качестве заместителя терпящего крах героя. Что же касается "ЗАМКА", то в нем замковые чиновники сами перемещаются вдоль длинного стола с документацией, вместо того чтобы обмениваться бумагами друг с другом. Сие — удивительная метафора. Мало того что чиновничество властвует над обитателями Деревни, но и документы сакрально руководят чиновниками. Что заставляло писателя настолько повышать КПД своих произведений, в которых, казалось бы, даже "проходные" моменты как раз проходными не являются?

Думаю, что это результат эпистолярной тренировки, которой Кафка подвергался с самой юности. То был ученический этап его литературного творчества. *Письменный стол* — почти его alter ego: во множестве писем он присутствует непременно. Вот Францу еще нет 19 лет:

Оскару Поллаку
Прага 24.8.1902

Я сижу за своим замечательным письменным столом. Ты его не знаешь. Как Тебе и положено. Это именно что неплохой бюргерски-настроенный письменный стол, обязанный воспитывать. Там, где обычно находятся колени пишущего, у него два ужасных деревянных выступа. И теперь они не дают дремать вниманию. Когда сидишь спокойно, осторожно и пишешь по-обывательски, тогда все хорошо. Но

стоит пошевелиться, если волнуешься, и стоит телу чуть дрогнуть, неизбежно последует укол, да такой болезненный. Я мог бы показать Тебе темно-голубые синяки. И пусть теперь это означает: "Не пиши ничего волнующего, и при этом тело твое не задрожит"[1].

О, как прекрасны приключения слова! Но как они требовательны к дисциплине и непременному явлению внутренней логики в прорехах логики внешней! Литература – тот еще надсмотрщик!

Другое дело – *письма на письменном столе.* Это голубятня, хозяин которой волен жить будущим полетом своих питомцев, может спаривать их и взращивать птенцов, обучать их полету и самому парить в высях рядом с ними.

Как много можно увидеть сверху! Земля со всей своей природой и человеческими творениями схематична, плоска и двумерна, в ней нет почти ничего интересного, тогда как в вышине, в полете, в мысленном полете нет предела свободе и воображению.

Если не прочитать сотни писем Франца Кафки, то вряд ли можно понять истоки его внутренней свободы и воображения. Этому учатся, оказывается, отрешившись от скреп быта и пустой, по большей части, деятельности. Тело – даже в четырех измерениях – имеет ограничения, приключения же духа бесконечны. И что самое удивительное – Франц Кафка обретает эту свободу вне какой-либо религии, вне обязательств по отношению к какой-нибудь из них и – практически – вне контактов с социумом.

То, что он завещал Максу Броду сжечь его литературное и эпистолярное наследие, косвенно тоже свидетельствует о свободе его духа, и это ни в коем случае не результат религиозных терзаний, как у Гоголя. И даже – не пессимизм по отношению к будущим своим читателям. Франц Кафка попытался раздвинуть границы человеческой Вселенной, но не обнаружил за горизонтом Бога. Этим своим открытием он не пожелал поколебать человеческие иллюзии, и то, что его пожелание не исполнено, заставляет нас самих искать следы неведомого Господа на путях человеческих.

1. Перевод В. Белоножко.

Обыкновенный Холокост

Примо Леви *Канувшие и спасенные* / Перевод с итальянского Елены Дмитриевой. — М.: Новое издательство, 2010

Примо Леви — автор классических произведений о нацистских лагерях уничтожения. Издательская аннотация излагает его биографию скупо и точно: родился в 1919 году в Турине, окончил химический факультет, в 1943—1945 годах был узником Освенцима, автор двух автобиографических книг о лагерном опыте, покончил с собой в 1987 году. Хотя, казалось бы, и естественного конца оставалось ждать уже недолго.

Однако Примо Леви среди благополучнейшей жизни решился на то, на что не покушался среди жизни поистине чудовищной: именно запредельность ужасов и страданий не позволяла разглядеть скрытую их суть. Но в "Канувших и спасенных", за год до самоубийства, Леви подвел-таки итог тому опыту, который Шаламов считал абсолютно бесполезным. И книга эта, пожалуй, и впрямь одна из самых безнадежных, какие мне приходилось читать (перевод Е. Дмитриевой превосходно передает ясную, сухую горечь ее языка).

Примо Леви *всерьез* задает вопросы, которые бесчисленное количество раз задавались как риторические: "Запомнит ли мир ужасы Холокоста? Извлечет ли из них необходимые уроки?" Ответы обычно подразумеваются оптимистические типа "Не забудем!" и "Не повторится!" ("Жертвы были не напрасны!"), но Орфей, побывавший в аду, в этом далеко не уверен.

Прежде всего сами источники коллективной памяти были искажены с момента рождения. Ибо мемуарная литература, не такая уж, на первый взгляд, бедная, вся без исключения написана редчайшими везунчиками. Поскольку уцелеть можно было лишь благодаря исключительной удаче. А также систематической готовности тем или иным способом выживать за счет товарищей по несчастью — иной возможности просто не было. Не было ни единого шанса выжить и у тех гордецов, кто не готов был с утра до вечера глотать оскорбления и удары, служившие в Освенциме просто языком общения, — тех, кто отвечал ударом на удар, забивали насмерть на месте. Поэтому у людей с редкостно обостренным чувством собственного достоинства и на редкость обостренной совестью (а именно их свидетельства представляли бы главную ценность) было меньше всего шансов выжить, но даже и в случае эдакой сказочной удачи именно у них оказывался самый мощный стимул не раскрывать всей правды.

Поскольку они **испытывали стыд**. Да, да, вы не ослышались: **стыд испытывали жертвы, а вовсе не палачи**. Те-то лишь оп-

равдывались: я ничего не мог сделать, я выполнял приказ, если бы не я, это сделал бы другой... Примо Леви не оставляет камня на камне от слащавой сказочки, которой прогрессивная общественность вот уже целые десятилетия испытывает терпение россиян: немцы-де покаялись — берите и вы с них пример. Образцы покаяния, которые приводит Примо Леви, и впрямь могут служить примерами софистики и лицемерия. О массах простодушных жуликов, вопреки очевидности твердивших о своем неведении, не стоит и упоминать — по-настоящему интересны лишь интеллектуалы и гуманисты: у них и в самом деле есть чему поучиться. Вина перекладывается и на атавистическую злобность человеческого подсознания, и на власть дьявола, и на роковой выбор между нацистами и коммунистами, и на хитроумную ложь гитлеровской пропаганды, и на невозможность открытого противостояния тоталитарному режиму...

Уж на что Примо Леви был невысокого мнения о роде человеческом — он давно привык считать бесхитростную подлость нормой поведения перед лицом нескончаемых страданий и унизительнейшей смерти, — но самооправдание под маской покаяния и его вывело из себя. Даже в сдержанной интонации слышится звучание металла, когда он говорит, что за свою вину надо отвечать лично, не перекладывая ее на дьявола, и не нужно притворяться дурачками, делая вид, будто Гитлер хитроумно скрывал свои цели — начиная с "Майн Кампф", он играл открытыми картами: "Те, кто голосовали за него, обязательно голосовали и за его идеи. В этой книге всего хватает: там и кровь, и родная почва, и жизненное пространство, и вечный враг — евреи, и немцы, олицетворяющие "высшую человеческую расу на земле", и другие страны, с отведенной им ролью объекта немецкого господства":

> Я понимаю, эсэсовцы, убивая евреев, действовали по приказу, но в войска СС они шли добровольно! В Катовицах после освобождения я своими глазами видел бланки заказов на бесплатное получение главами немецких семей одежды и обуви для взрослых и детей со складов Освенцима. Кто-нибудь озадачился вопросом, откуда взялось столько детской обуви?
>
> ...Будучи жителем Италии, знаю я и то, что "восставать в тоталитарном государстве невозможно"; но мне известно также, что существуют тысячи менее опасных способов выразить свою солидарность с угнетенными, и к этим способам прибегали в Италии многие даже во время немецкой оккупации, но в гитлеровской Германии случаи выражения такой солидарности были очень редки.

И это пишет человек, давно смирившийся с тем, что в Освенциме не продавались практически только те, кого не покупали: даже немногочисленные герои сопротивления могли вести свою подпольную деятельность, лишь в той или иной степени становясь подручными убийц. Однако увертки тех, кому физически ничего не угрожает, вызывают в нем бессильный гнев. Жаль, что химик Примо Леви не додумался ввести такое понятие, как удельная подлость: величина совершенной подлости делится на вели-

чину принуждавшего к ней давления, — возможно, самыми большими подлецами по этому показателю оказались бы не члены "спецкоманд" из заключенных, обслуживавших крематории, а мирные немцы, умевшие не задумываться, куда вдруг исчезли евреи и откуда взялись ношеные вещи; мирные французы, кормившие и поившие гитлеровскую армию; мирные американцы, установившие издевательские квоты для еврейской иммиграции, но постаравшиеся реализовать лишь на десятую долю даже их...

Вполне возможно, что по коэффициенту удельной подлости наставники серьезно обошли бы воспитуемых, однако ни малейших признаков раскаяния ни за кем из них не замечено. Да и вообще каяться начали только те, за кем нельзя было найти совсем уж никакой вины. Они и впрямь слегка покаялись в чужих грехах, перед тем как выбросить их из головы.

В своем основательном и глубоком послесловии "Свидетель каких мало" известный социолог Б. Дубин отмечает, что Холокост "вовсе не относится для сегодняшних россиян к решающим событиям XX века, к его крупнейшим катастрофам". Я же со своей стороны могу добавить, что для европейцев Холокост еще и относится к числу катастроф смертельно надоевших, тех катастроф, по поводу которых в официальной обстановке нужно постоянно демонстрировать постную мину, чтобы в своем кругу изредка давать волю истинным чувствам ("Да сколько же можно об этом твердить в конце-то концов!"). Попутно отводя душу на преступлениях израильской военщины.

Да, да, постоянные преувеличения злодеяний Израиля европейской печатью — расплата за принудительные поклоны, которые та же самая печать вынуждена отбивать жертвам Холокоста. И это, увы, тоже нормально: для каждого человека главными являются события его собственной жизни. А следовательно — и собственного народа.

Попытки же заставить людей жалеть другого больше, чем хочется, могут вызвать лишь неприязнь и к воспитателям, и к тем несчастным, принудительного сочувствия к которым эти самые воспитатели добиваются. Эгоизм — свойство человека, позволившее ему выжить среди ужасающих испытаний, от начала времен ниспосылаемых щедрым провидением, и отказаться от него человеку не многим легче, чем отказаться от пищи и воды.

В человеческом мире нет ничего ненужного — все, что делается людьми в течение долгого времени, делается с какой-то важной целью. Важную функцию в лагерях уничтожения выполняла и "бесполезная жестокость". Она должна была расчеловечить будущие жертвы, сделать их отвратительными: это не люди, это — свиньи. Для этого и следовало — надо, не надо — раздевать их догола, лишать отхожего места, чтобы им приходилось справлять нужду, где придется. Можно ли держать за людей существа, для которых одна и та же посудина становится то ночным горшком, то емкостью для супа, которых отсутствие ложки заставляет лакать по-собачьи (после освобождения Освенцима на складах были обнаружены де-

сятки тысяч пластиковых ложек). Штагль, комендант Треблинки, выразился с предельной ясностью: заключенных следовало лишить человеческого облика, чтобы убийцам было легче их убивать. Этой же цели — окончательному превращению в "человеческий материал" — служила и утилизация трупов.

Экономические потребности очень часто, а то и почти всегда, прикрывают потребности психологические. Примо Леви не первый, кто отмечает, что труднее было сломить людей, обладающих верой — религиозной или политической: воодушевляющие иллюзии — тот невидимый озоновый слой, который защищает нас от безжалостного света правды, от ужаса нашей беспомощности и эфемерности. Зато нет и таких жестокостей, на которые люди не решаются, когда чуют опасность для своих спасительных грез — тут-то и начинаются расправы с еретиками и уклонистами... Собственно, и уничтожение евреев было защитой воодушевляющих химер немецкого народа.

Для любой системы воодушевляющих иллюзий обычно имеются три главных источника опасности — так сказать, разрушительная триада: обновление образа жизни, приток носителей иной культуры (иных сказок) и рационалистический скепсис. У евреев, на их беду, наличествовала вся триада.

В этой стандартной ситуации и был запущен стандартный механизм — оборонительная триада, при помощи которой люди во все времена защищали и будут защищать свои воодушевляющие фантазии: 1) чтобы развязать себе руки, успешного конкурента объявляют врагом; 2) чтобы обесценить его мнения, его "опускают" — лишают высоких мотивов, превращая в сгусток корысти и злобы; 3) чтобы не допустить себя до сострадания, его расчеловечивают — отнимают даже человеческий облик.

Этот механизм так прост, надежен и бесконечно воспроизводим, что на простые вопросы Примо Леви напрашиваются такие же простые ответы.

Запомнит ли мир ужасы Холокоста? Не запомнит, ибо помнить о них слишком мучительно. Извлечет ли из них уроки? Не извлечет, ибо они разрушат защитный слой утешительных иллюзий. Может ли это повториться? Сколько раз потребуется, столько раз и повторится. Разрушительная триада всегда будет порождать оборонительную: объявить врагом, опустить, расчеловечить.

Можно по этому поводу сокрушаться, можно негодовать, но так было, есть и будет; немцы всего лишь показали, на что способны нормальные приличные люди. Никакая умирающая химера не станет церемониться, нанося последний, решительный удар. В нашей власти лишь не дразнить ее сверх меры — если понимать под мерой естественный ход вещей. В кризисной ситуации, когда народ подвергается мощному воздействию двух первых пунктов разрушительной триады — мучительному обновлению и массовому притоку чужаков, — осмеивать его защитные иллюзии означает по мере сил приближать триаду оборонительную.

В кризисной ситуации не нужно подвергать людей экзамену на великодушие, терпи-

мость и самокритичность — они еще ни разу его не выдержали; вот, пожалуй, тот главный "урок Холокоста", в котором укрепил меня Примо Леви.

Александр Мелихов

Зыбкость знакомого мира

Хюберт Лампо *Возвращение в Атлантиду* / Перев. с нидерл. С. Князьковой. — СПб.: Азбука-классика, 2008

Имя фламандского прозаика Хюберта Лампо (1920—2006) в первую очередь связано с "магическим реализмом". В периодике и отдельными книгами у нас выходили его романы "Рождение бога" (несколько раз переиздавался), "Каспер в преисподней", "Явление Иоахима Стиллера", повесть "Принц Магонский", рассказы. В нынешнем сборнике два романа — "Возвращение в Атлантиду" и "Явление Иоахима Стиллера". Причем второе произведение представлено в новом (втором) переводе.

"Возвращение в Атлантиду" (1953) — небольшой лиричный текст о духовных поисках главного героя, полный развернутых размышлений, пейзажей и портретов. Эпиграф из Рильке "Кто знает, что меня в этой жизни ждет?.." настраивает на философский лад. После университета Кристиан возвращается к себе в поселок и открывает кабинет для приема бедняков. В начале романа ему за сорок, он одинок — ни жены, ни детей. После смерти матери он узнает то, что от него долго скрывали, — его отец не умер, а исчез. Отца Кристиан почти не помнит. Однажды вечером тот вышел за табаком и не вернулся. Ему было столько же, сколько теперь сыну. Комиссар полиции, который расследовал эту историю, рассказал ему, что и раньше в окрестностях исчезали люди. "Я так и не нашел возможности побеседовать на эту тему с каким-нибудь знатоком фольклора, — говорит комиссар, — но убежден, что в народе бытует немало подобных полумифических историй о внезапных исчезновениях..." Вскоре в жизни Кристиана появляются две женщины, с которыми судьба уже сводила его, они помогают ему лучше понять отца и в конце концов примириться с его уходом. Из века в век мечтатели, чьи глаза полны заката, а сердца — рассвета, заслышав таинственный зов, бросают всё и отправляются в дорогу. Так и отец героя пошел искать Атлантиду (об этом Кристиан узнает из отцовских книг). Сыну же она явилась в образе знакомой местности на картине, узнал он и персонажей, а среди них себя самого.

В текстах Лампо мистика переплетена с реальностью, прошлое вторгается в настоящее, главные герои — Кристиан и две молодые женщины — понимают, что все в их жизни неслучайно и они загадочным образом связаны друг с другом. Если определять жанр "Возвращения в Атлантиду" — это роман взросления. Перемены, которые происходят в жизни Кристиана, по-

могают ему выбраться из кокона экзистенциального одиночества. А он, доктор, убеждает повзрослеть женщину, которая хочет избавиться от своего еще не рожденного ребенка. К концу повествования герой приходит преображенным, он словно обрел почву под ногами, всё больше узнавая об отце и постепенно открывая его в себе самом. "Немного осталось ждать, прежде чем круг замкнется. Я еще не знаю, как и когда это случится, но твердо знаю одно — непременно настанет день, когда я услышу зов, такой далекий и в то же время близкий, на который когда-то откликнулся мой отец. И я пойду, как пошел когда-то он, и ничто не сможет меня удержать, хотя пока я еще не готов к тому, чтобы узнать, куда ведет этот путь".

Второй роман сборника, "Явление Иоахима Стиллера", принес автору мировую известность. Лампо выбрал для него эпиграфом цитату из Евангелия от Луки. Фрейк становится свидетелем того, как четверо юных красавцев в рабочей форме, не успев разобрать мостовую, тут же загоняют булыжники обратно. В своей колонке городских происшествий он упомянул об этом курьезе. Через несколько дней он получает письмо, в котором некий Иоахим Стиллер сообщает, что эта заметка "станет преддверием иных событий... идущих... вразрез с общепринятой логикой". Письмо как письмо, но судя по марке и штемпелю, его отправили в 1919 году, то есть за полгода до рождения Фрейка. Вскоре к нему попадает книга без обложки — комментарий к Апокалипсису Иоахима Стиллера, "магистра теологии из Аугсбурга", несколько веков назад изгнанного из университета за смелые мысли и ставшего бродячим проповедником. Чтобы понять, кто пишет ему загадочные письма, звонит и вносит смятение в налаженную жизнь, Фрейк прибегает даже к химическому психоанализу, во время которого вспоминает имя погибшего на войне американца, с которым он оказался рядом, — Иоахим Стиллер. Вскоре Стиллер назначает Фрейку встречу, но гибнет под колесами грузовика у него на глазах.

Тема войны — одна из смыслообразующих в романе. С нее герой и начинает рассказ: арест и гибель друзей, вступление его самого в ряды Сопротивления. Во время войны Фрейк становится свидетелем зрелища, воспоминание о котором не отпускает его всю жизнь: взрыв трамвая, куда он не успел вскочить. Потоки крови на мостовой. Кровь на мостовой видит он и много лет спустя. Причем кровь одного и того же человека (человека?). Один раз он погиб на войне, другой — в мирное время под колесами военного грузовика. В "Явлении", как и в "Возвращении", новая жизнь уравновешивает смерть — невеста Фрейка узнает о своей беременности. К концу повествования библейских аллюзий становится все больше: тут и еврейство загадочного незнакомца, и его, кроткая как у Спасителя, улыбка, и "искупительная жертва" смерти, и исчезнувшее из морга на третий день тело.

В двух представленных текстах рассказ идет от лица героя. Фрейк и Кристиан очень похожи: предпочитающие уединение холостяки под (или чуть за) сорок, в жизнь которых вторга-

ется необъяснимое, а за этим следует их мучительное преображение. Фрейка можно рассматривать как развитие образа Кристиана, более удачный вариант судьбы: он встретил девушку, на которой собирается жениться, они ждут ребенка.

Оба произведения переведены Светланой Князьковой. Работа ее заслуживает высокой оценки, в отличие от работы редактора. Гармонию русского текста нарушают такие обороты, как "Мою веру в жизнь не поколебала даже война...", или "Я испытывал солидарность с миллионами смертных, на чью долю выпали страдания тяжелее моих...", или "...с неизвестно откуда взявшимся убеждением, что всего одного моего движения было бы достаточно, чтобы назвать Симону Марейниссен своей и в прекрасных объятиях ее обнаженных рук забыть обо всем на свете". Что касается книги в целом, она достойно представляет покойного классика, автора более двадцати романов, а также повестей, рассказов, переводов, критических статей, лауреата литературных премий и даже — номинанта на Нобелевскую премию.

Елена Калашникова

Арно Шмидт
Arno Schmidt
[1914–1979]. Немецкий прозаик, литературовед, переводчик англоязычной литературы. Лауреат премии Гёте [1973].

Автор повестей *Пустошь Бранда* [*Brand's Haide*, 1951], *Из жизни фавна* [*Aus dem Leben eines Fauns*, 1953], *Косма, или О Северной горе* [*Kosmas, oder Vom Berge des Nordens*, 1955], *Республика ученых* [*Die Gelehrtenrepublik*, 1957], романов *Каменное сердце* [*Das steinerne Herz*, 1956; рус. перев. 2002], *Море Кризисов – тоже захолустье* [*Kaff auch Mare Crisium*, 1960], *Сон Основы* [*Zettels Traum*, 1970], *Школа атеистов* [*Die Schule der Atheisten*, 1972], *Вечер с золотой каймой* [*Abend mit Goldrand*, 1975], *Юлия, или Картины* [*Julia, oder Die Gemälde*; издан посмертно, 1983] и др., а также нескольких сборников рассказов и эссе. В *ИЛ* публиковался его рассказ *Гадир, или Познай самого себя* [1999, № 7] и повесть *Черные зеркала* [2005, № 5].
Рассказ *Leviathan oder die beste der Welten* взят из сборника *Левиафан и черные зеркала* [*Leviathan und Schwarze Spiegel*. Frankfurt: Fischer (Tb.), 1974].

Мариус Фрэнцель
Marius Fränzel
[р. 1961]. Немецкий актер-чтец, лектор.

Автор многих статей об А. Шмидте и книги о его творчестве *"Эта чудесная смесь": Введение в прозаическое творчество Арно Шмидта* [*"Dies wundersame Gemisch": Eine Einführung in das erzählerische Werk Arno Schmidts*, 2002].

Татьяна Александровна Баскакова
Переводчик с немецкого, французского и итальянского языков. Лауреат премии Андрея Белого [2008].

В ее переводе изданы книги А. Роке *Брейгель, или Мастерская сновидений*, И. Фрэн *Клеопатра, или Неподражаемая*, О. Ролена *Пейзажи детства*, Р. Сафрански *Хайдеггер. Германский мастер и его время*, романы К. Крахта *Faserland* и *1979*, А. Шмидта *Каменное сердце*, А. Дёблина *Три прыжка Ван Луня*, повесть Т. Бернхарда *Холод: Изоляция*, текст Герта Йонке *Говорящий по часовой стрелке* и др. Составитель [вместе с М. Белорусцем] и переводчик книги *Пауль Целан. Стихотворения. Проза. Письма* [2008]. В *ИЛ* в ее переводе печатались рассказы А. Шмидта [1999, № 7] и И. фон Кизерицки [2002, № 5], повесть Т. Бернхарда *Племянник Витгенштейна* [2003, № 2], роман Ф. Йегги *Пролетарка* [2003, № 3], фрагменты книги Х. Х. Янна *Деревянный корабль* [2003, № 9], письма и афоризмы П. Целана [2005, № 4], повесть А. Шмидта *Черные зеркала* [2005, № 5], пьеса Э. Елинек *облака.дом.* [2008, № 9], повесть А. Мореско *Синяя комната* [2009, № 3], отрывки из романа У. Телькампа *Башня* [2009, № 10] и др.

Анджей Барт
Andrzej Bart
[р. 1951]. Польский прозаик, сценарист, автор

Автор романов *Rien ne va plus* [1991], *Дон Жуан еще раз* [*Don Juan raz jeszcze*, 2006], кинороманa *Реверс* [*Rewers*, 2009] и др. Фильм режиссера Б. Ланкоша *Реверс* по сценарию А. Барта еще до выхода книги

документальных фильмов.

получил главную награду *Золотые львы* на Фестивале польских художественных фильмов в Гдыне [2009].
Текст публикуется по изданию *Fabryka mucholapek* [Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., 2008].

Валентин Яковлевич Курбатов
[р. 1939]. Литературный критик. Член Академии современной русской словесности. Лауреат премий имени Толстого [1998], имени Горького [2008] и др. Живет в Пскове.

Автор двух десятков книг, посвященных русской литературе, в том числе *Михаил Пришвин: Очерк творчества* [1986], *Евгений Широков: Портрет на фоне портрета* [1987], *Домовой. Семен Степанович Гейченко: письма и рассказы* [1996], *Долги наши. Валентин Распутин: чтение сквозь годы* [2007].

Иштван Силади
István Szilády
[р. 1938]. Венгерский писатель, живущий в Румынии. Лауреат премий Аттилы Йожефа [1990], Эндре Ади [1992], Тибора Дери [1995], Кошута [2001], Шандора Мараи [2003] и др.

Автор сборника рассказов *Кузнец судеб* [*Sorskovács*, 1964], романов *Заросли рогов* [*Agancsbozót*, 1990], *Время ворона* [*Hollóidő*, 2001] и др.
Текст публикуется по изданию *Kő hull apadó kútba* [Budapest: Magvető, 2008].

Джон Макгахерн
John McGahern
[1934–2006]. Ирландский писатель.

Автор романов *Казарма* [*The Barracks*, 1963], *Тьма* [*The Dark*, 1965], *Среди женщин [Amongst Women*, 1990], *Чтобы они увидели восход солнца* [*That They May Face the Rising Sun*, 2001] и др., сборников рассказов *Пройти испытание* [*Getting Through*, 1978], *Высота* [*High Ground*, 1985] и др. В *ИЛ* опубликован рассказ *Парашютики* [2007, № 6] и фрагменты книги *О прошлом* [2007, № 6].
Рассказы *Eddie Mac* и *The Conversion of William Kirkwood* взяты из сборника *Избранных рассказов* [*The Collected Stories*. London: Faber and Faber, 1993].

Мухаммад-Казем Мазинани
Mohammad-Kazem Mazinani
[р. 1963]. Иранский поэт и прозаик.

Автор поэтических сборников *Хлеб и роса* [*Nan va shabnam*, 1990], *Просто, как небо* [*Sade mesl-e asman*, 1992], *О земля, о бессердечие* [*Ei zamin, ei sangdel*, 1993], *Неоконченные стихи* [*She'rha-ye natamam*, 1996], романов *Облачный дом* [*Khane-ye abri*, 1999], *Осень в поезде* [*Payiz dar katar*, 2005], *Втройне по-шахски* [*Segane shahane*, 2009] и др.
Перевод выполнен по изданию *Осень в поезде* [*Payiz dar katar*. Tehran: Sure-ye mehr, 2005].

Казимеж Орлось
Kazimierz Orłoś
[р. 1935]. Польский

Автор сборников рассказов *Меж берегов* [*Miedzy brzegami*, 1961], *Конец веселью* [*Koniec zabawy*, 1965], *Темные деревья* [*Ciemne drzewa*, 1970], *Третья ложь* [*Trzecie kłamstwo*, 1980], *Военные рассказы* [*Opowia-*

прозаик, сценарист, драматург, публицист. Публиковался также под псевдонимом Мацей Йордан. Лауреат многих премий.

dania wojenne, 1982; подпольное изд.], *Пустыня Гоби* [*Pustynia Gobi*, 1983; подпольное изд.], *Камера хранения* [*Przechowalnia*, 1985; подпольное изд.], *Вторые врата в лес* [*Drugie wrota w las*, 1992], *Холодная Элька* [*Zimna Elka*, 1995], *Святые пляшут на лугах* [*Święci tancza na lakach*, 1996], *Девушка с крыльца* [*Dziewczyna z ganku*, 2006] и др.
Рассказы *Na jesionie spiewal kos*, *Piec malych jezy* и *Pessarra* взяты из сборника *Деревянные мосты* [*Drewniane mosty*. KRAKÓW: WYDAWNICTWO LITERACKIE, 2001].

СЕРГЕЙ МАРКОВИЧ ГАНДЛЕВСКИЙ
[р. 1952]. Поэт, прозаик. Лауреат премий *Малый Букер* [1996], *Московский счет* [2009] и др.

Автор книг стихов, эссе, прозы, среди которых — книга стихов *Праздник* [1995], повесть *Трепанация черепа* [1996], избранное *Порядок слов* [2000], роман *<НРЗБ>* [2002], стихи и эссе *Найти охотника* [2002], *Опыты в стихах* [2008].

ПЕТР ЛЬВОВИЧ ВАЙЛЬ
[р. 1949—2009]. Журналист и писатель. Лауреат премии фонда *Знамя* [1994, 1996], премии имени А. Карельского [1996], *зоИЛ* [1998] и др.

Автор книг *Гений места* [1999], *Стихи про меня* [2006], *Карта родины* [2007]. В соавторстве с А. Генисом — *Русская кухня в изгнании* [1987], *Родная речь* [1990], *Американа* [1991], *60-е: Мир советского человека* [2001].
Неоднократно публиковался в *ИЛ*.

ДЖАНЕТ МАЛКОЛМ
JANET MALCOLM
Американский писатель, штатный журналист еженедельника *Нью-Йоркер*.

Автор эссе *Диана и Никон: эссе по эстетике фотографии* [*Diana & Nikon: Essays on the Aesthetic of Photography*, 1980], книг *Психоанализ: нереальная профессия* [*Psychoanalysis: The Impossible Profession*, 1981], *Архивы Фрейда* [*In the Freud Archives*, 1984], *Журналист и убийца* [*The Journalist and the Murderer*, 1990], *Молчаливая женщина: Сильвия Плат и Тед Хьюз* [*The Silent Woman: Sylvia Plath & Ted Hughes*, 1994], *Читая Чехова: критическое путешествие* [*Reading Chekhov: A Critical Journey*, 2001] и др.
Статья *Someone Says Yes to It* является отрывком из книги *Две жизни: Гертруда и Элис* [*Two Lives: Gertrude And Alice*, 2007], глава из которой *Гертруда Стайн и "Становление американцев"* [*Gertrude Stein and "The Making of Americans"*] была опубликована в *The New Yorker*, June, 2005.

ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВИЧ БЕЛОНОЖКО
р. 1939]. Инженер-технолог. Член Союза российских писателей [Екатеринбургское отделение].

Автор романа *Черная метка* [1993], повести *Русская маха* [1999], статьи *Невеселые заметки о романе "Процесс"*, книги стихотворений *Четыре времени первобытного сердца* [2009] и др. В его переводе вышел роман Ф. Кафки *Америка* [1991].

Александр Мелихов [р. 1947]. Прозаик, литературный критик, публицист, кандидат физико-математических наук. Лауреат *Набоковской премии* СП Санкт-Петербурга [1993], а также премий петербургского ПЕН-клуба [1995], имени Гоголя [2003], правительства Санкт-Петербурга [2006].

Автор романов *Исповедь еврея* [1993], *Горбатые атланты* [1995], *Любовь к отеческим гробам* [2001], *Чума* [2003], *В долине блаженных* [2006] и др., многих сборников рассказов и нескольких сот журнально-газетных публикаций.

Елена Львовна Калашникова Журналист, филолог. Ведущая рубрики *Интервью с переводчиком* [2001—2008] в сетевом *Русском журнале*. Обладатель специального приза *ИЛ* [2008].

Автор книги *По-русски с любовью. Беседы с переводчиками* [НЛО, 2008].

Переводчики

Евгений Викторович Воропаев [р. 1949]. Переводчик с немецкого языка.

В его переводах выходили романы и новеллы Л. фон Захер-Мазоха, проза К. Крахта, произведения Э. Юнгера, книги детских классиков О. Пройсслера и М. Энде, лирика и проза немецких, австрийских и швейцарских экспрессионистов и др. В *ИЛ* публикуется впервые.

Ксения Яковлевна Старосельская Переводчик с польского, лауреат премий *ИЛ* [1986], польского ПЕН-клуба [2004], польского Института Книги *Трансатлантик* [2008].

В ее переводе издавались произведения Г. Сенкевича, Я. Ивашкевича, М. Хороманьского, Т. Конвицкого, В. Шимборской, Т. Новака, В. Мысливского, С. Хвина, Г. Кралль, Е. Анджеевского, М. Хласко, Е. Пильха, О. Токарчук, П. Хюлле и др. В *ИЛ* напечатаны ее переводы романов Т. Новака *Черти* [1975, № 3—4], В. Мысливского *Камень на камень* [1986, № 7—9], М. Хласко *Красивые двадцатилетние* [1993, № 12], С. Хвина *Ханеман* [1997, № 12], П. Хюлле *Касторп* [2005, № 12], повестей Е. Анджеевского *Врата рая* [1990, № 1] и З. Ментцеля *Все языки мира* [2006, № 10], теленовелл Т. Ружевича *Телетрендели* [2006, № 8], фрагментов из книги Я. Андермана *Фотографии* [2006, № 8], рассказов Я. Ю. Щепанского [2008, № 3], Е. Пильха [2009, № 2], фрагментов книги В. Шимборской *Литературная почта, или Как стать/не стать писателем* [2009, № 7] и др.

Юрий Павлович Гусев [р. 1939]. Литературовед, переводчик с венгерского, доктор филологических наук. Лауреат премии Тибора

В его переводе были опубликованы романы *Вина* и *Милосердие* Л. Немета, *Старомодная история* М. Сабо, *Градооснователь* и *Соучастник* Д. Конрада, романы *Без судьбы*, *Кадиш по нерожденному ребенку*, *Самоликвидация* и повести *По следам*, *Английский флаг* и *Протокол* И. Кертеса. В *ИЛ* в его переводе были напечатаны повесть Д. Конрада

Дери [1997], международной литературной премии *Памятный меч Балинта Балашши* [2008], кавалер ордена *Золотой Почетный Крест* Венгерской Республики [2009].

Тяжелый день [1991, № 4], дневники Шандора Мараи [1993, № 12], рассказы М. Корниша [1995, № 3], Л. Дарваши [1997, № 2], Л. Краснахоркаи 2007, № 12], роман С. Эрдега *Безымянная могила* [1998, № 5], главы из романа *Гунны в Париже* Д. Ийеша [2003, № 7], главы из романа *Белый король* Д. Драгомана [2008, № 7], стихи Д. Петри [1998, № 10], И. Оравца [2001, № 3], Б. Балашши [2006, № 4], Ф. Кёльчеи [2009, № 12] и др.

Анна Герцевна Генина
Переводчик с английского, культуролог.

В *ИЛ* в ее переводе напечатана пьеса *Там вдали* К. Черчилл [2007, № 1] и новелла *Рябиновая ночь* К. Киган [2007, № 6].

Александр Павлович Андрюшкин
[р. 1960]. Переводчик с фарси.

В его переводе напечатан роман *Три взгляда на человека, пришедшего из неведомого* Н. Эбрахими, повесть *На ковроткацкой фабрике* Х. М. Кермани, сборник *Солнце веры* четырнадцати современных исфаганских авторов и др.
В *ИЛ* публикуется впервые.

Ирина Евгеньевна Адельгейм
Литературовед, переводчик с польского, доктор филологических наук.

Автор книг *Польская проза межвоенного двадцатилетия: между Западом и Россией. Феномен психологического языка* [2000], *Поэтика "промежутка": молодая польская проза после 1989 года* [2005], а также статей по польской литературе. В ее переводе опубликованы произведения Г. Херлинга-Грудзиньского, П. Хюлле, О. Токарчук, М. Тулли, Т. Ружевича, А. Стасюка, В. Шимборской, М. Вилька, Э. Курылюк, К. Кесьлевского, К. Янды, Ф. Байона, М. Гретковской, В. Тохмана, Х. Климко-Добжанецкого, М. Лозинского, К. Грохоли и др.
В *ИЛ* публиковались ее переводы автобиографической повести К. Кесьлевского *О себе* [1998, № 11—12], стихотворений В. Шимборской *Две обезьяны Брейгеля, Утопия* [2003, № 5], повести П. Хюлле *"Мерседес-бенц". Из писем к Грабалу* [2004, № 1], эссе А. Стасюка *Сегодня умирают иначе* [2004, № 9], документальной повести В.Тохмана *Ты словно камни грызла* [2004, № 10], романа О. Токарчук *Последние истории* [2006, № 8—10], фрагмента книги А. Стасюка *Дойчланд* [2009, № 1], фрагмента книги Х. Климко-Добжанецкого *Колыбельная для висельника* [2009, № 7], а также статьи и рецензии.

Ольга Ольгова
Журналист. Заведующая библиотекой в Институте журналистики и литературного творчества.

В *ИЛ* публикуется впервые.

Сергей Сергеевич Шабуцкий
[р. 1976]. Поэт, переводчик с английского, член Союза журналистов России.

В его переводе выходили произведения К. Харви, К. Бойла, Э. Дикинсон, Л. Б. Хафф. Переводы и оригинальные стихи публиковались в журналах *Знамя, Дружба народов*, альманахах *Насекомое* и *Новые писатели*. Статьи публиковались в *Независимой газете, Церковном вестнике* и др.

RINET
Internet Service Provider

ИНТЕРНЕТ
ПО ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ ВЫДЕЛЕННЫМ ЛИНИЯМ
в Центральном округе Москвы

объединенная волоконно-оптическая районная сеть RiNet в ЦАО.
• оптимальные условия подключения,
• бесплатный доступ к внутрисетевым ресурсам

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ ← В ЦЕНТРЕ ГОРОДА → В ЦЕНТРЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

круглосуточно:
(095) 232-1730 238-3922 916-7009.
адрес:
МОСКВА, 1-Й ХВОСТОВ пер., д. 11А.
подробности:
WWW.RINET.RU

В оформлении обложки использован фрагмент древнеримской мозаики

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев.

Старший корректор Анна Михлина.
Компьютерный набор Евгения Ушакова, Надежда Родина.
Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор Мария Макарова.

Адрес редакции: 119017, Москва, Пятницкая ул., 41 (м. "Третьяковская", "Новокузнецкая");
телефон 953-51-47; факс 953-50-61.
e-mail inolit@rinet.ru

Подписаться на журнал можно во всех отделениях связи.
Индекс 72261 — на год, 70394 — полугодие.
Льготная подписка оформляется в редакции (понедельник, вторник, среда, четверг с 12.00 до 17.30).

Купить журнал можно:
в редакции;
в киоске "Новой газеты" (Страстной бульвар, д. 4);
в книжной лавке ВГБИЛ им. М. И. Рудомино (Николоямская ул., д. 1);
в книжном магазине клуба "Проект-О.Г.И." (Потаповский пер., д. 8/12, стр. 2, вход со двора; м. Чистые пруды, Китай-город);
в книжном магазине "У Максима" (МГУ им. М. В. Ломоносова, 1-й Гуманитарный корпус; м. Университет);
в книжном магазине "Русское зарубежье" (Нижняя Радищевская, д. 2; м. Таганская-кольцевая);
в книжном магазине "Фаланстер" (Малый Гнездниковский переулок, д. 12/27, стр.2–3);
в книжном магазине "dodo-space" (Рождественский бульвар, д. 10 / 17).

Электронный дайджест журнала:
http://magazines.russ.ru/inostran
Наш блог:
http://obzor-inolit.livejournal.com

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

Подписано в печать 15.04.2010
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 25,20.
Уч.-изд. л. 24.
Заказ № 96.
Тираж 8000 экз.
Отпечатано с готовых диапозитивов ОАО "Типография "Новости", 105005, Москва, ул. Фр. Энгельса, 46.

[6] 2010

РОМАН АННЫ КАВАН “ЛЕД” / ФРАГМЕНТЫ КНИГИ ОЛЬГИ ТОКАРЧУК “БЕГУНЫ” / СТИХИ У. С. МЕРВИНА / СОНЕТЫ ИЗ КНИГИ ЖОАШЕНА ДЮ БЕЛЛЕ “СОЖАЛЕНИЯ” / МИЛОРАД ПАВИЧ В РУБРИКЕ “IN MEMORIAM”